

KULTURA

Szkice • Opowiadania • Sprawozdania

PARYŻ

Nr 3

1981



• « *La Culture* » • *Revue mensuelle* •

НОМЕР ПОСВЯЩЕННЫЙ
ПОЛЬСКО-РУССКИМ
ОТНОШЕНИЯМ

Содержание

—	<i>Бескровная революция в Польше</i>	3
—	<i>Независимость и Россия</i>	17
Н.Н. из Варшавы:	<i>Чего хотят поляки?</i>	25

П О Э З И Я

Чеслав Милош:	<i>Нобелевская лекция.</i>	35
Чеслав Милош:	<i>Стихи</i> (Перевод Иосифа Бродского)	46

П Р О З А

Г.Герлинг-Грудзинский:	<i>Поездка в Прагу</i>	53
Марек Хласко:	<i>Кладбища</i> (Предисловие Г.Герлинга-Грудзинского; перевод Н.Горбаневской)	67

КУЛЬТУРНЫЕ СЧЕТЫ

Марья Данилевич-Зелин- ская:	<i>Судьбы польского культурного достояния</i>	169
---------------------------------	---	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

Виктор Сукенницкий:	<i>Русско-польские антиномии. . . .</i>	197
Н.Н.:	<i>Как я понимаю Письмо Солжени- цына вождям Советского Союза..</i>	209
—	<i>Ошибка Солженицына</i>	229
Владимир Максимов:	<i>"Броня крепка, и танки наши быстры..."</i>	233

KULTURA

Szkice • Opowiadania • Sprawozdania

PARYŻ

Nr 3

1981

INSTYTUT



LITERACKI

Бескровная революция в Польше

В декабре 1970 года рабочие Гданьской и Щецинской судостроительных верфей устроили уличные демонстрации, протестуя — с красными флагами в руках — против увеличения норм и повышения цен. Польские власти решились в то время применить против них оружие. Последний раз тогда польский рабочий класс обратился к лозунгам, провозглашаемым властями государства, которое называет себя рабоче-крестьянским. В 1980 году ни одно из бастовавших предприятий на территории всей Польши не ссылалось ни на один из принципов, теоретически лежащих в основе социализма. И, однако, именно тогда, через десять лет после кровавой расправы с демонстрацией на Побережье, на том же Побережье власти вынуждены были приступить к общественным переговорам, признаться в совершённых ошибках, сменить партийное и государственное руководство и отказаться от прежних тоталитарных методов управления польским обществом.

* * *

Что же произошло в Польше между 1970 и 1980 годами?

На протяжении этого десятилетия новое руководство ввергло страну в пропасть экономического кризиса. Его углубляли с каждым годом на первый взгляд эффективные, а по сути дела — нерентабельные и дорогостоящие капиталовложения в промышленности. Централизованный и жёсткий хозяйственный план не учитывал потребностей и возможностей польской экономики. Никого не интересовали ни реальные данные, ни компетенция людей, несущих ответственность за решения, точно так же, как никого не интересовала преступная аграрная политика, разрушавшая производственные мощности единоличных хозяйств, которые являются в Польше главной основой всего сельскохозяйственного производства. Во всех областях общественной жизни росло беззаконие, нарушались нормы Конституции, Трудового кодекса, и без того весьма несовершенного, права человека и гражданина.

Цензура истребляла польскую культуру и науку, пресекалась правдивая информация о Польше и мире. Средства массовой информации занимались восторженной пропагандой достижений, искажались все статистические данные, а взамен преподносилась ложь, в которую предлагалось верить. Ложью пичкали детей в школах, ложь провозглашалась с университетских кафедр. Росли диспропорции заработной платы и привилегий, дезорганизация поставок товаров на рынок и средств производства на предприятия. Зато был расширен и укреплен полицейский аппарат, который получил все полномочия и чувствовал себя совершенно безнаказанно под крылышком прокуратуры и суда.

Тридцать с лишним лет тоталитарного правления не могут не привести в обществе к расколу и дезинтеграции. В таком обществе растет чувство бессилия, отчаяния и страха. Перед лицом любого бесправия, любого деспотического решения власти, перед лицом ее лжи и произвола каждый гражданин чувствует себя одиноким. Так чувствовал себя гражданин ПНР: один лицом к лицу с морально разложившейся и всемогущей властью.

* * *

В условиях надвигавшейся экономической катастрофы обнаглевшее правительство приняло в июне 1976 года безо всякой консультации решение о немедленном резком повышении цен на продовольствие, в том числе на все основные продукты питания. И тогда еще раз отчаяние толкнуло рабочих Урсуса, Радома и нескольких других городов на очередной открытый протест. Сотни тысяч людей покинули рабочие места и вышли на улицу. Был подожжен воеводский комитет ПОРП в Радоме, разобрано железнодорожное полотно в Урсусе. Решение о повышении цен на следующий день было отменено: власти отдали себе отчет в степени общественного возмущения и отчаяния. Они предпочли пойти на уступки. Однако, оказавшись скомпрометированными, они сорвали злобу на тех, кто выявил их скомпрометированность, — на протестовавших рабочих и их семьях.

Орудием мести стала полиция, прокуратура, суды, государственная администрация. На протяжении последующих недель и месяцев арестованных рабочих подвергали пыткам, били и истязали в комендатурах милиции и тюрьмах. Сотни людей были привлечены к суду, который приговорил их "за хулиганство" к тю-

ремному заключению сроком от года до десяти лет и высокому штрафу. Тысячи людей были уволены с работы, лишены вместе со своими семьями средств к существованию, социального обеспечения, медицинской помощи. Никто, за исключением Церкви, не стал на их сторону — ни одно из главных учреждений, призванных заботиться о гражданах. Окончательно скомпрометировали себя профсоюзы, показав еще раз, что они верно служат власти и слепо покорны ей.

В то время, в сентябре 1976 года, сложилась группа, состоящая из представителей интеллигенции, из людей разного мировоззрения, разных поколений и профессий, которая создала Комитет защиты рабочих (далее в тексте употребляется польское сокращенное название этого комитета — КОР, которое приобрело широкую известность — п р и м. п е р.). Комитет обратился к властям ПНР с призывом прекратить репрессии и привлечь к ответственности лиц, виновных в них, а также призвал общество к содействию в оказании преследуемым всяческой возможной помощи, которую Комитет защиты рабочих вызвался организовать. Члены КОРа сообщили свои фамилии, адреса, номера телефонов, призывая передавать им деньги для оплаты юридической, материальной и медицинской помощи жертвам репрессий, а также сообщать все сведения о преследованиях.

Власти ПНР немедленно предприняли полицейские и административные меры против КОРа и всех, кто включился в сотрудничество с ним. Несмотря на гонения: от увольнения с работы и обложения штрафом, допросов, задержания на 48 часов вплоть до ареста и взятия под стражу, — КОР вел кампанию по оказанию помощи. В сотрудничество с ним включались все новые люди из разных общественных кругов. Раздобывалась точная информация о тысячах репрессированных. Эта информация, отпечатанная на множительных аппаратах и переданная иностранным корреспондентам, становилась общественным достоянием. Так был прорван барьер дезинформации, воздвигнутый официальной пропагандой. Польская и зарубежная общественность познакомилась с сообщениями о сфабрикованных процессах против рабочих, на которых присутствовали в качестве наблюдателей члены КОРа и его сотрудники. Нашлись самоотверженные адвокаты, которые, несмотря на гонения, защищали рабочих на процессах и в судах по трудовым конфликтам, врачи, оказывавшие помощь пострадавшим. К членам КОРа поступали материальные пожертвования. С протес-

тами против расправы над рабочими выступали представители польской интеллигенции, священники, крестьяне, студенты. Студенты основали в нескольких польских вузовских городах Студенческие комитеты солидарности, тесно взаимодействовавшие с КОРОм. Летом 1977 года под нажимом общественного мнения власти вынуждены были объявить амнистию, по которой вышли из тюрьмы все рабочие и около двух десятков членов и сотрудников КОРа, арестованных за несколько месяцев до амнистии. Одновременно были восстановлены почти все уволенные в июне 1976 года.

После длительного периода разброда, маразма и бессилия это было первое проявление происходящего в польском обществе процесса его внутренней интеграции. Это было в то же время первое свидетельство силы, какой может стать по отношению к тоталитарной власти солидарность общественных действий.

Эту солидарность надо было в обществе укреплять и развивать. Комитет защиты рабочих, цели которого в принципе были осуществлены, преобразовался теперь в Комитет общественной самозащиты КОР (КСС — КОР). Он поставил перед собой более широкие задачи: защиту всех подвергающихся в ПНР преследованиям за убеждения, расовую принадлежность или вероисповедание, борьбу за законность во всех областях общественной жизни и поддержку всех независимых гражданских начинаний, которые призваны служить широко понимаемой самозащите общества от злоупотреблений и абсолютизма власти.

Благодаря содействию поляков в стране и за рубежом, КОР оказал рабочим, репрессированным после июня, материальную помощь в размере более 3 млн злотых. К членам КСС — КОР по-прежнему поступали деньги. КСС — КОР предназначал их теперь на мероприятия более широкого размаха, например, на развитие деятельности созданного им Бюро Помощи, которое занималось защитой от любых форм бесправия людей со всей Польши, предавало гласности преступления полиции и других учреждений, занималось организацией действенной системы информации, успешно преодолевающей монополию государственных средств массовой информации, и, наконец, субсидированием не зависящих от государственной цензуры издательских начинаний.

1977-1980 годы были периодом бурного расцвета независимой печати. Выходили информационные общественно-культурные и общественно-политические журналы: двухнедельники, ежеме-

сячники, ежеквартальники — в том числе "Роботник", предназначенный для рабочих, и "Плацувка" — для крестьян. Было создано Независимое издательство НОВА — менее чем за четыре года оно выпустило более ста книг польских и зарубежных авторов, официальное издание которых было запрещено цензурой. Это были книги по художественной литературе, истории, философии, социологии — наукам, которые на протяжении тридцати с лишним лет подвергались в ПНР самой большой фальсификации. Полиция преследовала издателей и печатников, изымала на обысках тиражи книг и журналов, машины, арестовывала организаторов и участников всех издательских начинаний. Однако, несмотря на ширившиеся репрессии, росло число авторов, печатников, распространителей, росла бесконечная цепочка читателей. Так крепло и развивалось настоящее движение демократической оппозиции.

Сложилось также Движение защиты прав человека и гражданина и Движение молодой Польши. Росло число вузовских центров, где действовали Студенческие комитеты солидарности, выступавшие против политической и мировоззренческой унификации польской молодежи, осуществляемой навязанным ей сверху Социалистическим союзом польских студентов. На частных квартирах проводило публичные лекции по истории, экономике, социологии и философии Товарищество научных курсов, называемое "летучим университетом".

В нескольких областях Польши начали действовать Комитеты крестьянской самозащиты, боровшиеся с преступной аграрной политикой властей ПНР, а также Комитеты самозащиты верующих. На Побережье и в Катовицах образовались Учредительные комитеты Свободных профсоюзов. Учредительный комитет Свободных профсоюзов Гданьска-Гдыни-Сопота стал издавать собственную газету "Роботник Выбжежа". Все эти независимые начинания вызывали преследования со стороны властей: деятелей демократической оппозиции арестовывали, нередко били, им устраивали судебные процессы, однако здоровый социальный фермент рос, а страх отступал. Власти оказались бессильны перед все более решительно демонстрировавшейся солидарностью общества, тем более что в Польше углублялся экономический кризис, с каждым месяцем снижался уровень жизни рядовых граждан ПНР. Опасное недовольство масс создавало угрозу острого конфликта.

Видя неизбежность этого конфликта, Комитет общественной самозащиты КОР и независимая пресса в заявлениях, обра-

щениях и публицистике призывали правительство прекратить гонения, указывая ему одновременно на атмосферу напряженности в обществе и на необходимость проведения неотложных реформ. Они предупреждали общество о возможности провокаций, подчеркивая при этом, что только солидарность в требованиях и решительная, но разумная позиция могут оказать давление на власти ПНР.

Однако тогдашнее партийно-правительственное руководство, казалось, было лишено какого бы то ни было политического воображения и чувства ответственности. Полицейские меры были по-прежнему единственным ответом на растущее сопротивление. Множились акты насилия и террора. Принимались непродуманные экономические решения, которые ввергали страну во все более острый кризис и обрекали население на все более нищенское существование.

Одним из таких решений было в конце июня 1980 года повышение цен на мясо, которое, впрочем, уже давно было мало доступно, и на мясопродукты, качество которых также с давних пор не соответствовало их высокой цене. В первые дни июля коллективы многочисленных предприятий во многих городах ответили на этот шаг правительства остановками работы, продолжавшимися по несколько часов.

Перепуганные власти повели себя прямо-таки с обезоруживающей непоследовательностью: не имея экономической концепции и предчувствуя собственное бессилие перед лицом нараставшего в обществе гнева, они начали метаться между противоречивыми реакциями. Кое-где работникам предприятий повысили заработную плату, в других местах восстановили прежние цены на мясо, существовавшие за несколько дней до этого, на некоторые предприятия вторглись с угрозами работники госбезопасности. Дело доходило до такого абсурда, что в разных воеводствах существовали разные цены на мясо или, например, вдруг снабжали мясом буфеты и киоски одних предприятий за счет других — разумеется, тех, которые не бастовали. Это приводило в итоге к возмущению все новых рабочих масс.

С первых дней июля 1980 года КСС — КОР начал взаимодействовать с коллективами бастующих предприятий. Газета "Роботник", которую читали на многих предприятиях, увеличила свой тираж, на службу этому были поставлены все силы. Газета подчеркивала, какие условия необходимы для того, чтобы про-

тест достиг своей цели: не выходить на улицу, бастовать в стенах предприятий, требовать от дирекции письменной гарантии безопасности для участников забастовки, создавать забастовочные комитеты, разбирающиеся в интересах работников всех звеньев предприятия и наделенные от имени всего коллектива полномочиями вести переговоры с властями. Но самое главное — придерживаться принципа солидарности, сохранять полное спокойствие и организовывать забастовки так, чтобы предотвратить любую возможную провокацию и присоединение к забастовке деклассированных элементов.

Такого содержания листовки и публикации Комитета общественной самозащиты КОР распространялись в тысячах экземпляров по всей стране. Устанавливались личные связи с забастовочными комитетами, бастующие коллективы предприятий извещались о забастовках на других предприятиях; одним передавались требования, выдвинутые другими, а одновременно все эти сведения доводились до общественного мнения через независимую печать и иностранных корреспондентов. Таким образом, ни одно бастовавшее предприятие не чувствовало себя изолированным и одиноким, более того — каждое могло согласовать свои позиции и требования с другими. Средства массовой информации, хранившие молчание по поводу забастовок, не могли уже служить барьером при хорошо организованной циркуляции неподцензурной информации.

Уже в середине июля забастовочные комитеты в разных частях страны начали выдвигать критические замечания по адресу профсоюзов, подчиненных партии и государственной администрации. Среди требований бастующих рабочих начали появляться требования новых выборов в профкомы и, наконец, создания таких профсоюзов, которые были бы подлинными представителями трудящихся масс. Общее возмущение диспропорциями в заработной плате, состоянием народного хозяйства ПНР, дифференциацией привилегий, зависящих от того, что взбредет в голову партийным властям, стало причиной открытой критики методов управления польским обществом. Бастующие сохраняли при этом полное спокойствие, соблюдая порядок и не давая никаких поводов для введения в действие полицейских сил и органов госбезопасности.

14 августа вспыхнула забастовка на Гданьской судовой верфи. Ее сразу же возглавил Лех Валэнса, рабочий судовой верфи, уволен-

ный в свое время за участие в движении демократической оппозиции. В забастовочный комитет вошли, кроме него, другие деятели оппозиции, создатели и сотрудники Учредительного комитета Свободных профсоюзов Гданьска-Гдыни-Сопота, в том числе Анджей Гвезда, Алина Пеньковская, Анна Валентынович. Здесь был выдвинут ясно сформулированный лозунг создания независимого самоуправляющегося профсоюза трудящихся. Здесь на транспарантах, на стенах и в стачечных газетах появилось, подхваченное тысячами, а вскоре и миллионами слово **с о л и д а р н о с т ь**. Именно здесь бастующим судостроителям, к которым присоединились верфи Гдыни и Щецина, которых поддерживали забастовками солидарности сотни предприятий Побережья и других районов страны, польское общество вверило свою судьбу: их наделили своим мандатом самые различные круги трудящихся. Сотни представителей интеллигенции в открытом письме к властям потребовали начать переговоры с бастующими; писатели, экономисты, социологи и юристы предложили межзаводским забастовочным комитетам свою помощь в качестве экспертов и советников; коллективы предприятий со всей Польши прислали на судоверфь своих делегатов.

Таким образом, гданьские и щецинские судостроители в конце августа 1980 года стали подлинными представителями всего польского общества и поставили перед правительством ПНР общенародные требования, осуществление которых восстановило бы характер общества как движущей силы развития, независимо от его деления на профессиональные круги.

Лишь тогда власти ПНР поняли, что против них восстал весь народ, исключая пораженный коррупцией партийно-государственный аппарат всех уровней. Решение такого конфликта силой неизбежно привело бы к кровавой гражданской войне. Перед лицом такого беспримерного явления, каким стала социальная солидарность, правительство ПНР оказалось вынужденным приступить к переговорам, а вся Польша, затаив дыхание, следила за борьбой судостроителей, которую они вели за демократию для всех сообща и каждого в отдельности.

31 августа 1980 года были подписаны так называемые Гданьское и Щецинское соглашения.

Структурой, которая лучше всего соответствует всеобщему характеру общественных интересов, представляемых Независимым самоуправляющимся профессиональным союзом "Соли-

дарность", профсоюз признал так называемую "горизонтальную структуру". В ее основе лежит объединение всех предприятий данного региона в одно общее профсоюзное звено, во главе которого стоит избранный снизу орган — Межзаводская профсоюзная комиссия (МПК). Представители отдельных МПК Независимого самоуправляющегося профсоюза всех регионов страны входят в состав руководящей всем профсоюзом Общепольской координационной комиссии (ОКК) с местонахождением в Гданьске.

Региональное, а не отраслевое деление приводит к тому, что в один и тот же профсоюз входят на равных правах научные работники, таксисты, врачи, рабочие многотысячных металлургических комбинатов, шахт, заводов и фабрик. Таким образом, в защиту интересов железнодорожников или медсестер встают — наряду с ними самими — преподаватели университетов и токари тракторного завода "Урсус". Благодаря такой структуре профсоюза, в том случае, когда надо бороться путем предупредительной или полной забастовки за реорганизацию здравоохранения и оснащение его учреждений, от имени службы здравоохранения и вместо нее бастуют, например, предприятия городского транспорта (если такое решение примет ОКК), дабы больницы и поликлиники могли работать бесперебойно. Точно так же, во избежание угрозы нарушения ритма работы железнодорожного транспорта, проведение забастовки в защиту железнодорожников берут на себя, после предварительного согласования, другие предприятия или даже целые регионы, за исключением работников железнодорожного транспорта. Такая организационная система сплачивает и укрепляет солидарность всех членов профсоюза, независимо от профессии и вытекающей из этого специфики интересов.

Прежние профсоюзы насчитывали около 2 миллионов членов, однако Центральный совет профессиональных союзов пришлось распустить: даже чисто формально он уже никому не был нужен. Огромное большинство студентов вышло из рядов прежнего единообразного Социалистического союза польских студентов, создав Независимый союз студентов, открытый для всех, не взирая на мировоззрение, и борющийся за самоуправление в вузах и автономию польской науки. Вместе с "Солидарностью" и "Сельской солидарностью" польские студенты принимают участие в создании не знающего себе равных в истории великого социального содружества.

В момент, когда пишутся эти строки, после заключения упомянутых соглашений прошло почти двенадцать месяцев. Минувший год был годом неустанной угрозы для полученных или обещанных свобод, непрерывной острой борьбы "Солидарности" за выполнение обещаний, данных обществу правительством, которое не единожды пыталось отречься от своих обещаний. В очень сжатой форме этот период можно охарактеризовать следующим образом.

В партийно-государственном руководстве быстро выступили две противоречивые тенденции. Одна была результатом признания процесса демократического обновления в Польше делом предрешенным и требующим в связи с этим поддержки со стороны правящих сил. Именно эту тенденцию после многочисленных внутренних распрей и розыгрышей, как кажется, окончательно представляет большинство настоящего (после многих очередных изменений) руководства партии и правительства. Диаметрально противоположной тенденции придерживается та часть аппарата, которая в демократических формах правления не видит для себя — и справедливо — никакого будущего, считает "Солидарность" своим заклятым врагом, а стремление общества к законности, обновлению, установлению контроля за решениями, имеющими значение для всего народа, называет антисоциалистической и контрреволюционной позицией. Только под таким лозунгом можно попытаться подавить силой здоровое демократическое движение. Такие вздорные обвинения делали и делают по адресу "Солидарности" правительства и партии стран восточного блока.

Трезвомыслящие и прогрессивные силы в руководстве ПНР оказались в сложном положении: с одной стороны, под давлением четко определенной позиции общества, отказывающегося в любой форме сотрудничать с властями, если они не признают его справедливых требований и не выполняют всех обещаний, которые вытекают из заключенных соглашений, а с другой — под нажимом сил контрреволюции в собственных рядах, опирающихся на выражаемые политическими партнерами ПНР по Варшавскому договору антипатию, страх и тенденциозное непонимание сущности происходящих в Польше явлений.

Противопоставляя себя процессам демократического обновления, разъединенный коррупцией государственный и партийный аппарат всех уровней то и дело обращается к провокациям, к попыткам внести раздор в ряды многомиллионной "Солидарнос-

ти", до сих пор действовавшей осторожно и сознававшей опасность, угрожающую народу. Таким путем в разных районах Польши провоцировались все новые очаги напряженности и вспыхивали очередные забастовки, иногда охватывавшие всю страну и угрожавшие всеобщей забастовкой, что вызывало очередные предупреждения и нападки на страницах печати стран-участниц Варшавского договора.

Руководствуясь горьким сознанием так называемых государственных интересов, "Солидарность", действовавшая со всем чувством ответственности, продемонстрировала свой трезвый и разумный подход к делу. Впрочем, это был еще один удар по врагам демократического обновления в партийном аппарате, ибо именно тогда, в солидарной спонтанной реакции на столь грубое нарушение законности и заключенных недавно соглашений, тысячи рядовых членов партии выступили против прежних принципов руководства партийными массами и потребовали последовательного изменения внутренней политики и решительного включения партии в процесс демократического обновления. Устремления "Солидарности" нашли открытого союзника внутри самой партии, а люди, стоящие в партии на консервативных позициях, утратили иллюзии относительно того, что они могут рассчитывать на поддержку партийных масс.

Впрочем, непосредственным следствием этого факта наверняка было полное открытых угроз письмо Брежнева Центральному Комитету ПОРП, а также провокационные выступления партийного аппарата Катовицкого и Познанского воеводств против сил, борющихся в ПНР за демократию. И опять — в который уже раз на протяжении последних месяцев! — проводятся на территории Польши маневры войск Варшавского договора. И опять — в какой уже раз! — польскому народу приставляют дуло к виску.

Вот в каких условиях поляки совершают беспримерную попытку ввести в своей стране принципы законности и уважения правительством общества как партнера в управлении государством, призванным служить благу всех граждан. Вот в каких условиях вынуждена была "Солидарность" одновременно переживать процесс становления и бороться за соблюдение буквально каждой гарантии, подписанной представителями правительства.

Как уже было сказано, независимый профсоюз "Солидарность" представляет интересы огромного большинства польского общества. В положении, когда главная задача этого общества —

ввести в стране демократию, "Солидарности" ставят в вину, что она занимается политическими проблемами, а не только и исключительно вопросами трудовых отношений. Тот факт, что трудящийся человек является, во-первых, человеком, а во-вторых, гражданином и что для защиты его прав как трудящегося надо сначала гарантировать ему права человека и гражданина — чем на протяжении многих месяцев и занимается "Солидарность", — служит материалом для фабрикации ложных обвинений в подрывной и контрреволюционной деятельности. Авторы таких обвинений тормозят развитие деятельности, которую призвана вести "Солидарность". Не допускается введение экономических реформ, на необходимость которых указывает "Солидарность", создаются все новые причины конфликтов, которые могут привести к конфронтации сил и вооруженной интервенции извне.

Поляки живут, действуют и борются за элементарные демократические права в стране, которая сегодня не в состоянии их прокормить. Через 30 лет после окончания последней войны в Польше введены карточки, предусматривающие небольшие нормы мяса, жиров, сахара. Иногда и по карточкам трудно достать эти продукты. В торговой сети пропали предметы первой необходимости: мыло, стиральный порошок, сигареты, спички. Последствий положительного поворота аграрной политики, о которой позаботится "Сельская солидарность", еще долго придется ждать. Экономический кризис, пришедший в упадок и дезорганизованный транспорт, устаревшее оборудование шахт и металлургических заводов, многолетняя абсурдная политика капиталовложений, невиданная задолженность Польши за границей, глубокое нарушение равновесия на рынке долго еще будут сказываться на положении общества. Маневры войск Варшавского договора, угрозы руководства КПСС и других союзников Польши не облегчают и без того нелегкую борьбу за восстановление в стране экономического и морального порядка. Однако миллионы поляков — в том числе и членов партии — верят, что это достижимая цель и что они сами сумеют воздвигнуть свою страну из руин, в которые обратила ее безответственная власть.

Поляки считают также, что никто не имеет права мешать им в этом деле. Они отдают себе отчет в своем геополитическом положении и во всех вытекающих из этого последствиях, таких, как принадлежность к социалистическому блоку, Варшавскому договору, к определенному кругу политических союзов.

Однако, сохраняя это сознание и рассудительность, поляки преисполнены отчаянной решимости. Они не примирятся с прежним неуважением к ним, с беззаконием в собственной стране и безответственным руководством ею. Ни для кого добром не кончатся попытки вооруженного подавления этих устремлений и решимости: не может быть и речи об отказе от борьбы. Можно учинить над поляками кровавую расправу, но потом придется оккупировать их. Кровавой ценой оккупированная Польша была бы страной саботажников, страной, где были бы залиты шахты, угашен огонь в доменных печах, криво нарезан каждый винтик. Не окупилось бы расстрелять миллионы людей и миллионами заполнить концлагеря в самом центре Европы, на глазах всего мира, в условиях сложных и трудных связей СЭВ с Западом.

РЕДАКЦИЯ

Независимость и Россия

Среди проблем, с которыми имеет дело польский народ, две — тесно связанные друг с другом — на протяжении почти сорока лет принадлежат к самым важным: государственная независимость и отношения с нашим восточным соседом. Они неумолимо дают о себе знать при всех попытках внутренних перемен, которые всегда сопровождаются недовольством и угрозами русских. Эти проблемы неотступно преследуют нас не только в силу нашего географического положения, но и прежде всего потому, что их практическое решение, навязанное нам после Второй мировой войны, для значительного большинства поляков является неудовлетворительным.

Грубым напоминанием о связи этих двух проблем была та часть письма ЦК КПСС Центральному Комитету ПОРП от 5 июня нынешнего года, в которой говорится, что внутренние процессы, происходящие в Польше, угрожают ее независимости. А вместе с тем мы великолепно знаем, что единственную настоящую угрозу для польской государственной самостоятельности с хотя бы ограниченным суверенитетом представляет именно СССР. Об этом напоминают нам в едва завуалированной форме руководители польской партии с августа 1980 года. И хотя они напоминают об этом отнюдь не из благих намерений, а в интересах собственной самозащиты, но делают это не без оснований.

Нынешнее положение, которое характеризуется такими возможностями для мысли и деятельности поляков, каких не было с давних пор, а в то же время — самой большой после 40-х годов угрозой, заставляет по-новому ставить этот вопрос: возможна ли для Польши независимость, а если да, то какая? Как можно сформировать неантагонистические отношения между Польшей и СССР (или, в национальном аспекте, — между поляками и русскими, которые являются в СССР правящей нацией, а также другими народами этого государства)?

Эти вопросы ставятся, как правило, в риторической и общей форме, независимо от того, говорится ли в ответ на них, что

единственная независимость возможна в вечном дружественном союзе с СССР, или же дается понять, что независимость может быть только абсолютной, а о дружбе с советскими убийцами бессмысленно говорить.

Давайте задумаемся над конкретными примерами. Является ли независимым государством Голландия? В Польше сочтут этот вопрос банально риторическим: конечно, да. Но ведь Голландия входит в Европейское сообщество. И многие решения, которые прямым образом касаются ее граждан, цен, которые они платят за продовольствие, сферы их свобод, прав, которые положены им в других странах Сообщества, валюты, находящейся в обращении в их стране, стандартизации технического оборудования, которым они пользуются, и так далее, принимаются в сверхнациональных учреждениях, таких, как Европейская комиссия и Европейский совет. Голландия является также членом НАТО и, будучи им, обязана при определенных обстоятельствах предпринимать военные действия. В чем же состоит независимость Голландии? На чем базируется чувство этой независимости? Пожалуй, просто на том, что, во-первых, никто не принуждал голландцев вступать в Сообщество или НАТО, а во-вторых, если бы они захотели отказаться от добровольно принятых обязательств, например, не согласились бы на размещение на своей территории ракетных установок, то ни президент США, ни канцлер ФРГ не будут угрожать Голландии ... утратой независимости или какими-либо другими актами реванша.

Голландия связана таможенно-консульским союзом и многими другими тесными государственными связями с Бельгией и Люксембургом. Три государства образуют сообщество так называемый Бенилюкс. Эти связи ведут к вполне понятному ограничению суверенитета данных государств при принятии различных решений. Однако данные страны являются независимыми. Почему? Да потому, что если бы, например, люксембуржцы решили выйти из Бенилюкса, то бельгийцы и голландцы, вероятно, схватились бы за головы, но не за люксембургские — в этом-то и суть.

Является ли независимой Австрия? На этот вопрос приходится отвечать более осторожно. Мирный договор, подписанный с Австрией, запрещает ей вступать в какие бы то ни было межгосударственные союзы, носящие военный характер, запрещает заключение государственного союза с Германией и налагает ограничения на ее вооруженные силы. Во всем остальном австрийцы об-

ладают полной свободой в определении своей судьбы. Если бы мы спросили их, чувствуют ли они себя гражданами независимой страны, то на этот вопрос они дали бы один ответ — да.

В связи с положением в Польше чаще всего называют, однако, Финляндию. Является ли Финляндия независимым государством? Что бы, собственно говоря, означала на практике "финляндизация" Польши?

В отличие от Австрии Финляндия — нейтральное государство, однако не по отношению к Советскому Союзу, с которым она заключила военный союз. Он обязывает финскую армию взаимодействовать с советской в случае нападения на одну из этих стран, правда, только на территории Финляндии (это, таким образом, существенное отличие по сравнению с обязательствами ПНР в рамках Варшавского договора). Численность финской армии и ее оснащение вооружением согласовываются с СССР. Финляндия обязана поддерживать советские шаги на международной арене (так, например, она не только не осудила вторжение в Чехословакию, но и оказала ему дипломатическую поддержку). СССР практически пользуется правом вето в вопросах кандидатур (выборных!) на посты президента и премьер-министра Финляндии. От финнов ожидается также, что они не допустят публикации в своей стране текстов и прочих материалов, содержащих критику СССР. В то же время финны обладают полной государственной самостоятельностью. Их правительство не находится под контролем компартии, контролируемой в свою очередь из Москвы, действует система парламентарной демократии и т.д. Независимость Финляндии является, таким образом, разновидностью очень широкого, но в то же время приглушенного внутреннего самоуправления. У финнов вопрос, является ли их страна независимой, вызывает нервозность. Впрочем, это и не удивительно: даже при максимуме доброй воли невозможно отрицать, что зависимость от СССР была навязана финнам в мирном договоре.

Вот какие отношения между СССР и соседним государством предлагают нам в качестве оптимистической модели некоторые публицисты. Не говоря уже о несопоставимости положения обеих стран, трудно себе представить, чтобы поляки с удовлетворением приняли такую форму господства. Американец Уильям Пфэйф заявил недавно в своей нагумевшей статье, что преимущество советско-финских отношений состоит в том, что СССР считает свои границы с Финляндией самыми безопасными из всех.

Может, это и правда, но надо отдавать себе отчет в том, что для СССР "опасная" граница — та, по другую сторону которой живет сосед, не желающий слушаться его приказов, а не та, из-за которой ему якобы угрожает агрессия. Ведь довольно ясно, что еще на протяжении многих лет даже Китай не представит для СССР реальной военной угрозы, а вот дурной пример — это совсем другое дело.

Что же такое независимость сегодня, в эпоху многочисленных международных зависимостей? Это определенная сфера возможностей выбора, решений, принимаемых без угрозы и непосредственного принуждения (что не означает — без последствий, которые могут быть весьма неприятными). Чем шире сфера таких возможностей, тем полнее независимость.

Какая сфера возможностей выбора нужна сегодня польскому народу для жизни без сознания калечащих ограничений, без ощущения постоянного внешнего принуждения? В такой форме, по нашему мнению, должен задаваться теперь вопрос о независимости Польши. А вот простейший ответ.

Поляки должны получить возможность выработки форм экономической организации своей страны и возможность свободного выбора (а также устранения путем нормальных демократических процедур) людей, которые будут осуществлять власть. Форма народного хозяйства должна определяться эффективностью его функционирования. Свободно избранные представители общества, свободно выдвинутые власти, находящиеся под постоянным общественным контролем, будут лучше всего понимать, какая линия поведения, какие договоры, связи и союзы служат польским государственным интересам. Если польско-советский союз является, как утверждают его сторонники, договором действительно полезным, то придать ему прочность и подлинность можно, только и исключительно основав его на решениях свободно избранных представителей польского народа. Ставить вопрос по-другому — все равно что запрягать телегу впереди лошади. Утверждать, что Польша может сохранить независимость только в рамках союза и необходимой дружбы с СССР, — это означает заявлять, что независимость Польши вообще невозможна. Для всех: как для руководителей СССР, так и для их польских союзников — должно быть ясно, что поляки никогда не примирятся с такой позицией.

Действительно несомненным и неопровержимым является тот факт, что улучшение польско-советских и польско-русских отношений отвечает нашим интересам и в настоящем, и в будущем. В какой мере именно таковы были послышки, которыми руководствовались участники дискуссии, проводившейся в мае и в июне 1981 г. на страницах варшавского еженедельника "Культура", — в такой же мере они и заслуживают симпатии. Однако эта дискуссия как целое имела два кардинальных недостатка: почти все выдвинутые в ее ходе призывы (к реализму, пониманию, дружбе, добросовестности, правде и т.д.) были неверно адресованы. К тому же, "реалистическая" позиция, которую представляли, в частности, Доминик Хородынский и Александр Бохенский, является издавна капитулянтской позицией. Наши "реалисты" постоянно предупреждают: не требовать слишком многого — и не требуют вообще ничего; не ожидать слишком многого — и не ожидают ничего. Они признают существующую реальность единственной и неизменной. В этих голосах и рассуждениях, за ними стоящих, нет ни единого намека на понимание того, что СССР — наш могущественный сосед и ниспосланный судьбой союзник — не является монолитом, не является вечным государством, что он сам переживает трудности и глубокие кризисы. "Реалисты" велят нам опираться на фундамент, не задумываясь над тем, действительно ли этот фундамент нерушим. И речь здесь идет не о том, чтобы рассчитывать на его крушение, а о том, чтобы отдавать себе отчет в возможностях, которые есть у нас в торгах.

В чем заключается вышеупомянутая неверность адреса? Просто-напросто в том, что вину за плохие польско-русские отношения — и на протяжении истории, и сейчас — несут русские и СССР. Для того чтобы эти отношения улучшились, с инициативой должна выступить виновная сторона. Поляки должны этого требовать и к этому призывать, а не давать пустые обещания и заветочки зрения антисоветских тенденций и антирусских предубеждений. Нельзя ведь предполагать, что те русские, к которым обращены эти слова, отнесутся к ним серьезно. Они воспримут их просто как словесную эквилибристику, в которой сами являются неподданническими заявлениями. Серьезные и честные публицисты должны заботливо формулировать свои мысли — так, дабы они отличались от этих подбострастных и восторженных заявлений.

Говорить правду в лицо (антисоветские и антирусские настроения растут на глазах) — это гораздо лучшая тактика, ибо она вызывает уважение и оберегает от недоразумений.

О союзе говорят непрерывно, однако не упоминают о том, к чему он обязывает поляков. Если два ведущих интеллектуала-католика заверяют, что они "за союз" (Станислав Стомма) и что "никто не ставит под сомнение самое идею союза" (Мартин Круль), то мы должны их спросить, какой союз они имеют в виду. Видимо, тот, который действует сейчас (ведь никто не упомянул о необходимости внести в него поправки).

Если так, то надо помнить, что последним важным актом, совершенным ПНР в рамках союзнических соглашений, было вторжение в Чехословакию в 1968 году. И если СССР сочтет, что развитие внутренних споров в Югославии чревато международным конфликтом, опасным для интересов "социалистического лагеря", то Народному Войску Польскому могут приказать — в рамках действующего союза — например, войти в Хорватию. Мы должны четко отдавать себе отчет в том, что существующий ныне союз с СССР превращает нас на практике в одного из жандармов Восточной Европы. Угрозы "социалистическому лагерю" — это исключительно внутренние угрозы: достаточно напомнить о Берлине 1953 года, Венгрии 1956-го, Чехословакии 1968-го, Польше сегодня...

Верно, что данный союз является в настоящее время союзом на бумаге, и никто не полагает, что Народное Войско Польское можно будет использовать для подавления, например, взбунтовавшихся румын. Однако это лишь дополнительная причина для того, чтобы не чересчур разглагольствовать по поводу этого союза: это и неморально, и нереалистично. Даже Станислав Каня в своей речи на XI пленуме ЦК употребил осторожные слова "оборонительный союз". Ибо только на такой союз мы должны соглашаться.

Ключ к улучшению польско-русских отношений находится в руках у кремлевских заправил. В последние месяцы они ведут себя так, словно совсем не заинтересованы уже не только в дружеских, но просто в корректных отношениях. Нападки пропаганды, клевета, военные маневры, угрозы, увенчанные письмом Центральному Комитету ПОРП, которое достигает вершин нагло-лицемерия в части, касающейся "сестринской Польши", свидетельствуют о том, что для русских дело заключается не в понима-

нии, а в покорности. Внезапный визит Суслова, который приехал сделать выговор польскому Политбюро, словно непослушным мальчишкам, или хамский визит Куликова в канун похорон кардинала Вышинского свидетельствуют о полном пренебрежении настроениями и чувствами поляков. Поэтому именно советских надо призывать к разумному и трезвому подходу, умеренности и реализму.

Вполне понятно, что в открытом конфликте с ними Польша обречена сегодня на проигрыш. Но не заплатят ли они за это абсурдно высокую цену? Не рассыплется ли при этом расшатанный фундамент империи? Не хуже ли перспектива оккупации Польши, чем перспектива смириться с ее принципиальным отличием?

Каковы необходимые условия для нормального и обнадёживающего развития польско-русских отношений? Это условия двоякого рода — фактические и эмоциональные.

Во-первых, необходимо устранить конкретные, наглядные причины напряженности. А их много: от таких ограничений, как несогласие на присоединение Польши к Международному валютному фонду, что вызывает, в частности, огромные и чреватые серьезными последствиями трудности в пересмотре внешнего долга Польши; как захват русскими руководящих постов во всех учреждениях по сотрудничеству, с Советом экономической взаимопомощи во главе; как хозяйничанье Красной Армии в Польше (что уже не регулируется никакими гласными рамками союзнических договоров), и вплоть до пропагандистских нападков и запугивания. Если все это не будет прекращено, то, действительно, жалко времени для разглагольствования о дружбе, поскольку все поведение властей СССР вызывает стихийный антисоветизм. И ничуть не помогают заверения в том, что наше экономическое сотрудничество и торговый обмен с СССР очень выгодны для Польши. Может, так оно и есть. На многих участках, весьма вероятно, так и обстоят дела. Но пока вся картина утопает во мраке навязанной секретности, никто не будет верить отдельным фактам.

Во-вторых, необходимо создать благоприятный эмоциональный климат. Этого нельзя достичь без возможности открыто говорить и писать об истории, в том числе и новейшей, о сентябре 1939 года, о Катыни и Варшавском восстании, а также о судьбе поляков, живущих по-прежнему в СССР. Без правды о прошлом

и настоящем польско-советских отношений и без предоставления полякам в СССР таких прав, какими пользуются нацменьшинства в ПНР, не удастся изменить дурной климат.

Если кто-нибудь скажет, что это чересчур завышенные требования, то мы ответим: цель, какой является примирение обоих народов, стоит этих огромных усилий. Пусть примером тому послужат мудрые и отважные слова польских епископов, которые в 1966 году обратились к немцам с призывом простить те вины, которые лежат на совести поляков. Эти слова послужили основой будущего примирения.

Мы переживаем сейчас критический момент польско-советских отношений. Существуют исторические шансы, быть может, самые большие в нынешнем веке, открыть новую страницу в истории славянских народов Восточной Европы. Советские руководители разумным решением, дающим свидетельство терпимости, уважения к провозглашаемому ими самими праву народов на самоопределение, могут порвать с традицией вражды, гнета и ненависти. Решение же о вмешательстве или интервенции перечеркнет — и, пожалуй, навсегда — надежду на примирение.

РЕДАКЦИЯ

Чего хотят поляки?

— Чего хотят поляки? — спрашивали многих из нас знакомые и незнакомые советские люди с искренним любопытством, а иногда словно бы с оттенком горечи.

И те, кто навещал меня в Польше или писал (обычно с оказией) письма, и те, кого я навещал в Белоруссии, в Москве и в Ленинграде, — почти все в один голос: чего хотят поляки? А некоторые: да им же и так хорошо.

Это значило: полякам кажется, что они живут в нужде, а тем временем у них в магазинах все еще больше товаров, чем в наших, в их квартирах мебель красивее, женщины одеты более модно, на лотках больше овощей (да не таких грязных и мятых, как у нас), больше людей ездит в собственных машинах, польский крестьянин не прозябает так нищенски, как советский колхозник, польский профессор или студент ездит за границу, в Польше можно прочесть больше интересных книг и журналов, в кино-театрах и по телевидению увидеть больше западных фильмов, можно даже — если пожелаете — высказать более рискованные мнения, не боясь, что это плохо кончится. Чего ж еще полякам не хватает?

Иногда в этом вопросе был еще и другой смысл: мы все связаны одной веревкой, все — русские, поляки, латыши, чехи, восточные немцы, болгары, — нас связала судьба, высшая сила, история, так нечего дергаться, беспокоиться, надо смириться, принять свою судьбу, все равно ничего не переменится, так уж должно быть, пусть каждый своими силами как-то пытается внутри этого устроиться немножко поудобней, немножко побогаче других, пусть урывает кусок, как только подворачивается возможность, — но бунт, переворот, отрицание? Эх, господа, побольше смирения, понимания законов истории, чувства общей с нами доли — мы-то сидим по уши в этом дольше, чем, вы, теснее, чем вы, а вот не бунтуем же без надобности, принимаем то, что реально, а

следовательно, неизбежно, — и только вы, кичливые ляхи, хотите выскочить, лучше других быть?

За вопросом, который задавали советские люди (не все, естественно, — были и такие, что, ни о чем не спрашивая, подбадривали нас каким-нибудь одним дружелюбным словом или без слов крепко пожимали нам руки), — за этим вопросом стояла, во-первых, жажда информации, желание понять, каков смысл этого редкостного возмущения соседнего народа, каков смысл его попытки изменить свою судьбу. Но стоял за ним и образ того, что есть и что может быть, философия коллективного и индивидуального существования в знакомой сфере, кодекс того, к чему можно, а к чему нельзя стремиться жителям этой части света.

Тогда, в самом начале, когда происходили эти разговоры, я не умел (и, пожалуй, мало кто умел) ответить так, чтобы попасть в самую суть происходящего и охватить его в целости, — самое большее, что я мог, это р а с с к а з а т ь о той захватывающей лавине, которая втянула меня и стольких близких мне людей — и стольких неблизких, делая их внезапно близкими, рассказывать, как что-то нарастало и пульсировало, как люди кидались и припадали к этому, словно жаждущий к роднику, словно всю жизнь этого ждали — з н а к а, лозунга, этого пробивающегося из-под глыб живого ростка, который они обовьют, обрастут собою; я мог рассказать, как что-то прорывалось в людях, в этих многих вполне порядочных людях, с которыми мне до того приходилось встречаться и знать их по какому-нибудь мимолетно оброненному слову, жесту, по робкой попытке сделать добро или не участвовать в зле или хотя бы по улыбке, по взгляду, по скрипу зубов при звуке лживого красноречия, в людях, которые долгие годы, иногда от молодости до старости, так мало могли, а теперь взволнованно объединялись в чем-то, что ощущали как грандиозное и чему в некий момент они дали имя С о л и д а р - н о с т и; о молодых (сам-то я уже не очень молод), к которым я приглядывался потрясенно, поскольку успел уже привыкнуть к их сдержанности и иронии по отношению ко всему "социальному", к их демонстративному неверию в смысл и результаты общественной деятельности, к их программному уходу в частную жизнь, в устройство своих дел, в узкий семейный и профессиональный круг, — и вот я не узнавал их: неужели это те же самые ныне пылко и самоотверженно да к тому же — откуда это взялось? — умело создавали д в и ж е н и е, становились его глав-

ной силой, тратили целые часы на совместное самоопределение и самоорганизацию, брали руководство или доверяли его другим, таким же молодым, как они... Я мог рассказать о рабочих, водителях автобусов, санитарках, учителях, обо всех, среди кого и вместе с кем я был в эти самые яркие дни моей жизни, в дни братства и праздничного подъема, в дни наступления. О киоскере, который бастовал впервые в жизни, в защиту кого-то, кого никогда не видал, и повторял взволнованно: "Клиенты сегодня такие понимающие, не сердятся на нас". Или о той женщине, что пришла к своему коллеге, моложе ее на четверть века: "Помогите мне, пожалуйста, я хочу сделать что-то нужное, прежде чем уйду на пенсию, и решила у себя на работе организовать профсоюз, да не знаю, как за это приняться..."

Заурядное, затрепанное слово "профессиональный с о ю з" тогда снова приобрело значение, перестало определять лишь форму, лишь регистрацию формальной принадлежности, начало означать восстановленные у з ы, с о ю з н и ч е с т в о, с в я з ь между людьми, их взаимную п р и в я з а н н о с т ь друг к другу и к той хорошей идее, что их с в я з а л а, и выполнение о б я з а н н о с т и перед чем-то, что выше нас, и з а в я з ь, как в природе новой жизни, которая будет развиваться и вступать в стадии все большей зрелости, и крепкое, как у каменщика или бетонщика, в я ж у щ е е вещество, — и так, излучая новое сияние, слово это сближалось с забытым, старосветским: с о ю з д у ш, б р а т с к и й с о ю з ...

Но я мог еще — и должен был, желая придерживаться истины, — рассказать о мраке, жестокости, фальши, обо всем том, что снова подползало и окружало, пытаюсь задушить, затормозить, запугать, обмануть, оплевать, окромсать, отменить, затруднить, замутить, разочаровать и сломать. И все это действовало так по своей натуре и по привычке, со страха и из верности доктрине, инстинктивно и планомерно, ради собственной выгоды и по приказу. Сколько можно было бы привести примеров этой подлости, в малом и великом, этих фанатических, трусливых, низких, а временами и опасных поступков. Однако выходило так, что всякое оскорбление и провокация еще больше объединяли людей, склоняли их стоять на своем, не отступать (за спиной — пропасть), сильнее связаться именно с этим движением, с этой надеждой, с этим союзом...

Вот и все, что я мог рассказать о своей стране, о лете и осени 1980-го, о своем народе, апологетом которого я никогда не был, да и теперь не собирался становиться, но которым я, быть может, первый раз в жизни так гордился; и, возможно, в рассказе уже таился ответ, но я еще не умел его извлечь и много раз спрашивал и сам себя, и других, и уходящее время, и память о более давних временах, пока из-под случайных наслоений и разных масок сегодняшнего дня не выслоились простые слова: поляки хотят быть.

Если вслед за современными философами и моралистами мы примем элементарное подразделение типов существования в мире, осуществления своей судьбы, понимания ценностей, вокруг которых строится существование, — *иметь и быть* — и если перед нами во всей своей красе предстанет картина обществ, называемых социалистическими, обществ "реального социализма", то мы заметим, что, вопреки распространенным воззрениям, природа несчастья, обрушившегося на его подданных, — не столько материальная, сколько духовная экспроприация. То, в чем реальный социализм (вопреки грезам и обетам своих основоположников) решительно отказывает людям, чего он их безжалостно лишает, входит не столько в категорию *иметь* (в нее тоже, но не до конца, не для всех, не всегда — в известные периоды из моря нищеты выныривают индивидуумы и группы, которым разрешается *иметь*; например, в Польше 70-х годов власть предержащие сделали из возможности чем-то обладать стимул, приманку и орудие развращения всего того слоя, на который они опирались), сколько в категорию *быть*. Невозможно подлинно *быть*, если ты член нации, у которой отняли целые куски истории: героев и предателей, победы и поражения, мудрые реформы и гибельные интриги, всеобщие порывы и общие могилы. Невозможно *быть* в шатком, словно лунатическом пространстве, где невидимая рука стирает с карты названия деревень и городков и вписывает другие, выдуманные бездарным подхалимом и бюрократом, где родимые пейзажи распадаются в прах, уступая место дешевке оскорбительных для глаза декораций, где нельзя выбрать своего местопребывания, ибо отовсюду тебя в любую минуту могут изгнать. Невозможно *быть*, если, принадлежа к классу трудящихся, ты изо дня в день убеждаешься в бессмысленности труда, направленного не на создание необходимого, а на выполнение плана, подтверждение лозунга, исполнение прика-

за, и годами участвуешь в бесплодной сумятице и фикции, которую давно поставила на место горькая варшавская шуточка: мы притворяемся, что работаем, а они притворяются, что нам платят. Невозможно *быть*, если отец семейства не в состоянии — и не по своей неспособности — обеспечить жене и детям средства к существованию, жилье и хоть какое-то будущее. Невозможно *быть*, если ты крестьянин и власти не оставляют тебя в покое, приглядывая, чтобы земля твоя родила поменьше, и ждут, не дождутся того момента, когда смогут прибрать ее к рукам окончательно. Невозможно *быть*, если ты учитель и на вопрос ученика не имеешь права ответить то, что знаешь, и то, что думаешь; и если ты ученик и больше уже не задаешь вопросов, зная, что ответ будет уклончив или его вовсе не будет. Невозможно *быть*, если ты пишущий человек, которому заглядывают через плечо в рукопись и которого ловят за руку бесчисленные цензоры. Невозможно *быть*, если душа твоя исполнена верой, а ты, хоть и не принужден от нее отречься, наталкиваешься на кучу причин помалкивать о ней. Невозможно *быть*, когда все кругом лжет: голос из репродуктора и голос из учрежденческого окошка, буквы в газете и буквы на плакате, лжет статистика и конституция, законы и деньги, герб и гимн, название предмета и название идеи, поцелуй на аэродроме и бряцание сабелькой, ритуал выборов и ритуал митингов осуждения, будничные день и праздник.

Поляки хотят быть — они хотели этого и тогда, когда им самим и всем наблюдателям казалось, что они хотят только *иметь*: когда они выходили на улицы протестовать против нужды, против того, что у них грабят последние крохи, сваливая на их сгорбленные плечи цену "динамического и гармонического развития", когда они терпели кровавую расправу "за колбасу", как издевались обличители общественных пороков — сами, как правило, сытые. Уже тогда: в 56-м, 70-м, 76-м году — из охваченной лихорадкой толпы звучали и иные песни, и иные призывы, только мало кто в них вслушивался. И когда вновь, побежденные, обманутые, они в отчаянии отдавались в руки очередных спасителей и демагогов, на грубоватое "Поможете?" отзываясь: "Поможем!", — тогда они тоже хотели быть, хотели вместе выручать смысл своей жизни, смысл дальнейшего труда. И, наконец, после которого-то раза, в знойное, засушливое лето 1976 года, они вернулись иными — ничего больше не ожидая от тех, но творя разнообразные формы *самозащиты*, выде-

ляя своих, вне официальной системы, деятелей и предводителей, своих техников и поэтов, организаторов и преподавателей, авторов идей и кодексов поведения, своих священников и адвокатов и, наконец, людей протеста и самоотречения, политзаключенных и участников голодовок — весь этот новый вырисовывающийся мир свободы среди порабощения, подлинной жизни среди бутафории и манекенов. словно из вонючего болота пошли подниматься островки твердой почвы, все численней, все раскидистей. Я не намерен и не смог бы описывать здесь события этих необычайных четырех подготовительных лет (о которых тогда даже не предчувствовали, что они подготовительные, думали, что это просто жизнь, единственно имеющая смысл для тех, кто такую выбрал, — и разве не вправду так это и было?); я едва напому о том моменте, когда в июне 1979 года, во время паломничества польского Папы в родную страну, многомиллионная толпа, сгрудившаяся на поле, что зовется П о л ь ш е й, поглядела на себя и вдруг ощутила, одновременно вся, что она сильна, что она свободна, что она есть она, что она н а с а м о м д е л е е с т ь, а те — никакие и ненастоящие, — вот все это и было у ж е э т о .

А когда летом 1980-го начались забастовки в разных городах, снова — ах, какая приземленность! — из-за мяса и денег, хоззева Народной Польши поверили, что речь идет т о л ь к о о м я с е и д е н ь г а х, только об и м е т ь, и пытались по очереди подкупить то один, то другой бастующий коллектив. Я не идеализирую моих соотечественников, и мне в голову не приходит стыдиться за них: бедняки (даже если где-то живут еще беднее, польские рабочие достаточно натерпелись, чтобы чувствовать свою бедность) имеют право беспокоиться о том, что они положат в кастрюлю и что принесут в получку; но вот вспыхнула уже забастовка за восстановление работницы, уволенной "за политику", вот предприятие, требования которого удовлетворены, продолжает бастовать, чтобы поддержать другие предприятия, — и на стенах впервые появилось слово: с о л и д а р н о с т ь, забастовка солидарности; вот в рабочих требованиях выдвинуто (как и 10 лет назад) право на неподцензурную правду; вот в переговорах с зам. премьер-министра рабочие соглашались ограничить экономические требования, но продолжают отстаивать с в о б о д н ы й п р о ф с о ю з; и так оно катилось по всей стране, чуть не в каждом месте по отдельности вырывая то, что уже было признано в других местах, потому что власть все еще рассчитывала локали-

зовать заразу; а локализовать ее нельзя было именно потому, что речь шла не только об и м е т ь, но также и прежде всего о б ы т ь; иными словами — о п о д л и н н о с т и всего: межчеловеческих связей, представительств, законов, учреждений; о том, чтобы по обе стороны стола вели переговоры друг с другом подлинные представители разных истин и мнений; чтобы предприниматель говорил языком предпринимателя, а профсоюз — языком трудящегося; чтобы каждый вполне был самим собой: верующий — верующим, социалист — социалистом, крестьянин — крестьянином, депутат — депутатом, отец семейства — отцом семейства, — и чтобы все было самим собой: труд — трудом, зарплата — зарплатой, информация — информацией, школа — школой, справедливость — справедливостью; "чтобы Польша была Польшей", как поется в песне, сложенной за несколько лет до этого, но именно тогда подхваченной людьми — именно тогда ее слушали сияющими глазами...

В самом деле: чего хотят поляки?

Июль 1981

Н.Н. из Варшавы

ОГЛЯНИСЬ В РАСКАЯНЬИ

В эти памятные и скорбные для Польши дни мы, советские правозащитники, хотим еще раз заверить своих польских друзей, а в их лице и весь польский народ, что никто из нас никогда не забывал и не забудет о той ответственности, которую несет наша страна за преступление, совершенное ее официальными представителями в Катыни.

Мы уверены, что уже недалек тот день, когда наш народ воздаст должное всем участникам трагедии, как палачам, так и жертвам: одним — в меру их злодеяния, другим — в меру их мученичества.

Апрель 1980, сороковая годовщина Катынского преступления

Людмила АЛЕКСЕЕВА
Андрей АМАЛЬРИК
Владимир БУКОВСКИЙ
Борис ВАЙЛЬ
Томас ВЕНЦЛОВА
Александр ГИНЗБУРГ
Наталья ГОРБАНЕВСКАЯ
Зинаида и Петр ГРИГОРЕНКО
Борис ЕФИМОВ
Татьяна ЖИТНИКОВА (ПЛЮШ)
Арина ЖОЛКОВСКАЯ (ГИНЗБУРГ)
Юлия ЗАКС
Эдуард КУЗНЕЦОВ
Павел ЛИТВИНОВ

Кронид ЛЮБАРСКИЙ
Владимир МАКСИМОВ
Владимир и Галина МАЛИНКОВИЧ
Раиса МОРОЗ
Виктор НЕКРАСОВ
Владлен и Светлана ПАВЛЕНКОВЫ
Леонид ПЛЮШ
Галина САЛОВА (ЛЮБАРСКАЯ)
Надя СВИТЛИЧНАЯ
Павел СТОКОТЕЛЬНЫЙ
Валентин ТУРЧИН
Борис ШРАГИН
Юрий и Вероника ШТЕЙН
Татьяна ХОДОРОВИЧ

ПРИВЕТСТВИЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СВОБОДНЫХ ПРОФСОЮЗОВ В СССР СЪЕЗДУ "СОЛИДАРНОСТИ"

Мы посылаем вам это приветствие из страны, рабочий класс которой практически никогда не знал независимых профсоюзов, твердо и решительно защищающих интересы трудящихся масс. О достижениях польского пролетариата мы можем только мечтать. Наше рабочее движение только рождается в сегодняшнем водовороте событий и идей. Достаточно малой искры, чтобы оно вспыхнуло великим пламенем и смело тех, кто безжалостно использует огромное терпение русского народа. Ваша борьба за дело простых людей в Польше — это и наша борьба. Все, чем вы способствуете смерти лжи и лицемерия, осуществлению фундаментальных требований трудящихся, — ослабляет также и наш режим. Польша не будет свободна, пока не будет свободна Россия. Только демократические перемены по эту сторону Буга позволят вам, ни на кого не оглядываясь, строить свободно цветущую страну. Как хотели бы мы, чтобы среди гостей съезда были представители свободного русского рабочего движения. Как хотели бы мы, ни на кого не оглядываясь, выразить вам свою безусловную поддержку — иначе, чем это делает наша власть. Пока это только мечты, но настанет день — мы твердо в это верим, — когда польские и русские рабочие плечом к плечу пойдут навстречу демократии и прогрессу. Сегодня "Солидарность" указывает нам путь; ценой преследований, крови и страданий польские рабочие порвали путы официальных профсоюзов. Перед лицом съезда мы, рабочие и интеллигенты, хоть нас сегодня и немного, торжественно клянемся сделать у себя на родине все возможное, чтобы помочь вам и распространять правду о вас, чтобы разоблачить ложь и, если понадобится, мы будем защищать вас всеми возможными способами. Да здравствует международная солидарность трудящихся! Да здравствует дружба польского народа с народами СССР! Помогите вам Бог в вашем историческом деле.

Учредительный комитет свободных профсоюзов в СССР

ОБРАЩЕНИЕ ПЕРВОГО СЪЕЗДА ДЕЛЕГАТОВ НСПС
"СОЛИДАРНОСТЬ" К ТРУДЯЩИМСЯ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Делегаты, собравшиеся в Гданьске на Первый съезд делегатов независимого самоуправляющегося профсоюза "Солидарность", приветствуют рабочих Албании, Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республики, Румынии, Чехословакии и всех народов Советского Союза и выражают им свою поддержку. Как первый независимый профсоюз в нашей послевоенной истории, мы глубоко ощущаем единство наших судеб. Заверяем вас, что, вопреки лжи, распространяемой в ваших странах, мы являемся подлинным 10-миллионным представительством трудящихся, возникшим в результате рабочих забастовок. Наша цель — борьба за улучшение существования всех трудящихся. Мы поддерживаем тех из вас, кто решился вступить на трудный путь борьбы за свободное профсоюзное движение. Мы верим, что уже скоро ваши и наши представители смогут встретиться, чтобы обменяться опытом.

Гданьск, 8 сентября 1981.

Нобелевская лекция

1

То, что я оказался на этой трибуне, — несомненный аргумент для всех, славящих данную нам от Бога, чудесно сложную непредсказуемость жизни. В школьные годы я читал книги из выходившей тогда в Польше серии "Библиотека Нобелевских лауреатов" — помню и шрифт, и оттенок бумаги. Тогда я думал, что Нобелевские лауреаты — это "писатели", то есть люди, прозой сочиняющие толстые тома. Даже узнав, что среди них есть поэты, я долго не мог избавиться от ставшего привычным представления. И, печатая в 1930 году первые стихи в нашем университетском журнале "Alma Mater Vilnensis", я отнюдь не претендовал на звание "писателя". Точно так же, значительно позднее, выбирая одиночество и предаваясь такому чудному занятию, как писание польских стихов, — чудному, когда живешь во Франции или в Америке, — я поддерживал некий идеальный образ поэта: если он хочет прославиться, то лишь у себя на деревне или в своем городе.

Думаю, что один Нобелевский лауреат, читанный в детстве, серьезно повлиял на мои представления о поэзии, — я рад сказать об этом здесь. Это была Сельма Лагерлеф. Ее "Чудесное путешествие", книга, которую я боготворил, наделяет героя двойственной ролью. Он — тот, кто летит над землей и охватывает ее взглядом *сверху*, и в то же время он видит ее во всех подробностях. Это можно счесть метафорой призвания поэта. Позднее я нашел сходную метафору в латинской оде поэта XVII века Мацея Сарбевского, известного в Европе под псевдонимом Казимир. Он преподавал поэтику в моем университете. В оде этой он описывает свое путешествие из Вильно в Брюссель, где у него были друзья-поэты, — верхом на Пегасе. Как и Нильс Хольгерссон, он видит *внизу* реки, озера, леса, то есть карту, в равной степени отдаленную и полную конкретности.

Так вот они, два свойства поэзии: жадность зренья и жажда описанья. Однако всякий, кто понимает поэзию как "видеть и описывать", должен знать, что вступает в серьезный спор с современностью, зачарованной бесчисленными теориями специфического поэтического языка.

Всякий поэт зависит от поколений, писавших на его родном языке, наследует стили и формы, разработанные его предшественниками. Тем не менее, он ощущает, что эти прежние способы выражения не приспособлены к его собственному опыту. Приспосабливаясь к ним, он слышит внутренний голос, остерегающий его от маскировки и переодевания. Бунтуя, он, в свою очередь, попадает в зависимость к своим ровесникам, ко всевозможным авангардистским течениям. Увы, достаточно ему выпустить первый сборник стихов — и он уже в ловушке. Едва просохла типографская краска, как это сочинение, казавшееся ему в высшей степени его собственным, выглядит для него увязшим в стиле, зависимым. Единственный ответ на смутные угрызения совести — новые поиски и выход новой книги, после чего все повторяется, и погоне этой нет конца. Может и такое случиться, что, оставя позади себя книги, словно сброшенную змеиную кожу, и убегая все вперед и вперед от сделанного прежде, получаешь Нобелевскую премию.

Что такое этот загадочный импульс, который не позволяет уютно расположиться в совершённом и завершённом? Думаю, что это поиски действительности. Слову этому я придаю смысл наивный и достойный, ничего общего не имеющий с философскими спорами последних столетий. Это Земля, увиденная Нильсом со спины гуся и автором латинской оды со спины Пегаса. Эта Земля, несомненно, есть, и богатств ее не исчерпает никакое описание. Придерживаться такого мнения — это заведомо отбросить часто раздающийся в наше время вопрос: "Что есть действительность?", ибо он равнозначен вопросу Понтия Пилата: "Что есть истина?" Если противостояние жизни и смерти — одна из важнейших пар противоположностей, используемых нами повседневно, то не менее важно противостояние истины и лжи, действительности и иллюзии.

Симона Вайль, сочинениям которой я многим обязан, сказала: "Дистанция — душа прекрасного". Бывает, однако, что обрести дистанцию почти невозможно. Я, как указывает заглавие одного моего стихотворения, — "Дитя Европы", но звучит это горько и саркастически. Я написал также автобиографическую книгу, во французском переводе озаглавленную "Une autre Europe"* . Нет сомнения, что существуют две Европы и что нам, жителям той, "другой", довелось сойти в "сердце тьмы"** XX века. И я не сумел бы говорить о поэзии "вообще" — я вынужден говорить о поэзии, встретившей особые обстоятельства места и времени. С теперешней перспективы видны общие очертания событий, своим смертоносным размахом превзошедших все известные нам стихийные катастрофы, но поэзия моя и моих ровесников — авангардной ли пользуясь, традиционной ли стилистикой — не была подготовлена к восприятию этих событий. словно слепые, мы двигались ощупью, натываясь на все искушения, которым в нашем веке подвержен ум. Не легко отличить действительность от иллюзии, живя в эпоху великого переворота, который начался несколько сот лет тому назад на малом западном полуострове евразийского материка и за срок одной человеческой жизни охватил всю планету одним культом — культом науки и техники. А особенно трудно было противостоять разнообразным искушениям на тех пространствах Европы, где дегенеративные идеи господства над людьми или Природой привели к пароксизмам революции и войны, цена которых — несчетные миллионы человеческих существ, убитых физически или духовно. Однако, может быть, самое ценное, чего мы достигли, повстречавшись с этими идеями в их более чем осязаемом виде, — не их анализ, но благодарное уважение ко всему, что защищает людей от внутреннего распада и покорности насилию. Именно на это устремлялась ярость сил зла: на определенные обычаи, определенные институты — в первую очередь, на все связи между людьми, существующие

* "Другая Европа". В оригинале книга называется "Родимая Европа". — Прим. пер.

** "Сердце тьмы" — заглавие одной из самых значительных книг Дж. Конрада. — Прим. пер.

органично, как бы само собой, и поддерживаемые семьей, религией, соседством, общим наследием, — одним словом, на все человеческое, неловкое, нелогичное, так часто выглядящее смешным в своих провинциальных привязанностях и проявлениях верности. Во многих странах традиционные связи *civitas* подвергаются ныне постепенной эрозии, и жители их — лишены наследства, сами того не сознавая. Другое дело — там, где внезапно, в угрожаемом состоянии, обнаруживается защитная, жизнотворная ценность этих связей. Так было на землях, откуда я родом. Тут-то, полагая, мне и следует вспомнить о дарах, полученных мною и моими друзьями в нашей части Европы, и произнести слова благословений.

Хорошо родиться в малой стране, где природа человечна, на людскую меру, где веками жили вместе разные языки и разные религии. Я говорю о Литве — земле мифов и поэзии. И пусть семья моя еще с XVI века говорила по-польски, как многие семьи в Финляндии говорят по-шведски, а в Ирландии — по-английски, в результате чего я и стал польским, а не литовским поэтом, — пейзажи, а может быть, и духи Литвы никогда меня не покидали. Хорошо с детства слышать слова латинской литургии, переводить в школе Овидия, изучать католическую догматику и апологику. Благословенно получить от судьбы такое место школьного и университетского ученья, каким было Вильно — чудной город, где барочная и итальянская архитектура перенесена в северные леса, а история запечатлена в каждом камне, город сорока католических костелов и — многочисленных синагог; в те времена евреи называли его Иерусалимом Севера. Уже преподавая в Америке, я понял, как многим наплатили меня толстые стены нашего университета, забытые формулы римского права, история и литература старой Польши, поражающие молодых американцев своими исключительными чертами: снисходительной анархией, обезоруживающим в ярых спорах юмором, чувством органического сообщества, недоверием ко всякой централизованной власти.

Выросши в таком мире, поэт должен стать искателем действительности через созерцание. Ему должен быть дорог известный патриархальный порядок, колокольный звон, отгороженность от натиска и упорных требований ближних, тишина монастырской кельи, а если уж книги на столе, так те, что трактуют об этом непонятном свойстве сотворенных вещей — об их *esse*. И вдруг все это перечеркивается демоническими поступками Ис-

тории, обладающей всеми чертами кровожадного божества. Земля, на которую поэт взирал в своем полете, взывает криком воистину из бездны и не позволяет созерцать себя свысока. Возникает непреодолимое противоречие, реальное, ни днем, ни ночью не дающее покоя, как его ни назови — противоречием между бытием и действием или между искусством и людской солидарностью. Действительность добивается воплощения в слове, но она невыносима, и если мы к ней притрагиваемся, если она здесь, около, то из уст поэта не извлечь даже Иовой жалобы: всякое искусство обращается в ничто по сравнению с деянием. Охватить же действительность, сохраняя всю ее извечную путаницу зла и добра, отчаяния и надежды, — можно лишь благодаря дистанции, лишь возносясь *над* действительностью, но это, в свою очередь, выглядит моральным предательством.

Таково было противоречие, порожденное самой глубиной конфликтов XX века и открытое поэтами на земле, зачумленной геноцидом. Что думает автор некоторого количества стихов, оставшихся памятью, свидетельством того времени? Он думает, что эти стихи порождены болезненным противоречием и что было бы лучше, если б вместо писания стихов он мог разрешить это противоречие.

3

Покровителем всех поэтов-изгнанников, навещающих родные края лишь в воспоминаниях, остается Данте — но сколько Флоренций появилось с тех пор! Изгнание поэта — нынче элементарная функция сравнительно недавнего открытия: кто держит власть — может контролировать и язык, притом не только цензурными запретами, но и меняя значение слов. Это совсем особое явление — язык несвободного общества, приобретающего определенные устойчивые навыки: целые сферы действительности перестают существовать, ибо не имеют названия. Есть, пожалуй, скрытая связь между теориями литературы как *écriture*, как речи, кормящейся самой собою, и ростом тоталитарного государства. Во всяком случае, у государства нет оснований быть нетерпимым по отношению к деятельности, которая состоит в сочинении стихов и прозы, понимаемых как автономные системы соотношений, замкнутые в своих границах. Поэт опасен лишь тогда, когда он неустанно стремится сбросить заимствованную стилистику — в поис-

ках действительности. В зале, где все собравшиеся дружно поддерживают заговор молчания, одно слово правды звучит пистолетным выстрелом. Да что слово — искушение высказаться, будто у человека вдруг зачесалось, становится навязчивой идеей и ни о чем другом не дает думать. Вот почему поэты выбирают изгнание. Трудно, впрочем, сказать, что тут срабатывает: одержимость происходящим или надежда избавиться от него и в других странах, на других берегах хотя бы изредка обретать свое настоящее призвание — созерцание Бытия.

Надежда эта, однако, довольно обманчива, ибо пришелец из нашей "другой Европы" повсюду, где ни окажется, замечает, что от новой среды его отделяет накопленный опыт, а это, в свою очередь, может стать навязчивой идеей. На год от года уменьшающейся планете, при фантастическом развитии средств информации, протекает процесс, не поддающийся определению, — его можно бы назвать отказом от памяти. Наверно, неграмотные прошлых веков — то есть большинство человечества — мало что знали об истории своих стран или своей цивилизации. Зато в умах современных безграмотных, умеющих и читать, и писать, даже обучающих молодежь в школах и университетах, история присутствует, но странно спутанной и затуманенной. Мольер становится современником Наполеона, Вольтер — Ленина. И события последних десятилетий, имеющие столь принципиальное значение, что от знания или незнания их будут зависеть судьбы рода человеческого, — отдаляются, теряют всякую плотность, будто дословно исполняется предсказание Ницше о европейском нигилизме. "Глаз нигилиста, — писал Ницше в 1887 году, — изменяет воспоминаниям: он позволяет им обнажиться, отрясти листву... А чего нигилист не умеет сделать для себя, того не сделает он и для всего прошлого семьи человеческой — и позволяет этому прошлому пропасть". Сколько набралось уже вымыслов о прошлом, противоречащих простейшему здравому разуму и элементарному чувству добра и зла. Как сообщила недавно "Лос-Анджелес Таймс", в разных странах вышло около сотни книг, доказывающих, что the Holocaust'a никогда не было, что это выдумка сврейской пропаганды. Если возможно такое безумие, то вполне ли невероятна всеобщая и непрерывная потеря памяти, и не представляет ли она большей угрозы, нежели генетические манипуляции или загрязнение природной среды?

Для поэта из "другой Европы" события, охватываемые понятием the Holocaust, — действительность столь близкая во времени, что попробовать избавиться от их постоянного присутствия в воображении он может, разве что занявшись переводом Давидовых Псалмов. Но и тогда он испытывает ужас, видя, как значение этого слова постепенно меняется и начинает относиться только к истории евреев, как будто жертвой преступления не пали также миллионы поляков, русских, украинцев и узников других национальностей. Он испытывает ужас, потому что видит в этом как бы предвестие будущего — возможно, уже недалекого, — когда от истории останется лишь то, что появится на экране телевизора, а правда, за чрезмерной сложностью, будет погребена в архивах, а то и вовсе уничтожена. Да и другие факты, близкие ему, далекие людям Запада, придают в его глазах правдоподобие Уэллсовскому видению из "Машины времени": Земля, населенная племенем детей дня, беззаботных, лишенных памяти и, значит, истории, беззащитных перед жителями подземных пещер — пожирающими людей детьми ночи.

Уносимые потоком технологического развития, мы знаем, что началось объединение нашей планеты, и международное сообщество — для нас не пустой звук. Даты создания Лиги Наций, а затем — Организации Объединенных Наций заслуживают памяти. Увы, значение их меркнет на фоне другой даты, которую следовало бы ежегодно отмечать как день траура, — но молодые поколения ничего о ней не слышат. Это день 23 августа 1939 года. Два диктатора заключили тогда договор, снабженный секретным протоколом о разделе между ними соседних стран, имевших собственные столицы, правительства и парламенты. Результат этого — не только разожженный пожар самой страшной войны. Вновь вступил в действие колониальный принцип, согласно которому народы — всего лишь скот, предмет торговли, полностью зависящий от сиюминутного владельца. Их границы, их право на самоопределение, их паспорта — перестали существовать. И можно только недоумевать, видя сегодня, как о применении этого принципа диктаторами сорок лет назад — говорят шепотом, приложив палец к губам. А ведь преступления против человеческих прав, не ставшие предметом публичного признания и осуждения, — медленный яд, сеющий ненависть между народами вместо дружбы.

В антологиях польской поэзии есть имена моих друзей: Владислава Себылы и Леха Пивовара — и дата их смерти: 1940-й. Абсурдно, что нельзя написать, как они погибли, хотя каждый в Польше знает правду: они разделили судьбу многих тысяч польских офицеров, разоруженных и интернированных тогдашним соучастником Гитлера, и похоронены в массовой могиле. И не следует ли молодым поколениям на Западе, если их вообще интересует история, знать о двухстах тысячах людей, павших в 1944 году в Варшаве, в городе, обреченном на гибель обоими соучастниками?

Двух диктаторов-палачей давно нет в живых, но кто знает — не досталась ли им победа с более стойкими последствиями, чем победы и поражения их армий? Вопреки декларациям Атлантической Хартии, принцип, по которому страны — предмет торговли, а то и ставка игроков в карты или кости, утвержден разделом Европы на две зоны. Постоянно напоминает о наследии двух диктаторов отсутствие трех балтийских государств среди членов Организации Объединенных Наций. До войны эти государства были членами Лиги Наций, но исчезли с карты Европы в результате секретного протокола к пакту 1939 года.

Да простят мне обнажение памяти как раны. Тема эта — не посторонняя в моих размышлениях о слове "действительность", не утратившем достоинства, несмотря на все злоупотребления, которым оно подверглось. Плач народов, пакты вероломнее тех, о которых мы читаем у Фукидида, форма кленового листа, расцветы и закаты над океаном — вся эта ткань причин и следствий, зови ее Природой или Историей, указывает, я убежден, на иную действительность, непроницаемую для нас, хотя нескончаемое стремление к ней — движущая сила всякой науки и искусства. Иногда мне кажется, что я разгадываю смысл несчастий, выпавших на долю народов "другой Европы", что смысл этот — в сохранении памяти, в то время как Европа без прилагательного и Америка, кажется, все теряют и теряют ее с каждым поколением. Быть может, и вправду нет иной памяти, нежели память ран, как свидетельствует об этом Библия, летопись тяжких испытаний Израиля. Книга эта долго позволяла европейским народам сохранять чувство непрерывности — отнюдь не то же, что модный нынче термин "историзм".

В течение трех десятков лет, прожитых мною за границей, я чувствовал себя в более привилегированном положении, чем

мои западные коллеги, будь то писатели или преподаватели литературы, поскольку события, как недавние, так и многовековой давности, приобретали для меня резкие, подробные очертания. Заграничная публика, читая стихи или романы, написанные в Польше, Чехословакии, Венгрии, смотря сделанные там фильмы, вероятно, угадывает в них такую же остроту сознания в постоянной борьбе с цензурными ограничениями. Именно память является нашей — всех нас из "другой Европы" — силой, она защищает нас от той речи, что заплетается вокруг самой себя, как вьюнок, не нашедший опоры в стене или древесном стволе.

Чуть выше я сказал, что жажду избавиться от противоречия, возникающего между потребностью дистанции и чувством людской солидарности. Но, если признать полет *над* землей, верхом на гусе или на Пегасе, метафорой призвания поэта, легко заметить, что и в ней уже есть противоречие, ибо как же быть *над* и в то же время видеть землю во всех подробностях? Тем не менее, при неустойчивом равновесии противоположностей можно достичь известной гармонии — благодаря дистанции, которую создает само уходящее время. "Видеть" — это не только иметь перед глазами, "видеть и описывать" — это воссоздавать в воображении. Дистанция, создаваемая тайной времени, не обязательно превращает события, пейзажи, человеческие лица в мешанину все более блеклых теней. Наоборот, она может пролить на них ясный свет, так что каждый факт, каждая дата приобретут выразительность и сохранятся вечным напоминанием о человеческом бесславии и о человеческом величии. Те, что живы, получают мандат от тех, кто навеки умолк. Они могут исполнить свой долг, лишь стараясь точно воссоздать то, что было, вырывая прошлое из-под власти вымыслов и легенд. Так земля, видимая с высоты, и земля, живущая в обретенном времени, равно становятся материалом поэта.

4

Я не хотел бы создать ложного впечатления, что мой ум обращен к прошлому. Как все мои современники, я был склонен отчаиваться, предвидеть скорую гибель и ловил себя на том, что поддаюсь нигилистическому соблазну. Однако, если глянуть глубже, моя поэзия, как мне кажется, оставалась здоровой и выражала жажду Царствия Правды и Справедливости. Здесь следует на-

звать имя человека, который научил меня не поддаваться отчаянию. Дарами нас одаряют не только родная страна, ее реки и озера, ее традиции, но и люди, особенно если повстречать сильную личность, когда мы молоды. Мне посчастливилось, что ко мне почти как к сыну относился мой родственник Оскар Милош, парижский отшельник и визионер. Как случилось, что он стал французским поэтом, — это могла бы объяснить запутанная история семьи и страны, некогда называвшейся Великим Княжеством Литовским. Недавно в парижской прессе были высказаны (неважно, из каких побуждений) сожаления о том, что высшая международная награда полувеком раньше не была присуждена поэту, носившему ту же, что я, фамилию.

Я многому от него научился. Он дал мне глубже понять религию Ветхого и Нового Завета и навязал потребность строгой, аскетической иерархии во всех интеллектуальных сферах, в том числе во всем, что касается искусства. В искусстве он считал за величайший грех приравнивать второсортное к первоклассному. Но главное — я слушал его, как слушают пророка, который, по его собственным словам, любил людей "старой любовью, изношенной от жалости, одиночества и гнева", и потому бросал предостережение безумному, катящемуся к катастрофе миру. Я узнал от него, что катастрофа неизбежна, но узнал я и то, что предугаданный им великий пожар станет лишь частью более обширной драмы, которой суждено быть доигранной до конца.

Глубинные причины этого он усматривал в ложном направлении, избранном наукой XVIII века, что вызвало лавинообразное последствие. Подобно своему предшественнику Вильяму Блейку, он предвещал Новый Век, новый ренессанс воображения, ныне искалеченного неким типом научного знания, но — верил он — не всякое знание калечит и, вне сомнения, не то, которое откроют люди будущего. Неважно, насколько дословно принимал я его предсказания, — важна общая направленность.

Оскар Милош, как и Вильям Блейк, вдохновлялся сочинениями Эммануэля Сведенборга, того ученого, что раньше всех предвидел поражение человека, скрытое в Ньютоновой модели вселенной. Став, благодаря моему родственнику, внимательным читателем Сведенборга, хотя и толкуя его иначе, нежели было принято в эпоху романтизма, я не мог предположить, по какому случаю состоится мое первое — нынешнее — посещение его родины.

Наш век близится к концу, и — прежде всего, из благодарности за такие влияния — я не решился бы осыпать его нареканиями, ибо это был также век веры и надежды. Совершается глубокая перемена, которую мы почти не осознаем, ибо сами составляем часть ее, и время от времени она дает себя знать в явлениях, возбуждающих всеобщее недоумение. Эта перемена связана с тем, что, по выражению Оскара Милоша, представляет "глубочайшую тайну трудящихся масс, как никогда живых, восприимчивых и полных внутреннего страдания". Их тайна, невысказанная потребность подлинных ценностей, не находит языка для выражения, и повинны в этом не только средства массовой информации, но и люди творчества. И все-таки перемена продолжает совершаться, вопреки краткосрочным прогнозам, и наше время, несмотря на все ужасы и опасности, вероятно, будет названо неизбежной стадией родовых мук перед вступлением человечества на новый порог сознания. Тогда явится новая иерархия заслуг, тогда, я уверен, и Симоне Вайль и Оскару Милошу, писателям, в школе которых я был смиренным учеником, воздастся по достоинству. Думаю, что мы должны публично заявлять о нашей привязанности к тем или иным именам, ибо этим мы строже определим свои позиции, нежели перечнем имен наших противников. Я надеюсь, что эта лекция, несмотря на зигзаги мысли — профессиональный порок поэтов, ясно обнаруживает мои "да" и "нет", во всяком случае, там, где речь идет о наследовании. Ибо все мы здесь: и оратор, и слушатели — только звенья между прошлым и будущим.

С т и х и

В переводах Иосифа Бродского

СТЕНАНЬЯ ДАМ МИНУВШИХ ДНЕЙ

Наши платья втоптала в грязь большаков пехота.
Ленты скрутило пламя в собственные спирали.
Бусы упали на дно исторического водоворота.
Кольца с прозрачных пальцев темные люди сняли.

Рухнули наши прически — зависть любой богини.
Мастер вплетал в них перья. Теперь там кричит ворона.
Мы посыпаям их на ночь пеплом. Когда дневная

розовоперстая вещь из вод восстает, нагими
мы проходим по улицам нового вавилона,
лоб напряженно морща, что-то припоминая.

1944

ПОСВЯЩЕНИЕ К СБОРНИКУ "СПАСЕНИЕ"

Ты, которого я не сумел спасти,
выслушай. Постарайся понять эти простые слова. Ей-богу,
я не знаю других. Говорю с тобой молча, как дерево или туча.

То, что меня закалило, тебя убило.
Ты конец эпохи посчитал за начало новой
эры. А пафос ненависти — за лирические восторги.
Силу слепую — за совершенство формы.

С Т И Х И

Мелкие польские реки, струящиеся по равнине.
И колоссальный мост, тонущий в белой мгле.
И разрушенный город. Ветер швыряет вопли
чаек тебе на гроб, пока я говорю с тобою.

В неумелых попытках пера добиться
стихотворенья, в стремлении строчек к недостижимой цели —
в этом, и только в этом, как выяснилось, спасенье.

Раньше просом и семенами мака
посыпали могилы — ради всегда бездомных
птиц; в них, считалось, вселяются души мертвых.
Я кладу сюда эту книгу нынче,
чтоб тебе сюда больше не возвращаться.

ДИТЯ ЕВРОПЫ

1

Мы, чьи легкие впитывают свежесть утра,
чьи глаза восхищаются зеленью ветки в мае,
— мы лучше тех, которые (вздых) погибли.

Мы, кто смакует успехи восточной кухни,
кто оценить способен нюансы ласки,
— мы лучше тех, кто лежит в могилах.

От печи огненной, от колючки,
за которой пулями вечная осень свищет,
нас спасла наша хитрость и знание жизни.

Другим достались простреливаемые участки
и наши призывы не уступать ни пяди.
Нам же выпали мысли про обреченность дела.

Выбирая меж собственной смертью и смертью друга,
мы склонялись к последней, думая: только быстро.

Мы запирали двери газовых камер, крали
хлеб, понимая, что завтра кошмарнее, чем сегодня.

Как положено людям, мы познали добро и зло.
Наша подлая мудрость себе не имеет равных.

Признаем доказанным, что мы лучше
пылких, слабых, наивных — не оценивших жизни.

2

Цени прискорбное знание, дитя Европы,
получившее по завещанью готические соборы,
церкви в стиле барокко, синагоги с картавым
клекотом горя, труды Декарта,
Спинозу и громкое слово "честь".
Цени этот опыт, добытый в пору страха.

Твой практический разум схватывает на лету
недостатки и выгоду всякой вещи.
Утонченность и скепсис гарантируют наслажденья,
невнятные примитивным душам.

Обладая описанным выше складом
ума, оцени глубину нижеследующего совета:
вбирай свежесть утра всей глубиной легких.
Прилагаем ряд жестких, но мудрых правил.

3

Никаких разговоров о триумфе силы.
В наши дни торжествует, усвой это, справедливость.

Не вспоминай о силе, чтобы не обвинили
в тайной приверженности к ошибочному ученью.

Обладающий властью обладает ей в силу
исторической логики. Воздай же должное оной.

Да не знают уста, излагающие ученье,
о руке, что подделывает результаты эксперимента.

Да не знает рука, подделывающая результаты,
ничего про уста, излагающие ученье.

Умей предсказать пожар с точностью до минуты.
Затем подожги свой дом, оправдывая предсказанье.

4

Выращивай древо лжи, но — из семени правды.
Не уважай лжеца, презирающего реальность.

Ложь должна быть логичней действительности. Усталый
путник да отдохнет в ее разветвленной сени.

День посвятивши лжи, можешь вечером в узком
кругу хохотать, припомнив, как было на самом деле.

Мы — последние, чья изворотливость схожа
с отчаяньем, чей цинизм еще источник смеха.

Уже подросло весьма серьезное поколение,
способное воспринять наши речи буквально.

5

Пусть твое слово значит не то, что значит,
но меру испорченной крови посредством слова.

Двусмысленность да пребудет твоим доспехом.
Сошли простые слова в недра энциклопедий.

Не оценивай слов, откуда из картотеки
не поступит сообщенья, кто их употребляет.

Жертвуй голосом разума ради голоса страсти.
Ибо первый на ход истории не влияет.

6

Не влюбляйся в страну: способна исчезнуть с карты.
Ни, тем более, в город: склонен лежать в руинах.

Не храни сувениров. Из твоего комода
может подняться дым, в котором ты задохнешься.

Не связывайся с людьми: они легко погибают.
Или, попав в беду, призывают на помощь.

Также вредно смотреться в озера детства:
подернуты ржавой ряской, они исказят твой облик.

7

Того, кто взывает к истории, редко перебивают.
Мертвецы не воскреснут, чтоб выдвинуть возраженья.

Можешь валить на них все, что тебе угодно.
Их реакцией будет всегда молчанье.

Из ночной глубины плывут их пустые лица...
Можешь придать им черты, которые пожелаешь.

Гордый властью над теми, кого не стало,
усовершенствуй и прошлое. По собственному подобию.

8

Смех, бывший некогда эхом правды,
нынче оружие врагов народа.

Объявляем оконченным век сатиры.
Хватит учтивых насмешек над пожилым тираном.

Суровые, как подобает борцам за правое дело,
позволим себе отныне только служебный юмор.

С сомкнутыми устами, решительно, но осторожно
вступим в эпоху пляшущего огня.

*

ПО ТУ СТОРОНУ

Некоторые разновидности ада имеют вид возникших
в результате пожара городских развалин, и адские духи
обретаются в оных, находя в них себе укрытие. В более
скромных случаях ад состоит из заурядных построек,
расположением своим напоминающих окраинные улицы
и переулки.

Эм. Сведенборг

Падая, я зацепил портьеру,
и бархат ее был на земле последней
вещью, что я запомнил, проваливаясь в никудааааа.

До конца не верил, что, как и все, я тоже.

После я брел в колее, в слякоти, по проселку,
вдоль фанерных бараков. Изредка возникало
нечто из камня, окруженное чертополохом;
грядки с картошкой, огороженные колючкой.
Внутри играли в почтичто-карты, пахло почтичто-щами,
пили почтичто-водку, царила почтичто-грязь
и шло, замирая, почтичто-время.
Я начал: "В конце концов..." — но они пожимали плечами
либо смотрели в сторону. Здесь отвыкли от возмущенья.
И от цветов. Сухая герань в консервных
банках, запорошенная слоем пыли.
Также — от будущего. Наяривали патефоны,
повторяя то, чего и не существовало.
Разговоры кончались там же, где начинались,
чтоб никто не вздрогнул: где я? и чего ради?
Видел странных собак, чьи морды то удлинялись,
то сжимались в гармошку, переходя при этом
из овчарки в бульдога и снова в таксу.
Чем давали понять, что — не совсем собаки.
Черной битой посудой гремели в небе
замерзшие на лету вороны...

СЧАСТЛИВЕЦ

Старость его совпала с эпохой благополучья.
Не было землетрясений, ни засухи, ни потопа.
Выровнялись границы меж временами года.
Звезды сверкали ярче; так же, впрочем, как солнце.
Даже в провинциях больше не воевали.
Поколенья росли в уваженьи к ближним.
Горько было прощаться со столь совершенным миром.
Глядя на них, он стыдился своих отчаянных мыслей
и рад был, что вместе с ним сгинет страшная память.
Через сорок восемь часов после его кончины
опустошительный ураган пронесся по побережью.
Задымили дремавшие двести лет вулканы.
Лава подмяла леса, виноградники и селенья.
И война началась на знойном архипелаге.

Чеслав МИЛОШ

Проза

Поездка в Прагу

Прага, 3 июня 1976

Чувство страха, острое и отчетливое, пронизало меня сразу же, как только самолет приземлился в Праге. От самого Рима рядом со мной сидел мужчина средних лет и довольно неприветливой наружности, который всю дорогу был погружен в чтение газеты "Унита" и лишь время от времени искоса поглядывал на раскрытый у меня на коленях томик рассказов Кафки в английском переводе. Едва сойдя с трапа самолета, он поднял вверх руку со свернутой в рулон газетой и помахал ею веерообразно три раза. Из группки людей, жавшихся друг к другу на открытой галерее здания аэропорта, вынырнула рука, также вооруженная газетой, и в точности повторила его жест. Машинально я вытащил из кармана свой аргентинский паспорт (фальшивый, купленный в Генуе) и заслонил им лицо, как от удара. Это инстинктивное движение только ухудшило ситуацию: мой спутник обратился ко мне по-испански. Не зная языка, я пробормотал что-то в ответ, нечленораздельно и раздраженно, и почувствовал, как лицо мое заливают волна горячей крови. Я больше не сомневался, что вся эта безумная затея провалилась, не успев начаться; за мной следили, и я был разоблачен — по всей вероятности, уже с того момента, когда в чехословацком консульстве в Риме поставили в мой паспорт печать с визой. Страх подавляет способность трезво мыслить, и любое, пусть даже мелкое и ничтожное подозрение, едва зародившись, вызывает неудержимую цепную реакцию.

Я знал об этом из собственного опыта, но когда к сердцу подступает парализующий, иррациональный страх, то опыт помогает мало и начинает казаться единичным случаем, из которого ничего не следует. Несмотря на это, волочась на ватных ногах в группе пассажиров, я упрямо, как бы для поднятия духа, восстанавливал в памяти свою поездку в Вену в 1955 году. Паспорта, паспорта... В ту пору в освобожденной (не без моего скромного

участия) Европе английский "Travel Document" был не самой лучшей охранной грамотой для человека, приехавшего во все еще разделенную на оккупационные зоны столицу Австрии. Ожидая в представительстве итальянской авиакомпании, пока для меня найдется номер в гостинице, я внезапно заметил через витрину двух стоящих на трамвайной остановке советских офицеров. Отпрянув, я вернулся к стойке и спросил у сидевшей там австрийской служащей, помнит ли она, что гостиница должна быть не в советской зоне. Она ответила, что помнит, но в то же время обнаружила признаки некоторого раздражения: сколько раз можно беспокоить человека из-за этих несчастных зон! И тогда, в качестве оправдания, у меня вырвалось признание, что я — лицо без гражданства, *staatenlos*. Она кивнула головой и вернулась к своим занятиям. В это мгновение у меня в мозгу промелькнула мысль, что если она прирабатывает на стороне, у русских, то *теперь-то уж наверняка* найдет гостиницу в советской зоне и сообщит об этом кому следует. Я схватился за телефон и позвонил знакомому. "В каких *Bezirk*'ах сидят русские?" — "Во втором и четвертом". Полчаса спустя я велел шоферу такси ехать в гостиницу "Аполлон", в шестом городском районе. Перед тем, как захлопнуть дверцу, я решил еще раз спросить у него, для верности, действительно ли "Аполлон" находится в шестом *Bezirk*'е? Шофер не успел мне даже ответить, как у меня блеснула запоздавшая мысль, что я снова совершил ошибку. Всю дорогу я сидел напрягшись, едва касаясь края сиденья, и до боли всматриваясь в номера районов на табличках с названиями улиц. В какой-то момент наш драндулет притормозил, и мой шофер крикнул на ходу некому оборванцу, подпирающему уличный фонарь: "Ich gehe zum Apollo!" Я схватился одной рукой за чемодан, а другой — за ручку боковой дверцы. В последнюю ночь перед моим отъездом из Вены во всем крыле гостиницы погас свет. Я заперся на ключ, открыл окно, выходившее на расположенную несколько ниже крышу соседнего здания, и пролежал на кровати, не сомкнув глаз, до самого рассвета.

Вот этим-то воспоминанием о страхе, у которого глаза велики и который я сам раздул тогда до невообразимых размеров (что неудивительно, если вспомнить такие фильмы о послевоенной Вене, как "Третий человек" или "Четверо в джипе"), я и пытался себя успокоить (без особого, впрочем, результата), прибли-

жаясь к паспортному и таможенному контролю пражского аэропорта.

Чешский офицер был вежлив, говорил, к счастью, только по-английски и перелистывал мой паспорт без видимого интереса.

— Профессия?

— Литературовед.

— Цель приезда?

— Кафка.

— Еврейское кладбище временно закрыто для посетителей в связи с реставрационными работами.

— Я приехал не на могилу Кафки, а на торжественный вечер в американском посольстве в связи с годовщиной его смерти.

Не говоря ни слова, он подошел к телефону и набрал короткий номер. Разговор тоже был недолгим.

— Сходится. Но вход только по приглашениям.

С чувством облегчения я положил перед ним картонный прямоугольник, полученный от моего знакомого из американского посольства в Риме. Приглашение было напечатано стилизованным шрифтом. В нем американское посольство в Праге сообщало, что 3 июня в 17.30 состоится торжественное открытие мемориальной доски в честь Франца Кафки, the great Czech-German-Jewish writer, на фронтоне здания посольства; после открытия с краткой лекцией о творчестве Кафки выступит в зале приемов Карел Попрадек, экс-профессор Пражского Университета; вечер завершится коктейлем в уже упомянутом зале приемов. В предназначенном для фамилии приглашенного месте была вписана моя (фальшивая): Хуан Гаспар Альмендо. Рядом с фамилией лектора виднелась звездочка, а напечатанная петитом в самом низу сноски поясняла: "Экс-профессор Карел Попрадек часть своих работ о Кафке опубликовал под псевдонимом Грегор Замзик".

Вдавливая печать в мой аргентинский паспорт, офицер вдруг посмотрел на меня с выражением нескрываемой неприязни.

— Сколько времени вы намереваетесь пробыть в Праге?

Я показал билет с забронированным на 4 июня местом на вечерний рейс до Милана. Сделав хитрый ход (по крайней мере, мне так казалось), я попросил его порекомендовать гостиницу на одну ночь. Он буркнул: "Злата Прага", затем написал на клочке бумаги адрес, но снисходительнее от этого не стал. Жалкая, рабская уловка: как будто, добровольно влезая в хомут контроля и слежки, я мог ожидать, что дело обойдется без кнута!

Столько лет я мечтал увидеть Прагу, но теперь — и когда такси ехало от аэропорта до города, и когда уже долго кружилось по пражским улицам, — я сидел как в шорах, вжавшись в угол, и даже не пытался оторвать взгляд от спины шофера. Гостиница была переполнена, и меня с трудом разместили в маленьком служебном помещении на антресолях, где не было даже окна (его заменяла форточка под потолком). Комнатка была такая маленькая, что я мог лишь, слегка пригнувшись, перебираться с раскладушки на небольшой стул, стоящий возле грязной умывальной раковины. Над раскладушкой висели две картинки: на сплошной стене — пейзаж с подписью "Popradské Pleso"* и над изголовьем — фотография Гусака, целующего в губы Брежнева. В комнатке было душно и темно, засиженная мухами лампочка вяло заполняла ее тусклым, размазанным светом. Придавленный двойным гнетом воспоминаний о русской одиночке и приступа клаустрофобии, я порылся в сумке, вытащил оттуда томик Кафки, путеводитель по Праге, блокнот и сбежал вниз.

Дежурный за гостиничной стойкой при виде меня положил телефонную трубку и вручил мне паспорт. При этом он многозначительно усмехнулся — или мне это только показалось? Так или иначе, я услышал собственный голос, дрожащий и незнакомый, который, запинаясь и почему-то путая английские слова, упорно домогался возможно более точной информации насчет возможно более короткого "маршрута перехода" от гостиницы "Злата Прага" до американского посольства. Пешком? Пешком, я же говорил о "переходе". Дежурный нарисовал маленький, но очень подробный план, с названиями улиц и стрелками. "Десять минут медленным шагом". После чего добавил: "Сейчас время обеда, а обед включен в стоимость номера".

Ресторан был заполнен людьми и шумом голосов, но я молниеносно, почти с первого же взгляда, выловил столик, за которым сидел мой сосед, летевший со мной из Рима; он был погружен в разговор с встречавшим его в аэропорту человеком, к которому поминутно наклонялся и шептал что-то на ухо. Проходя (незамеченным) мимо их столика, я осознал, что говорят они по-чешски. Официант подошел к длинному столу, за которым сидела большая и уже порядочно подгулявшая компания, и, по-

* Попрадское озеро в Высоких Татрах. — Прим. перев.

просив разрешения, приставил к нему еще один стул. Я сел. За столом пировали поляки. Распорядитель застолья — дородный, вспотевший и явно под градусом — встал и с видом знатока доверительно сообщил компании: "Аргентинец", после чего отвесил мне низкий поклон и, сжимая в огромной лапе рюмку водки, единым духом прохрипел: "Перон капут, вива Запата!" Прочие ответили робким хихиканьем, которое, однако, усилилось и превратилось в басовитое ржанье в тот момент, когда поднялся и я, низко поклонился собравшимся и, перехватив поданную мне соседкой рюмку водки, повторил, как эхо: "Перон капут, вива Запата!" После этого меня признали за своего, оставили в покое и, уже не стесняясь, на родном языке продолжали дискуссию о том, что и почему можно купить в Праге.

Я намеревался просидеть в ресторане до пяти часов, однако затянувшееся застолье не помешало официантам без особых церемоний очистить зал уже к четырем. Мне пришла в голову мысль испробовать предстоящий маршрут и пройти по нему пару раз туда и обратно. Чудесный летний день клонился к вечеру, прохожих было еще немного, спокойное и жаркое солнце ометало веточками тени пражские здания, и я шел, умиротворенный и весь в эйфории литературных реминисценций. Подо что отвели теперь помещения страхового общества, где корпел над своей конторкой вечно страдающий мигренью "герр доктор" Франц Кафка? Много ли уцелело от старого квартала, где бродил когда-то Голем, оживший под пером Густава Мейринка? План успешно выдержал экзамен. Однако на небольшой площади перед посольством все еще никого не было, если не считать десятка фигур "в штатском", уныло торчавших в расщелинах подворотен напротив резиденции посольства. Подобные типы безошибочно распознаются по одной особенности в выражении лица: впечатление такое, что все они страдают хроническим несварением желудка. Я вернулся в гостиницу; время, которое заняла прогулка, тоже было указано точно.

В пять с четвертью перед посольством собралась уже довольно многочисленная толпа. На уровне мемориальной доски, вмурованной между окнами второго и третьего этажа и завешенной белым полотнищем, было установлено возвышение со звездно-полосатым флагом. Посол, красивый и загорелый, слегка напоминающий киноактера Берта Ланкастера, вскочил на него натренированным спортивным прыжком, как только расположенные

неподалеку башенные часы пробили назначенный час. В руке он держал листок бумаги, однако читать его не стал, предпочтя готовому тексту импровизированное выступление. Причина этого разъяснилась немедленно. Кафка, которого он, как можно предположить, перелистывал, зевая, предыдущим вечером, интересовал его исключительно как типичный представитель "Central and East European melting pot"¹. Он беспрерывно повторял словечко "pot", наслаждался им, высасывал его, как карамельку, наполненную райским ликером, не обращая внимания на собственный пот, стекающий с его загорелого лба на мясистый нос и темнеющие выбритой щетиной щеки. Я поспешно записывал: "Czech author of Jewish parents writing in German on universal subjects, what an amazing and — let me say modestly — inspiring example of this marvellous melting pot we should all strive at; all of us, ladies and gentlemen, Americans and Europeans, Russians and Chinese."² В последнее время много говорят о различных политических "доктринах", причем говорят — let me frankly say³ — без достаточного знания предмета, на основе тенденциозных и превратных толкований в прессе — но можно ли называть "доктриной", да к тому же "доктриной", якобы угрожающей свободе малых народов, естественное стремление к органическому культурному единству всего мира? Допустимо ли с помощью неверно понимаемого — более того, карикатурно искаженного — термина интеграция уничтожать и отравлять вековую мечту человечества? Если бы герой нашего скромного, но сколь знаменательного торжества поднялся из могилы, то он, уважаемые дамы и господа, мог бы лишь приветствовать наши усилия. Это делает его мощный дух, присутствующий сегодня здесь, среди нас.

¹ "Плавильный тигель Центральной и Восточной Европы" (англ.) выражение "melting pot" исторически относилось к США как нации, которая ассимилирует иммигрантов различных национальностей и культур, как бы "переплавляя" их в единую американскую нацию. — Прим. перев.

² Чешский писатель, родившийся в еврейской семье, пишущий по-немецки на темы, имеющие универсальное значение — какой поразительный и — позвольте мне обойтись без громких слов — вдохновляющий пример этого изумительного плавильного тигля культур, который должен стать целью всех наших усилий, уважаемые дамы и господа — всех нас, американцев и европейцев, китайцев и русских (англ.)

³ Позвольте мне сказать без обиняков (англ.)

Вспыхнули аплодисменты; рукоплескали главным образом американские служащие, разбросанные в толпе там и сям, как изюминки в тесте. Бурными (но не продолжительными) аплодисментами наградила также вдохновенного оратора горсточка посланцев советского посольства, тогда как единственный представитель китайского посольства остался стоять не шелохнувшись. Присутствовавшие чехи (простые люди "с улицы", поскольку чешские власти торжественное мероприятие проигнорировали), демонстративно засунув руки в карманы или (в случае женщин) скрестив их на груди, не отрывали глаз от белого полотнища. В окне третьего этажа появилась рука, вооруженная ножницами, и перерезала шнурок. Полотнище опало, и мы увидели мемориальную доску (без барельефа) с высеченными на ней и покрытыми золотой краской буквами. К сожалению, надпись на таком расстоянии прочитать было затруднительно. Одновременно распахнулись ворота посольской резиденции, и две молодые американки, под тактичным присмотром унылых "литературоведов в штатском", начали проверять приглашения. Зал приемов заполнился до отказа, так что многие (в особенности молодежь) вынуждены были удовольствоваться подпиранием стен, обрамляя таким образом сидящих. Представители посольств разместились в первом ряду, в плюшевых креслах: посередине по-спортивному подтянутый хозяин, на правом краю — русские, на левом (рядом с запасным выходом) — китаец. На эстраде никого не было: стоял лишь обтянутый зеленым сукном столик с микрофоном, графин с водой и табурет.

Мне определили место в последнем ряду, где я мог свободно разложить на коленях томик Кафки и блокнот. Рядом со мной уселась чрезвычайно хорошенькая американка — одна из двух, что проверяли приглашения. "Литературоведы в штатском", в роли поклонников творчества Кафки, также удостоившихся приглашения, заблокировали все входные двери за последним рядом. Хорошенькая американка, приободренная моим английским экземпляром книги, обратилась ко мне с негромким восклицанием: "He was great, wasn't he?"¹ Я охотно согласился, что Кафка действительно был великим писателем. Ее личико скривилось в недовольной гримаске: "No, I was thinking about our Amba-

¹ Он был просто потрясающий, не правда ли?

sador".¹ Несколько менее охотно я согласился, что и посол тоже был по-своему "great". Это замечание ее немного смягчило и послужило стимулом к продолжению щебета. "Господи, уж пять минут седьмого, а профессор Попрадек божился всеми святыми, что начнет лекцию в шесть. Mr. Ambassador is so terribly strict about punctuality."² Что же случилось? А вы знаете, что профессор Попрадек с тех пор, как его исключили из университета, работает в одной из городских общественных уборных? Not in the Ladies room, of course...³ — она игриво захихикала и продолжала: — Жутко, правда? Жутко и унинительно. Но кто может понять этих восточноевропейцев? Вы англичанин, да?" Я ответил, что я аргентинец. Это пробудило в ней интерес. "Вы, однако, бегло говорите по-английски. Так вот, насчет восточноевропейцев. Здесь дело вовсе не в системе, не следует допускать этой ошибки. They are in some way ascetic and dogmatic by nature, that is what Mr. Ambassador says. And he is right, too. Gosh, how right he is! He knows absolutely everything about them."⁴ Профессор Попрадек был преподавателем их философии в здешнем университете, а потом в 1968 году взял да и отрекся от нее. A bit unfair, I would say⁵, так попросту можно сменить машину, а не философию. Still, their government is also a bit unfair with him. Unfair and perhaps cruel.⁶ Выдающийся ученый — в общественной уборной! He is brilliant, you know, absolutely brilliant. And very handsome, too.⁷ Господи, уже десять минут седьмого!"

В двадцать минут седьмого у одной из входных дверей слышался легкий шум, и в этом направлении немедленно устремилась когорта "искусствоведов". Суматоха продолжалась не более одной минуты, после чего в зал проследовал экс-профессор Карел Попрадек. Он был действительно хорош собой и по-мужски

1 Да нет, я имела в виду нашего посла.

2 Г-н посол такой жутко строгий насчет пунктуальности.

3 Не в женской конечно...

4 Они в некотором смысле аскеты и догматики по природе, вот что говорит г-н посол. Да он и прав в этом. Господи, да еще как прав! Он буквально все-все про них знает.

5 Немножко это некрасиво, по-моему.

6 С другой стороны, их правительство тоже поступает с ним немножко некрасиво. Некрасиво и даже, пожалуй, жестоко.

7 Он блестящий ум, знаете, просто блестящий! И к тому же интересный мужчина.

угловат, с коротким ежиком волос, в покрытом пятнами костюме из хлопчатобумажной диагонали, похожем на рабочий комбинезон. Он медленно шел к эстраде, и сидевшие вдоль его пути слушатели машинально отклонялись в сторону. "He probably stinks, what a disgrace"¹ — простонала хорошенькая американка. Когда он, поставив ногу на первую ступеньку, ведущую на возвышение, на мгновение повернулся лицом к залу, я заметил, несмотря на значительное расстояние, что его каменное квадратное лицо искажилось чем-то вроде гневной гримасы.

Во вступлении, которое он произнес тихо и твердо, несколько неуверенно выговаривая английские слова, наклоняя к себе микрофон и раскладывая на зеленом сукне свои бумаги, прозвучала нотка некоторой небрежности и даже бесцеремонности. Текст был таков: "В этом доме в 1917 году, ознаменовавшемся Великой Русской революцией, Кафка прожил несколько месяцев; здесь он написал свой рассказ "Великая Китайская стена". Если кто-нибудь обладает желанием и склонностью к каббалистической интерпретации человеческой истории, то он может доискиваться в этом совпадении некоего более глубокого смысла. Что касается меня, то я ограничусь констатацией, что "Великая Китайская стена" является произведением гениальным, шедевром, значение которого не было в полной мере оценено исследователями творчества Кафки. С шедеврами, скромными по объему, иногда бывает так, что оказывается достаточным прочитать их не спеша вслух, чтобы аудитория осознала их изящество и глубину. Но бывает и так, что приходится выжать из них сок, изложить их содержание собственными словами, не добавляя ни единого слова комментария, — и тогда ценой разрушения формы, кажущегося пренебрежения к труду художника, мы получаем нечто вроде драгоценной эссенции, отцеженной в небольшую ампулу; эссенции, которая до этой произведенной критиком операции струилась в прожилках чудесного и таинственного плода как бы в разбавленном виде, смешанная с другими субстанциями. Именно это я и намереваюсь сделать. Если кому-либо мое намерение не по вкусу, если кому-либо оно представляется недопустимой вольностью, выходящей за торжественные рамки сегодняшней церемонии, то им предоставляется возможность незамедлительно воспользоваться услугами многочисленных добровольных привратников".

1 От него, вероятно, воняет. Какой позор! (англ.)

Никто, однако, не откликнулся на предостерегающий призыв Попрадека; лишь американский посол нервно поерзал в своем центральном плюшевом кресле, а моя очаровательная соседка вздохнула: "It sounds a little nasty and arrogant"¹. Попрадек выждал некоторое время, после чего уселся на табурет и склонился над своими записями.

Я даже не пытаюсь воспроизвести здесь лекцию Попрадека, ибо это было бы лишь изложением изложения "Великой Китайской стены", то есть ничем иным, как халтурной имитацией филигранной работы. Однако несколько основных пунктов все-таки необходимо обозначить. Как известно, рассказ Кафки делится на две части. В первой обсуждается вопрос: почему Великая Китайская стена строилась фрагментами — полкилометра здесь, полкилометра там, — а не сплошной линией, хотя при такой системе строительства ее ценность как оборонительного сооружения, обеспечивающего защиту перед нападением с Севера, становится довольно проблематичной? У Кафки объяснение этой загадки дается чрезвычайно детально, почти педантично, тогда как Попрадек с поразительным изяществом, срезая углы, напрямик пришел к ответу, который в общих чертах можно было бы сформулировать следующим образом: проблематичными были сами агрессоры с Севера, и Стена строилась не столько для защиты перед ними, сколько во имя самой идеи Стены, для того, чтобы привить подданным Императора передаваемую из поколения в поколение веру в то, что отгораживающая их от окружающего мира Стена является целью сама по себе, высшей ценностью коллективной жизни. Попрадек упомянул о детях, которых с колыбели приучали к навыкам, необходимым для строительства Стены, а также дословно процитировал фразу Кафки, относящуюся уже к взрослым каменщикам, которые благодаря такой неустанной и терпеливой тренировке достигали вершин абсолютного совершенства: "С первым камнем, который они заложили в землю, они срослись со Стеной". По-видимому, только одна человеческая слабость не поддавалась искоренению: в кругу строителей Стены, когда они после дневных трудов принимались за ежевечернюю трапезу, часто зарождалось скрытое сомнение в том, что Имперские Власти действительно являются непогрешимыми во всех своих имперских

¹ Это звучит немножко недоброжелательно и высокомерно (англ.)

декретах. Однако (тут Попрадек вновь процитировал Кафку) эта чисто человеческая слабость побеждалась "тайным и мудрым правилом: старайся всеми силами понять предписания Властей, но только до определенных границ, а дальше прекращай размышления". Обратим внимание (продолжал Попрадек), как заканчивается первая часть "Великой Китайской стены": "Имперские Власти существовали вечно, и решение построить Стену — тоже. И тут ни при чем простодушные народы Севера, воображавшие, что они всему виной, и ни при чем почтенный и легковерный Император, вообразивший, что это он приказал построить Стену. Мы, простые ее строители, знаем другое и помалкиваем". По словам Попрадека, современные читатели воспринимают рассказ Кафки уже в несколько ином свете: он больше не является, как это могло казаться в 1917 году, рассказом, несущим в себе главным образом метафизическое содержание. В этом месте я подумал, что бывший профессор Пражского Университета и нынешний ассенизатор городского сортира все-таки нарушил, хотя и довольно тактично, свое обещание воздерживаться от собственных комментариев.

Долг добросовестного репортера обязывает меня отметить, что за то время, пока Попрадек читал эту часть своей лекции, произошло несколько существенных, хотя с задних рядов едва заметных, инцидентов. Глава советской делегации и китайский представитель несколько раз поднимались со своих мест, но — искоса наблюдая друг за другом — немедленно садились обратно; это было своего рода соревнование по сидению на месте, закончившееся ничейным результатом. Зато после фразы: "С первым камнем, который они заложили в землю, они срослись со Стеной" впереди энергично встал какой-то напыщенный толстяк и направился к запасному выходу возле эстрады. Хорошенькая американка приблизилась свое пылающее лицо к моему и пискнула: "Heaven, this is East German Consul General"¹.

Во второй части "Великой Китайской стены" Кафка описывает Империю. "Она так обширна, — приводил Попрадек слова автора, — что никакой сказке не охватить ее, что едва удастся небу дотянуться от края и до края, и Пекин на ней — только точка, а Императорский Дворец — меньше точки". Таким образом (тут

¹ Господи, это восточногерманский генеральный консул! (англ.)

на губах Попрадека появилась легкая улыбка, как будто он извинялся за повторный комментарий) модная в наши дни проблема интеграции и органичной связи империй нашла в лице Кафки поэта, опередившего свою эпоху. Легенда гласила, что однажды Император послал гонца к нижайшему из своих подданных с некой вестью, предназначенной исключительно для его ушей; однако проходили тысячелетия, а вестнику не удалось даже выбрать-ся из лабиринтов Императорского Дворца — где уж там думать о том, чтобы достичь адресата в маленькой деревушке, затерянной где-то на противоположном конце Империи! Это приводило к тому, что в умах подданных постепенно стиралось представление о действительности: давно умерших Императоров они считали своими нынешними милостивыми правителями. Обратимся к Кафке: "Правительство древнейшей в мире Империи не сумело или среди других дел не удосужилось довести механизм Империи до такой идеальной четкости, чтобы ее непосредственное и беспрестанное воздействие достигало самых дальних рубежей страны. С другой стороны, здесь сказывается также недостаточная сила воображения и не слишком глубоко укоренившаяся в народе вера, что препятствует ему извлечь из безвременья и застоя затерявшийся в Пекине образ Империи и во всей его живой реальности прижать к своей груди; а ведь ничего наш народ не жаждет так беззаветно, как хоть раз ощутить это прикосновение и в нем раствориться. Разумеется, добродетелью подобное отношение не назовешь. Тем более бросается в глаза и заставляет задуматься тот факт, что именно эта наша слабость и является одним из важнейших средств объединения народа; и если позволить себе еще более смелый вывод, это именно та почва, на которой мы живем".

Похоже было, что лекция закончилась, ибо руки докладчика принялись складывать листы бумаги. Но Попрадек внезапно встал, откинул голову назад и, чеканя каждый слог, с неожиданной силой произнес: "Наша слабость является одним из важнейших средств объединения нашего народа... Ничего наш народ не жаждет так беззаветно, как хоть раз, перед смертью, прижать к своей груди нашу страну во всей ее живой реальности".

Описание того, что делалось потом, превосходит скромные возможности случайного хроникера. Чехи "с улицы", неистово аплодируя (у женщин из глаз текли слезы) и опрокидывая как попало ряды стульев, ринулись к Попрадеку и окружили его тесным кольцом. Американский посол (в сопровождении моей хоро-

шенькой американки, которая нырнула в толпу и вынырнула между рядом плюшевых кресел и эстрадой) поочередно пожимал руки членам советской делегации, после чего быстро переметнулся на противоположный конец и пожал руку представителю китайского посольства. Дипломаты обеих держав, молчаливые и нахмуренные, вскоре покинули зал через разные выходы. Обслуживающий персонал американского посольства был занят лихорадочной деятельностью: одни поспешно вытаскивали ряды стульев из зала в просторную соседнюю комнату, другие катили оттуда им навстречу столики с едой и напитками. В этот вечер я пил много, с тем большим самозабвением и остервенелостью, чем более бесплодными оказывались мои попытки пробиться к Попрадеку, окруженному толпой своих соотечественников.

Не помню, кто отвез меня в гостиницу: если б это не попахивало дешевым литературным эффектом, я мог бы поклясться, что это был мой спутник по самолету. Спал я на своей раскладушке плохо, крутясь и переворачиваясь с боку на бок; мне все время мерещился ползающий по стенам и потолку гигантский таракан, покрытый илистой коркой. Наконец в три часа ночи, с криком "Замзик, Грегор Замзик!", — я проснулся. Подержав раскалывающуюся голову под струей холодной воды, я долго вглядывался в пейзаж, изображающий Попрадское озеро, после чего протянул руку за блокнотом. Сейчас, когда я кончаю писать, в Праге пять часов утра, и над городом (судя по свету, проникающему из форточки) занимается чахлый рассвет.

Мэзон-Лаффит, 4 июня

Разумеется, все изложенное выше является не более чем вымыслом, плодом фантазии автора, возникшим из заметки во вчерашнем номере "Монд": "Пятьдесят вторая годовщина со дня смерти Кафки была отмечена в Праге, родном городе писателя, открытием 3 июня 1976 г. мемориальной доски на фасаде Шенборнского дворца, резиденции посольства США в Чехословакии. Кафка прожил в этом здании несколько месяцев в течение 1917 г. и написал там рассказ "Великая Китайская стена". Церемония состоялась по инициативе американской стороны, без официаль-

ного участия чешских властей. Пражское правительство, несмотря на "реабилитацию" (в 1963 году) писателя, долгое время считавшегося "декадентом", никогда не отличалось особой симпатией к автору "Процесса". Две посвященные ему выставки состоявшиеся в 1964 г., старались представить его главным образом как патриота и националиста: весьма показательная деталь, не оставшаяся незамеченной специалистами".

Густав ГЕРЛИНГ-ГРУДЗИНСКИЙ

Кладбища

НЕ НРАВИТСЯ?

Марек Хласко родился в Варшаве в 1934 г., умер в Висбадене в 1969-м, едва достигнув тридцати пяти лет. Он прожил жизнь краткую, но бурную, буйную и писательски плодотворную. Он был своего рода кумиром молодых польских читателей, остается им и теперь. Его считали писателем "сгоревшего поколения", — он сам и образом жизни и повадками слегка позировал под Джеймса Дина. В автобиографической заметке 1959 года Хласко писал о себе в третьем лице, полусерьезно, полушутя: "Он был поочередно мальчиком на побегушках в баре, учеником слесаря, подручным на барже, возчиком, лесорубом, автомехаником. Писать начал в 1951 году. В 1956-м издал первый том рассказов. Его дальнейшее творчество затормозилось в силу хронического пьянства и лени. В 1958 г. он по ошибке получил Премию издателей. Беспартийный, часто награждаемый пощечинами в самых разных формах".

Премию издателей в Варшаве Хласко получил за "Первый шаг в тучах", книгу коротких рассказов, и за две новеллы, напечатанные в 1956 г. в "Твурчосци": "Восьмой день недели" и "Петля", — поразительные и, быть может, лучшие из всех написанных им рассказов. В том же году, когда он получил премию, Хласко выехал из Польши и остался за границей. С тех пор все его книги (кроме одной — впрочем, на редкость слабой) выходили в Библиотеке "Культуры". Его дебютом в эмиграции были "Кладбища", повесть, написанная в Польше в 1955-57 гг., разумеется, "в стол" (в чем легко убедятся читатели русского перевода), без каких-либо шансов на снисхождение цензоров, которые после первоначального и мимолетного периода гомулковского "либерализма" уже успели вернуться к прежней "революционной бдительности". За 11 лет, проведенных на чужбине, одна лишь новая тема стала источником подлинного вдохновения в творчестве Хласко — израильская. Кажется, под конец жизни его страстью начал становиться опыт лет, проведенных в Америке, но след этого — лишь несколько заметок, опубликованных в "Культуре". Зато важное место в его наследии занимают польские воспоминания, выразительно озаглавленные "Красивые, двадцатилетние" (1965).

Чтобы русскому читателю легче было ориентироваться, скажем, что приблизительно в те годы, когда Хласко писал "Кладбища", молодая со-

ветская проза "оттепели" блеснула именами Казакова, Нагибина, Гладыш-на, Аксенова, раннего Максимова ("Жив человек" — повесть, впервые напечатанная по-польски в Варшаве, в "Новой Культуре", и лишь позднее опубликованная в "Тарусских страницах"). Читатель русского перевода замечает, как далеко зашел польский писатель в сравнении со своими советскими ровесниками.

"Кладбища" — признание полного краха коммунистической идеологии и нового строя, начиная с самого заглавия и кончая отчаянно-ироническим эпилогом, сценой, где повторно арестованный герой кричит милиционеру: "Дай мне руку! Дай мне руку, а то я снова потеряюсь!" Мотив кладбищ неизменно звучит на протяжении всей повести. "Здесь погиб великий, несчастный миф. Не где-нибудь, а именно здесь — здесь, куда обращены взоры всех униженных и оскорбленных. Здесь умерло доверие мира. Надежда. Все слова. Все понятия. Все мечты об освобождении человека. Ты прав: это — кладбище". "Великий Учитель достиг куда большего. Он выстроил кладбище. С этого момента новые поколения будут рождаться и жить на кладбищах. Видно, к жизни, к солнцу идут через могилы". "Шли мы в жизнь, а завели нас в кладбищенские развалины; шли в землю обетованную, а ничего не видать, кроме пустыни; говорили о справедливости, а ничего не знаем, кроме террора и отчаяния". Весьма вероятно, что эту навязчивую, почти болезненную кладбищенскую метафору Хласко позаимствовал у знаменитого польского революционного поэта, еще довоенного коммуниста Владислава Броневского, у которого он в Варшаве некоторое время "секретарствовал". Броневский, арестованный во Львове во время советской оккупации, был освобожден из тюрьмы после заключения советско-польского соглашения (известного под названием "договор Сикорского-Майского"). В его первом стихотворении, написанном после освобождения, были строки: "О, как тяжело сквозь кровавый мир идти по погосту идей", — что, впрочем, позднее не помешало ему, вернувшись из эмиграции в Польшу, занять престол официальной литературы в награду за поэму "Слово о Сталине".

Второй часто звучащий мотив повести Хласко — перманентный окрик власти по адресу гражданина, который вступает с ней хоть в самый малейший конфликт: "Не нравится?! Нравится или не нравится?!" Этот грандиозный окрик: "Не нравится?!!", не вышедший и поныне из употребления власти, всей власти, от мелкого милиционера внизу до первого секретаря на вершине, — можно считать основным "призывом" системы, сущностью ее "идеологии", окончательным продуктом возвышенного восклицания революции: "Человек — это звучит гордо!" в "простонародном" языке. Хласко, особенно подчеркивая в повести этот мотив, уловил и как бы упростил существо тоталитаризма, с помощью резкого сокращения показал, как действует тоталитаризм в жизни общества, поглощенного Партией-Государством. Нетрудно вообразить себе надпись "Нравится или нет?!", вечно горящей на экранах телевизоров в жилищах граждан орвелловского Государства будущего.

И, наконец, третий мотив — быть может, менее заметный, но отнюдь не менее важный. "Кладбища", чуть ли не каждая страница, пронизаны подспудной тоской по чистоте. Здесь следует воздать должное Чеславу Ми-

лошу, который первым отметил и даже прежде всего подчеркнул эту тоску по чистоте в своей статье о Хласко еще в 57-м году.

Нечего и говорить, многое в Польше переменялось со времени выхода "Кладбищ". Нынешние польские "красивые, двадцатилетние" не отрываются разгневно от исключенных из партии отцов — наоборот, их раздражает, что отцы остаются в партии. Нынешний читатель повести Хласко — в оригинале или в любом, а особенно русском переводе — наверняка обратит внимание на один почти пророческий фрагмент. Герой повести вдруг взрывается в разговоре с партийным чином: "Как вы, должно быть, презираете этих людей, ненавидите этих бедных муравьев, этот рабочий класс, этого гегемона нации. С одной стороны вы должны к ним неустанно подлизываться, чтобы выжать из них хоть какое-то усилие; с другой — принуждать их к тому, что и вам самим, пожалуй, кажется бесчеловечным. А все-таки, наверно, придет время, когда вам придется прекратить болтовню о гегемонии и смотреть им в лицо. И что вы тогда увидите? Кого? Каких людей? Результат превзойдет ожидания... Единственное утешение, что у вас уже нет ничего общего ни с каким классом, ни с какими людьми. Если утешение вообще существует".

Утешение существует — вот в этом самом "поглядеть в лицо". Из груди польского "гегемона нации", миллионов польских рабочих "муравьев" в конце концов вырвался массовый отважный и резкий выкрик: "Нет, не нравится!"

Густав Герлинг-Грудзинский

30 октября 1980

Один там только и есть порядочный человек:
прокурор; да и тот если сказать правду, свинья.
Гоголь, "Мертвые души"

I

Францишек Ковальский, худой, слегка лысеющий мужчина сорока восьми лет от роду, скуластый и голубоглазый, водку пил неслыханно редко, разве что в самых исключительных случаях, и никогда такого не было, чтобы он перебрал и потом от других выслушивал, что он делал да как вел себя. Был он из тех немногих, кому, просыпаясь утром, не приходится краснеть за вчерашний вечер. Но однажды, возвращаясь поздно вечером домой с затянувшегося партийного собрания, на котором ему пришлось несколько раз взять слово по вопросам, важным для него и его товарищей по работе, — он встретил задушевного друга, еще с партизанских времен. Они не виделись с сорок пятого, когда Ковальский пошел с фронтом на запад, а друг, тяжело раненный, остался в госпитале, уже до конца войны. Встреча их так обрадовала, что они решили обмыть ее и зашли в ближайший ресторан. Друг заказал четвертинку, а когда она опустела, Францишек кликнул официанта и, чтобы друг не подумал, будто с партизанских времен он просит мохром, потребовал еще одну. Вторая их так разохотила, такой разговор пошел, поблекшее время на глазах обретало такие яркие краски, что третью они потребовали чуть не в один голос, а уж четвертую официант поставил не спрашивая. Когда они выходили, уже светало, на сером небе прорисовывались первые полосы зари. Прощаясь, они долго жали друг другу руки, потом каждый пошел в свою сторону. Францишек вышагивал, деловито вглядываясь в линию тротуара, но, казалось, какие-то неведомые силы раскачивали его из стороны в сторону, а тротуар то и дело уходил из поля зрения. "Вроде бы, — забормотал он, — чуточку тово... черт бы..." И вдруг, неожиданно для себя самого, завел тенорком партизанскую песенку.

Какие-то люди в спецовках, по пути на работу, расхохотались, оглядываясь на него. Он так разозлился, что остановился и закричал на них:

— Какого черта? Что ли, думаете, я пьяный?

Они уже ушли, а Францишек все кричал:

— Думаете, я пьяный? Я пьяный? Вранье! Сами вы пьяные, вот оно что...

И тут он обнаружил перед собой двух милиционеров. Они смотрели холодно и сосредоточенно. Францишек хотел им что-то сказать, но в глазах все еще стояли обидчики, и вместо вежливого извинения он еще раз крикнул:

— Сами вы пьяные!

Милиционеры придвинулись, и внезапно протрезвев, Францишек увидел их лицом к лицу. Это были молодые парни, один в чине капрала, другой, с тремя полосками, — старшины. Старшина был курнос и усыпан веснушками, но его голубые глаза, казалось Францишку, глядели из-под козырька с холодной угрозой.

— Ваши документы, гражданин, — сказал старшина.

Он жестко протянул руку, и Францишек отшатнулся.

— Документы? — промямлил он недоуменно. — Зачем?

— Документы, пожалуйста, — повторил старшина, и голос его звучал тоном выше, чем минуту назад.

Францишек полез в карман за бумажником, но, притронувшись пальцами к холодной коже, остановился.

— Так ведь... — заговорил он.

Тогда капрал, стоявший до сих пор неподвижно, но молча и бдительно следивший за каждым движением Францишка, выкрикнул ему прямо в лицо:

— Документы! Понятно или нет!

Францишек вытащил бумажник. Дрожащими руками открыл его и подал документы старшине. Тот посмотрел их, положил планшечку на колено и принялся что-то записывать в маленькой засаленной книжечке, обернутой черным ледерином.

— Простите, нельзя ли узнать, что вы пишете? — спросил Францишек, пытаясь заглянуть через плечо старшины.

Старшина не отвечал: писать в такой неудобной позе было ему нелегко, и Францишек видел, как он морщит лоб и высовывает кончик языка. Выждав, он снова спросил:

— Зачем вы списываете мои данные?

— А что, может, вам не нравится? — резко спросил капрал. — Может, вам милиция не нравится, гражданин?

— Я ничего такого не сказал, — так же резко возразил Францишек. Он смотрел на пухлые щеки капрала и чувствовал, что начинает трястись от злости. Алкоголь совершенно выветрился.

— Сейчас нет, — сказал капрал и искривил свое юное лицо издевательской ухмылкой. — Сейчас, понятно, нет. А раньше — так вам хватило храбрости обзывать милицию пропойцами.

— Кто обзывал? Я?

— Нет, пани Малиновская.

— Ну, ну, пожалуйста, повежливей, — оскорбленно сказал Францишек.

— Сейчас — так повежливей. А раньше — так это вы кричали, что мы пьяные. — Он посмотрел на Францишка свысока и важно прибавил: — Честь мундира оскорбляете, гражданин.

— Вранье! — страстно крикнул Францишек.

Капрал обратился к старшине, который все еще упрямо писал в своей черной книжечке.

— Слышишь? Гражданин говорит, что мы врем. Запиши-ка.

Францишек еще раз глянул на их молодые лица, и его охватила ярость. Он вознес руки к небу и, дико потрясая ими, взвыл:

— Запиши, говнюк, запиши. Запиши, что срал я на тебя, что клал я на все...

Он был не в себе от злости. Его собственные слова пробивались к нему, как сквозь туман, — недослышанные и неразборчивые. Он кричал бессвязно и бессмысленно, отчаянно размахивая руками. Когда бешенство прошло, он опомнился и увидел, что старшина прячет его паспорт в свою кожаную планшетку.

— Пройдемте! — сказал он.

И, вдруг подчинившись, Францишек Ковальский последовал за ними.

II

Отделение было недалеко: они шли меньше десяти минут, и все это время Францишек, совершенно обессилив после вспышки гнева, постепенно приходил в себя. Вскоре он попытался выглядеть беззаботно и даже принялся насвистывать. Он был зол и возмущен, но хотел вести себя так, как положено невинному, до глубины души оскорбленному человеку. Он шагал твердо, гордо подняв голову, а когда раз споткнулся и встретил искоса брошенный взгляд одного из милиционеров, улыбнулся с высокомерной иронией. Когда они уже входили в темную и длинную подворотню отделения, он подумал: "Напрасно я завелся. А все усталость и водка: бес попутал с этой водкой. С этими щенками не договориться. Может, я их действительно обидел? Надо говорить с кем-то разумным".

Они прошли через двор и вошли в дежурку, притом входили не так просто. Длилось это не больше мгновения, но только тут, впервые с момента происшествия, Францишку стало не по себе: сначала тот, что помоложе, открыл дверь, потом отступил назад, а когда Францишек уже вошел внутрь и сделал несколько шагов, тогда только вошли оба милиционера, захлопывая дверь, испустившую крайне неприятный звук. "Ничего себе порядочки, — машинально подумал Францишек. — Где-где, но тут-то уж должен быть порядок. Могли бы и смазать дверь. Теперь бы мне только с кем-нибудь разумным поговорить".

Он внимательно огляделся, все еще сохраняя непроницаемое выражение лица. Это была обычная комната со стенами неопределенного цвета, разделенная пополам барьером; примерно посередине краска, которой когда-то выкрасили барьер, была стерта — это оттого, подумал Францишек, что задержанные опираются на барьер. На стенах висели портреты государственных деятелей, над ними — орел. У одной стены стояла деревянная лавка, на ней кто-то спал спиной к вошедшим. "Не скажешь, что тут уютно", — подумал Францишек снова, и это доставило ему злорадное удовлетворение.

Милиционеры тем временем вели себя так, словно Францишка вообще нет в природе. Они вполголоса разговаривали с мужчиной, который сидел за барьером. Францишек слышал его гнусавый голос, но лица никак не мог разглядеть: милицейские спины заслоняли. Он постоял неподвижно, дожидаясь, что вот-вот его попросят подойти и объяснить, но ничего такого не происходило. Наоборот — вслушавшись в разговор, Францишек понял, что говорят вовсе не о нем: темой разговора был велосипед, украденный неделю назад; один милиционер утверждал, что его украл некто Пастерка; другой — что владелец сам его пропил и боится признаться жене. "Чтоб вас приподняло да шлепнуло, — подумал Францишек. — Сам подойду и скажу, что я обо все этом думаю". Он подошел ближе к барьеру и с удивлением увидел, что милиционер за барьером — тоже всего-навсего капрал. Это его поразило: он-то надеялся, что они разговаривают с офицером.

— Прошу прощения, — сказал он громко и вышел на середину. — Могу ли я говорить с начальником отделения?

Милиционеры обменялись еще несколькими словами с капралом и только потом обернулись.

— Я хотел бы поговорить с начальником отделения, — громко заявил Францишек.

— А, — сказал старшина. Он повернулся к капралу за столом: — Этого гражданина, пожалуй, в предварилку. Как там у нас сегодня?

— Кой-какое общество имеется, — сказал сидящий. Поглядел на Францишка не дольше, чем глазом моргнуть. — Ну да ничего, поместится.

— В какую предварилку? — спросил Францишек.

— Раздевайтесь, — сказал старшина. Он снова отвернулся, и Францишку осталось только созерцать его широкую спину, наискось перехваченную кожаным ремешком.

— Что такое? — спросил он.

— Не слышите, гражданин? Сказано — раздеваться. Ремень, шарф, шнурки и документы. А также предметы.

— Документы ж у тебя, — сказал капрал, который вместе со старшиной привел Францишка.

— Но зачем, за каким чертом? — спросил Францишек.

Старшина обернулся и нетерпеливо посмотрел на Францишка.

— Как это зачем? Вы задержаны, — заявил он тоном, исключаяющим дискуссию. — Или мы вас сюда привели, чтобы позвать вашу честную руку?

Все трое раскатисто захохотали. Францишек был так потрясен, что даже не обратил внимания на их смех.

— Задержан? — повторил он. — За что?

— А то не знаете?

— Нет, — решительно сказал Францишек. Теперь он подошел к самому барьеру и оперся на него руками. — Не знаю. Помню, что раскричался, но это, по-моему, еще не причина на всю ночь задерживать в отделении.

— Не причина? — протянул старшина. — А что именно вы кричали? Уже не помните, что кричали?

Они посмотрели на него все трое разом, и Францишек внезапно сжался. Наступило молчание, только спящий на лавке тяжело сопел.

— Нет, — помолчав, сказал Францишек. Он провел рукой по лбу. — Не помню.

— Вот протрезвеете, вспомните, тогда и поговорим, — сказал старшина. — Тогда подпишете объяснение и отпустим вас домой.

— А сейчас нельзя? — спросил Францишек.

Сидящий за столом капрал засмеялся.

— Как же вы хотите писать объяснение, — сказал он, — когда сами говорите, что ничего не помните.

— Как это ничего? Все помню.

— Все? — издевательски спросил старшина.

Францишек смешался.

— Все, — сказал он неуверенно, глядя на старшину, словно ища у него поддержки. — Все... кроме тех слов, что я кричал. То есть в точности их не повторю, но если вы мне напомните... — Он неопределенно махнул рукой.

— Напомним, напомним. Завтра, — сказал старшина. — Нам только и важно, что ваши слова. А пока — конец дискуссии, гражданин. Пожалуйста, ремень, шнурки, шарф и все, что у вас в карманах... — Он укоризненно посмотрел на Францишка и мягко прибавил: — Не затрудняйте работы, гражданин.

— Но ведь... — еще раз начал Францишек.

Тогда капрал за барьером стукнул кулаком по столу.

— Вы человеческий язык понимаете или нет? — крикнул он. — Давайте вещи и не трепитесь — ничего хорошего вам с этого не будет.

Францишек дрожащими руками принялся вынимать всякие мелочи и класть их на стол: там были носовой платок, расческа, зеркальце, самописка и карандаш. Капрал все переписал и сложил в большущий конверт из толстой серой бумаги, на конверте кривыми буквами написал: "Францишек Ковальский. 28.III.1952". Он подошел к шкафу, и, когда открыл его, Францишек краешком глаза увидел много таких же конвертов, они лежали ровными пачками, ничем не отличаясь друг от друга. Капрал запер шкаф и снова сел за стол. Он придвинул Францишку какой-то формуляр и, указав пальцем — где, коротко сказал: — Подпишите.

Францишек подписал и отдал бумагу обратно.

— Я старый партизан, — сказал он горько. — Никогда в жизни ничего такого не сделал, чтоб потом не мог смотреть людям в глаза. — Он спешил высказаться: — Кто-то будет наказан за это недоразумение. Не может такого быть, чтобы человека сажали ни с того, ни с сего, за пару рюмок. Поверьте мне, я первый раз в жизни в отделении.

— Очень мило с вашей стороны, — сказал капрал даже не глядя. — Все когда-то первый раз попадают.

Старшина сказал: — А теперь, пожалуйста, за мной.

Придерживая брюки руками, Францишек двинулся за ним. Они прошли по очень грязному коридору, едва освещенному тусклыми зарешеченными лампочками; потом старшина открыл дверь: — Сюда.

Францишек вошел, хотел еще что-то сказать, но дверь захлопнулась. Он постоял неподвижно, прислушиваясь, — мысли не поспевали за темпом событий. Он оперся рукой о стенку и с ованием отдернул ее: стенка была холодная, корявая и влажная. Шаги старшины затихли.

III

Пока Францишек не услышал, как хлопнула дверь, он еще не воспринимал случившегося: все произошло безумно быстро, нервно, словно не всерьез, так что, только постояв в душной камере, когда глаза уже привыкли к полумраку и он начал различать лежащие на полу тела, Францишек осознал, что и вправду на несколько часов стал заключенным. Этот факт сначала его разозлил, он заколотил в дверь руками и ногами, но, когда никто не явился, его охватила усталость, а чуть позже — что-то вроде веселья. "Все это смешно, — подумал он. — Глупая ошибка, за которую они расплатятся".

Он огляделся успокоенно. Вокруг него, на полу и на двухъярусных нарах, спали люди: они скорчились и выглядели до смешного маленькими; какой-то гигантского роста мужчина, лысый череп которого слабо светился в полумраке, спал стоя, держась руками за натянутую вдоль стены железную сетку. Францишек попытался усесться на полу, присел на корточки, но тут же кто-то выдернул из-под него ноги и хрипло сказал:

— Осторожно, мать твою!

Францишек вскочил и нерешительно продвинулся еще шага на два, ступая по рукам и ногам, — жертвы поджимали их резкими лягушечьими движениями. В воздухе висел густой перегар; даже сейчас, когда они спали, источая изо рта слюну, было ясно, что почти все задержанные пьяны до полусмерти. "Первое число", — подумал Францишек и вдруг успокоился. "Первое же, — продолжал он свои размышления, — обычно каждый пятый пьян. У них тоже должны руки опускаться, у милицейских. Я был под градусом, вел себя шумно, отсюда все перипетии. Ну и чего нерв-

ничать? Дружище, возьми себя в руки, успокойся. Нервы разгулялись, ослаб, это все от усталости. Перепил — вот и вел себя на улице как сопляк. Видно, до седых волос в каждом что-то от сопляка остается". В этот момент он чувствовал почти благодарность к милиционерам за то, что они привели его сюда, в эту темную камеру, каждый сантиметр которой был забит пьяными телами, и преподали ему горький урок. "Так тебе и надо, — думал он, злобно сжимая кулаки. — Так тебе и надо, старый, глупый сопляк".

В конце концов он нашел свободное местечко и уселся на холодный бетон, подтянув коленки к подбородку. "Подумай, дурак, что ты заработал, — сказал он себе. — Мог бы спать в уютной постели, под теплым одеялом, под рукой бы стоял стакан чаю с лимоном, и только из-за своей глупости ты, старик уже, должен корчиться как эмбрион, пока не наступит утро и не выпустят тебя на свободу. Вот красиво будешь выглядеть".

Возле него кто-то вдруг очнулся, со стоном сел и, широко зевнув, принялся протирать глаза; при этом он ворчал как медведь. Потом повернул к Францишку невыразительное лицо.

— Ротмистр! Сигаретки не найдется?

Францишек машинально ощупал карманы.

— Нет. Отобрали.

Сидящий придвинулся.

— За что? — спросил он хриплым шепотом.

— Что за что?

— За что задержали?

— Ох, — сказал Францишек и улыбнулся. — Был слегка под мухой, вот и все. Просто пел на улице.

Помолчав, сосед Францишка сказал озабоченно:

— Плохо. Очень плохо.

— Плохо? — повторил Францишек. — Почему?

— С песнями так можно подзалететь, — ответил сосед. — Вроде бы поешь, вроде бы ничего такого, и человек невинный, а поглядишь... Драка была?

— Да нет, какое там. Раскричался чуток.

Незнакомец зевнул.

— Постучите — может, выпустят. Сейчас примерно который час?

— А я знаю? Пять, а то и больше...

Тот призадумался.

— Сейчас дежурит сержант Малиновский, хороший мужик. Если придет, попросите вежливенько — он выпустит. Если и правда ничего не было.

— Да какое там, — сказал Францишек и пожал плечами. — Я ж говорю: был выпивши и пел.

— А что пели-то?

— Не все ли равно?

— Ясное дело, нет. Песня песне рознь. Про что вы пели?

— Я уж и не помню, да ведь это, и в самом деле, неважно...

Старая армейская песенка.

Незнакомец аж присвистнул.

— Хуже и быть не может, — сказал он. — Попал пан, как кур в ошип... — Он наклонился над кем-то и затряс его: — Пан Сикорский, пан Сикорский... Спойте-ка песенку, за которую вас посадили.

Кто-то, невидимый в темноте, запел:

Возвращаюсь поздно ночью.
Вольной жизни вышел крах:
Автоматы, люди в штатском,
С красной книжечкой в руках...

Певец кончил выступление и сочно выругался. Сосед Францишка сказал:

— Видите, пан. Песня песне рознь. Если вы то же самое пели, когда вас прищучили, плохо вам придется.

— Да я первый раз это слышу, — сказал Францишек. — И никогда таких глупостей не пел бы. Я вам говорю: старая армейская песенка.

— Нет, пан, постарайтесь припомнить, — решительно заявил сосед Францишка. — Это необходимо. Надо же вам знать, за что посадили. Во время следствия нужно ориентироваться, о чем идет речь и как себя вести. Что ж это может быть за песенка? "Легионы"? Да нет, это бы вы помнили. К тому же, "Легионы" — пустяк, не больше полутора лет. Что ж за сволочь это могла бы быть? Ага, — протянул он, — может, это? Минуточку.

Незнакомец начал бешено трясти чье-то тело; тело тут же поднялось и принялось протирать глаза. Сосед Францишка сказал:

— Пан Новак, что вы пели, когда вас взяли?

Человек, названный паном Новаком, сначала коротко ругнулся, потом спел тихим мягким тенором:

О наш любимый маршал Сталин!
С такими сладкими устами!
Его люблю, о нем мечтаю —
О сказка жизни золотая...

Закончив, он тут же улегся. Сосед Францишка спросил:

— Это?

— Да нет.

— Слава Богу. Этому типу теперь хватит времени развивать голос. А может, вы анекдоты рассказывали?

— Нет.

— Ох, припомните хорошенько. Иногда за анекдот можно больше получить, чем за песенку... — он резко повернулся и закричал в темноту: — Алло, пан Александрович!

— Ну, — ответил кто-то в другом конце камеры.

— Сколько получил тот тип, что в прошлом месяце тут сидел и сказал на — сами знаете, на кого, — "Еська-солнышко"?

— Еще процесса не было, — отвечал голос с другого конца камеры, — но, думаю, от пятерика не отвертится. Тот, что сидел вместе с ним и рассказал анекдот о скупке зерна, получил тройак, так сколько же стоит этот?

Сосед Францишка вздохнул.

— Вот видите, пан, — сказал он Францишку, — слова разные бывают. Ну что ж, держитесь... Нет у вас случайно сигареты?

— Я же уже сказал, что нет, — ответил Францишек. Разговор начинал его раздражать.

Незнакомый зевнул.

— Тяжело, — сказал он. — В таком случае, надеюсь, пан меня простит, что я выкрою себе подкрепляющей дремоты. Стоит мне здесь заночевать, и каждый раз снится виноградник, купающийся в слепящем солнце юга. Обожаю Грецию. Вижу старцев с возвышенными ликами, одетых в длинные туники. Вижу девушек в прозрачных одеждах, как снуют они среди цветущих кипарисов. Даже здесь меня настигает их сладостное, полное дрожащей радости пение...

Последней фразы он не окончил и свалился на бетон, захрапел внезапно и с такой силой, что Францишек вздрогнул. Его сно-

ва охватило бешенство. "Черт побери, — подумал он. — Неужели, если человек чуточку громче запоет на улице, это уже резон просидеть целую ночь с подонками и пьяницами? Неужели того, кто, выпив пару рюмок, идет домой и пусть по дороге слегка напекает, неужели надо его ставить на одну доску с подонками последнего разбора?.."

Он вскочил; не обращая внимания на стоны и ворчание тех, кого придавил по дороге, подошел к двери и принялся долго, до боли в запястьях, стучать в нее кулаками. Никто не приходил; только в конце коридора, наверно в другой камере, слышались стоны и проклятия. Францишек пнул дверь ногой, раз и два; только тогда, откуда-то с другой стороны, раздался скрежет замка и шаги. "Наконец-то", — подумал он с облегчением и утер лоб. Сразу вслед за этим заскрежетал замок в двери. Дверь отворилась медленно — на пороге стоял низенький человек с круглым, веселым лицом, в мундире сержанта. "Он, наверно, и есть, — вспомнил Францишек, и его охватила радость. — Наверно, тот сержант, про которого этот тип говорил".

— В чем дело? — спросил сержант. Его голос звучал спокойно и тихо, без того раздражающе искусственного холода, о котором заботятся все в мире чиновники, и Францишек сразу исполнился к нему доверия.

— Вы могли бы меня выслушать? — спросил он, стараясь говорить как можно вежливее и четче.

— В чем дело? — повторил сержант.

— Мне кажется, — сказал Францишек, — что меня задержали неправильно. Я просто шел по улице, был немножко на взводе, и не знаю, почему, хоть уж я старый пень, пришло в голову запеть. У меня когда-то легкие были прострелены, я боюсь их застудить; вы не могли бы меня отпустить?

Сержант поглядел-поглядел на него, потом сказал:

— Вытяните руки вперед и закройте глаза.

Он сказал это очень вежливо, и Францишек послушался, не раздумывая.

— А теперь быстро скажите, как вас зовут, где живете, где работаете и в какой должности.

— Моя фамилия Ковальский. Живу на Муранове. Работаю в авторемонтных мастерских заместителем начальника ОТК.

— Порядок, — сказал сержант. — Опустите руки, посмотрим, что удастся сделать.

Открыв глаза, Францишек увидел, что сержант потихоньку усмехается.

— Идите, — сказал сержант.

Он запер дверь; они снова шли смрадным, слабо освещенным коридором. Везде, во всех помещениях отделения, стоял тот же перегар, такой сильный, что Францишек почувствовал отвращение к себе самому.

— Где вам в легкие угодило? — спросил сержант.

— В лесу, — сказал Францишек. — В сорок третьем году.

— Партизан?

— Да.

— АК? АЛ?

— АЛ*.

Сержант еще раз улыбнулся.

— Как же это вы позволили приволочь вас в отделение? — спросил он. В его голосе Францишек ощутил тон дружеского упрека.

— Ваши парни — такие службисты, — сказал он, — никакими силами их не переубедить.

— Что делать, — ответил сержант. — Сегодня — первое; люди любят пошуметь, а в городе должен быть порядок.

Они прошли еще один коридор и зашли в пустую комнату. Сержант сказал:

— Подождите минуточку. Сейчас отпустим вас.

Францишек сел на лавку и с наслаждением распрямил одеревяневшие ноги. "Наконец-то, — подумал он. — По крайней мере, этот — разумный, с ним можно договориться. Честно говоря, если б не моя запальчивость, давно бы дома был. Хорошо, что я предупредил Эльжбету о собрании, не будет волноваться. Вот и собрания имеют свою хорошую сторону, заранее и не предвидишь. Капля водки, усталость, волнение — много ли надо, чтобы в отделении оказаться? Черти бы все это побрали".

Дверь открылась, и в комнату вошел сержант. Францишек улыбнулся навстречу ему, но тут же все в нем недоуменно застыло: он будто увидел совсем другого человека — на протяжении нескольких минут сержант натянул на свое молодое симпатичное

* АЛ — Армия Людова, коммунистические партизанские соединения. — Прим. переводчика.

лицо отталкивающую маску официальности и презрения. Он смотрел теперь на Францишка холодно и язвительно.

— Пошли обратно, — сказал он сухо.

Францишек встал.

— Куда?

— В камеру.

— Но почему?

— Вы ведь задержаны, — ответил сержант. Он смотрел на Францишка, как на неодушевленный предмет, в голосе его зазвело нетерпение. — Или вы этого не заметили, Ковальский?

— Но почему, за что? — забормотал Францишек. — Я же ничего плохого не сделал. Не могу ли я хоть узнать, за что?

— Придет время — узнаете, — сказал сержант. И указал рукой на дверь. — Пожалуйста.

— Мне надо знать сейчас же, — крикнул Францишек. — Пока не узнаю, никуда не пойду.

Сержант приблизился. Положил ему руку на плечо и наклонился к нему. Францишек сжался от страха.

— То, что вы бывший партизан, — сказал сержант, — то, что вы член партии, в данный момент не имеет значения. Для нас важно только то, что вы человек, которого мы обязаны задерживать. Не размышляйте о прошлом. Боюсь, что оно для вас уже не имеет значения. А теперь идите.

Он сжал пальцы, и только тогда Францишек почувствовал силу его руки. Он встал и пошел за сержантом; всю дорогу вдоль коридора он не сказал ни слова. Сержант тоже молчал, шел распрямившись, твердо печатал шаг, словно на военном параде.

В камере Францишек снова сел на тот же квадратик бетона, с которого недавно поднялся, чтобы пуститься в свое напрасное путешествие. "Что случилось? — думал он лихорадочно. — Ради всего святого, чего они от меня хотят?"

Его сосед зашевелился, снова уселся на бетон по-обезьяньи, протирая глаза.

— Что, пан, хоть сигаретку принесли? — спросил он после долгой зевоты.

Францишек затрясся от злости.

— Катись, пан, со своими сигаретами, — буркнул он.

Незнакомец ухмыльнулся.

— Так оно и есть, — сказал он. — Им спешить некуда. Захотят, продержат так долго — всякое веселье отобьют.

— Что же я мог натворить? — скорее себе, чем ему, сказал Францишек. — Что ж я мог такого натворить? Слово за словом припоминаю, факт за фактом, и ничего понять не могу. Если бы хоть сказать соизволили! Так даже этого не могу допроситься. Что же я мог натворить?

Незнакомый сладко потянулся.

— Каждому из нас кажется, что он ничего не сделал. Каждый из нас так ли, сяк ли думает, что он невинный. Но приходит время, другие берут над нами власть, и тогда уже неважно, что мы думаем, а важно, что они о нас думают. — Он вздохнул и повернулся на бок. — Благодарение Богу, что я всего-навсего алкаш. Это единственная гарантия: если кто что обо мне подумает, то только это. Спокойной ночи. Постарайтесь, пан, заснуть. И вообразите себе, что все — только сон. Подлый, глупый сон, от которого нам уже никогда не проснуться.

IV

Наконец наступило утро, вместе с ним в камеру ворвался пронизывающий холод. Прямоугольник окошка под самым потолком наполнился серым светом. Лица лежащих понемногу вырисовывались: они словно выплывали из мрака, опухшие, помятые, со всклокоченными волосами и багровыми белками глаз. Один за другим люди усаживались на бетоне, бессмысленно озирались, потом, зевая и дрожа от холода, неуверенно вставали. С улицы доносились первые отзвуки проснувшегося города: проезжающие машины, торопливый топот ног, лязганье первых трамваев.

Пока длились темнота и тишина, Францишек сидел отупевши, единственным его чувством были тревога и злость. Теперь, однако, когда он осознал, что за несколько метров от него, тут же за стеной отделения, идет нормальная жизнь сотен тысяч людей, из которой он исключен, его охватила подавленность, какой он давно не знал. "Может быть, — думал он, — это и есть самое худшее, что может приключиться с человеком. Хуже болезни, одиночества, любых поражений. Невозможность участвовать в жизни других — что может быть хуже, что может больше отнимать силы, глубже сталкивать на дно, в закоулки, где ни надежды, ни радости? И это пока только несколько часов — какой же страшной становится жизнь, когда это затягивается?" Он весь был

проникнут одним, почти бессознательным желанием: выйти отсюда как можно скорей, оказаться на улице, среди людей и сумятицы.

Дверь заскрежетала. На пороге камеры появился сержант. Держа в руках карточку, он выкликнул:

— Романовский, Больдер, Крупинский — на выход.

Названные бросились к двери. Францишек рванулся за ними.

— А я? — спросил он.

— Ждите.

— Я бы еще на работу успел, — сказал Францишек.

Сержант, не ответив, захлопнул дверь перед носом у Францишка — тот еле успел отскочить. Некоторые рассмеялись. "Вы мне за это заплатите, — подумал он с ненавистью. — Вы мне заплатите за все ваши штучки. Я еще устрою, чтобы вас всех с треском вышибли из милиции. Вы еще поймете, что с порядочными людьми так не обращаются". Он ходил из угла в угол и обдумывал разнообразные способы мести.

В камере воцарилось некоторое оживление: люди вспоминали вчерашнее. Некоторые острили, другие тупо глядели перед собой. Кто-то громко говорил:

— Что я жене скажу, что я жене скажу? На прошлой неделе то же самое. Обещал, что больше не повторится...

На нарах спали трое молодых людей: прижавшиеся друг к другу, как котята, они возбуждали всеобщую симпатию. Одеты они были одинаково: в дешевые пиджачки, узкие брюки, желтые рубашки и ужасно яркие носки. Все трое были в синяках, и носы расквашены — видно, их забрали за какой-то скандал.

Один из них вдруг очнулся. Прошелся пятерней по волосам, потом принялся расталкивать дружков.

— Кусятынщак, вставай, — покрикивал он. — Солнышко светит. На работу пора.

Те тоже проснулись. Поглядели друг на дружку все трое и широко заулыбались. Охрипшими голосами запели:

В буднях великих строек,
В веселом грохоте огня и звона,
Здравствуй, страна героев,
Страна мечтателей, страна ученых.

— А ну, заткнитесь, — скомандовал кто-то. Францишек пригляделся: это был тот лысый, что спал стоя.

Дверь снова заскрежетала, и все обернулись к ней. На пороге стоял знакомый уже Францишку сержант вместе с каким-то штатским. Штатский был невысокий, с поразительно круглым лицом, узким носом и близко посаженными темными глазами.

— Ковальский, — сказал сержант. — Подойдите.

Францишек подошел к двери. Штатский поглядел на него внимательно: Францишек едва мог разглядеть его глаза, но взгляд его, казалось Францишку, пронизывал насквозь.

Штатский обернулся к сержанту.

— Этот? — спросил он.

— Да, — ответил сержант.

— Гражданин сержант, — поспешно заговорил Францишек, — я вас прошу поскорее, я хотел бы...

— Пошли, — сказал штатский.

Они захлопнули дверь прямо у него перед носом, так что он опять едва отскочил. Незнакомец, с которым Францишек разговаривал ночью, присвистнул.

— Вот оно как, — сказал он.

Францишек обернулся к нему.

— Что вы хотите этим сказать?

Сосед глянул с добродушной иронией.

— Видно, пан ничего себе дел натворил, если они так цепляются? — Он щелкнул языком как-то особенно отвратительно, потом продолжал: — Если вы и вспомнить не можете, что произошло, то уж, наверное, дела плохи. Кто-то на вас донес. Не припоминаете, пан?

Францишек посмотрел на него жестко.

— Что вы имеете в виду?

Тот ухмыльнулся.

— Кто-то, должно быть, донес, — повторил он. — Может, вы слушали "Свободную Европу"? Крупные были бы неприятности, если б оказалось, что пан слушал, что там говорят, а потом еще другим пересказывал. Тут один такой есть, он вам сам расскажет.

Окликнул через плечо:

— Пан Квятушинский, будьте добры, на минуточку.

Лысый гигант подошел к ним.

— Слушаю, — сказал он великолепно басом.

Сосед Францишка обратился к нему.

— Вы ведь, пан, сидите за "Свободную Европу", не так ли?

— Ничего подобного, — с достоинством отвечал великан, — я никогда не слушаю "Свободную Европу". Я сижу за Радио-Мадрид. Жена пускала на полную громкость, а соседка донесла. Женщины, как вам, я думаю, известно, существа с любой точки зрения безответственные.

— Все равно, — сказал сосед Францишка, победно улыбаясь. — Дело в сути, а не в деталях. К тому же Мадрид с этой точки зрения еще хуже...

— Неправда, — сказал кто-то сзади. — Хуже всего Нью-Йорк. Они с нашими особенно не дружат.

— Ватикан ничуть не лучше, — сказал еще один и подошел ближе. Был это низкий, седой мужчина с видом учителя-пенсонера. — Казалось бы, предприятие чисто духовное, и хотя бы поэтому должны быть другие критерии оценки, — ничего подобного. У моего пасынка за распространение новостей Ватикана такие были неприятности, никому не пожелаю. Название радиостанции ни о чем не говорит. В этом случае, если позволите так выразиться, все иллюзия...

Сосед Францишка прервал ход его рассуждений, нетерпеливо махнув рукой.

— Я уже сказал, что это детали. Речь идет о том, что на этого пана, — он указал на Францишка, — кто-то донес, а он абсолютно не ориентируется, кто бы это мог быть. — Он придвинулся к самому уху Францишка. — Может, кто из родни? Вы думаете, семья — это надежно? Тут, извините, есть такой, что на него теща донесла, будто держит оружие. Из мести, что на именины ее не пригласил.

— Его уже нет, — сказал великан своим великолепным басом. — Вчера отпустили.

Францишек сухо посмотрел на своего ночного собеседника.

— Я просил бы вас немедленно от меня отвязаться. Вы меня оскорбляете как человека и как члена партии. Я человек порядочный, и то, что я оказался в вашем обществе, всего лишь печальная ошибка. И прошу ко мне подобным образом не обращаться, а то сообщу дежурному офицеру все, что я о вас думаю.

Сосед внимательно пригляделся.

— Чего вам от меня надо? — спросил он, пожимая плечами. — Я вам ничего не говорил.

Напряженные до последнего нервы Францишка на этот

раз отказали ему. Он пошел кричать с пеной на губах, истерически размахивая руками.

— Так вы ничего не говорили? Ничего не говорили? Вы, не переставая, говорите всякие мерзости. Где вы? Как вы думаете, где вы находитесь? Я бывший партизан и не за то воевал всю оккупацию, чтобы такие, как пан, теперь издевались надо всем. Таких, как пан, я в лесу собственными руками расстреливал. Вы оскорбляете все, во что я верю и во что люди верят. Понимаете, пан?

Мужчина посмотрел на него холодно.

— Я вам, пан, ничего не говорил, — сказал он. — Ясно? Ничего. Это вы ко мне прицепились.

— Я? Я к вам прицепился? — захлебнулся Францишек. Мужчина обернулся к камере.

— Говорил ли я что-нибудь этому пану? — спросил он громко и спокойно.

Мгновение стояла тишина, потом лысый гигант тихо сказал Францишку:

— Этот пан ничего не говорил.

— Как это? — поперхнулся Францишек. Он все еще трясся, а на лбу выступил пот. — Не говорил никаких бредней о доносах и так далее?

— Это вы бредите, — сказал лысый и легонько ткнул Францишка в грудь. — У вас, друг мой, все в голове смешалось. Я сам слышал, как вы говорили, что собирались смыться на Запад, там-де вам было бы куда лучше. Вы что, не помните? Это все слышали!

— Кто? — крикнул Францишек. Он резко обернулся к остальным. — Кто слышал, — закричал он, — будто я такое говорил?

Снова наступила тишина. Францишек дышал тяжело, чувствуя, как пот течет по всему телу и вызывает невыносимую щекотку.

— Все, — ответила камера. Лысый прибавил: — И пусть пан ни к кому не цепляется. Пан был вдребезги пьян и не помнит, какие он тут речи произносил. Если бы я это повторил, у вас были бы серьезные неприятности. Я вам советую: не трогайте никого.

Францишек отшатнулся, ненависть ослепила его, он напуган и готов был уже прыгнуть на лысого великана, но тут

опять заскрежетала дверь, и Францишек машинально обернулся.

— Ковальский, на выход.

Сержант провел его по коридору, и они вошли в уже знакомую Францишку дежурку. Теперь, в свете дня, она выглядела еще более серой и гадкой, чем ночью, когда ее освещала свисающая с середины потолка, ничем не прикрытая, слепящая лампочка. За столом, на месте капрала, теперь сидел этот круглолицый штатский. Рядом с ним — старшина, что задержал Францишка. Он выглядел страшно усталым: юношеское лицо побледнело, глаза подвело. Все трое: сержант, штатский и старшина были небриты; круглые щеки старшины за ночь покрылись пухом и стали похожи на созревающий персик; ни мундир, ни тяжелый пистолет не прибавляли ему солидности.

Штатский оторвал взгляд от разложенных бумаг.

— Так, Ковальский, — сказал он, и в голосе прозвучала искренняя озабоченность. Он наморщил лоб: — Плохо дело.

Францишек молчал, нахмурился, прислонился к барьеру и глядел на штатского.

— Нехорошо, — повторил штатский и покачал головой: — Очень плохо.

— Что я сделал, черт побери? — спросил Францишек.

— Что, может, вам не нравится? — спросил сержант. Он выставил подбородок и глядел на Францишка, как мальчишка, который сейчас полезет в драку.

— Вот именно, — влез туда же старшина. — Скажите: может, вам не нравится, а? Нравится или не нравится?

— Я хочу узнать: что я сделал? — повторил Францишек.

— А я, — сказал сержант, — хочу, чтобы вы мне ответили: нравится вам или нет?

— Член партии, — сказал штатский и развел руками. — Бывший партизан, офицер — и что же? Поглядишь на вас — человек, можно сказать, приличный, спокойный; подумаешь — надежный товарищ. А копнешь глубже: оказывается, враг. Разоблачили вы себя, Ковальский... — Он ударил рукой по стопке бумаг. — Так обстоит дело. Разоблачились — и все тут.

— Я? — заикаясь, пробормотал Францишек. — Разоблачился? Что все это означает?

— Может, вам не нравится? — спросил старшина. — Скажите: режим вам не нравится? Или, может, милиция?

Штатский поднялся из-за стола. Он стоял, широко расставив ноги, и смотрел Францишку прямо в глаза.

— Вы оскорбили партию, — сказал он спокойно. — Вы оскорбили мундир народной милиции. Вы оскорбили Народную Польшу. Вы кричали, что на все это вам накласть; вы оскорбили партию и народную власть такими словами, что мне и повторить стыдно. Все запротоколировано. Припоминаете? Вы — судя по вашим документам, член партии — оскорбили наше правительство, нашу народную власть. Тем самым вы показали, кто вы такой, пан Ковальский. Прочитайте это, пан, и подпишите. Потом, пан, заплатите штраф и пойдете, пан, домой. Секретарь парторганизации будет извещен. Мы перешлем ему копию протокола. А теперь — пожалуйста.

Он подал Францишку бумагу и перо.

— Боже мой, — пробормотал Францишек. — Да возможно ли это?

Колени его дрожали, сердце колотилось где-то в горле.

— Представьте себе, да, — сказал сержант. Он посмотрел на бледного, как полотно, Францишка и криво усмехнулся. — Думаете одно — говорите другое. Мы здесь затем, чтобы не поддаваться на такие штучки. Сегодня пан на улице свинства выкрикивает, завтра шпионом станет. Пожалуйста — подпишите.

— Люди! — воскликнул Францишек. — Это же невозможно, чтобы я такое кричал. Это какая-то ошибка. Не верю, чтобы я кричал такие вещи.

— Я слышал, — сказал старшина. — А если вам не нравится, так прямо и скажите.

— Я же так не думаю.

— Вы так кричали, — сказал штатский. — Это ваши слова. Только я стыжусь вам повторить, товарищ партийный.

— Что у трезвого на уме, — сказал сержант, — то у пьяного на языке. Вы сами лучше всех знаете, что это так.

— Ошибка, — хрипло сказал Францишек. Жестом слепого он поднес ладонь ко лбу. — Ошибка.

— Да, — сказал штатский. — Ваша ошибка. Ошиблись вы, пан, думая, что врага нельзя разоблачить.

Францишек посмотрел на протянутую бумагу. Он пытался прочитать, но буквы прыгали у него перед глазами, сливаясь в бесформенное и неразборчивое месиво. Вдруг ему показалось, что все вокруг него — выдуманное и ненастоящее. Он закрыл глаза.

за, а открыв их, увидел наклонившегося к нему сержанта. Чуть дальше стоял штатский, рядом с ним старшина. На их лицах было презрение.

— Здесь, — показал сержант, где Францишек должен был подписать.

— Я... — начал Францишек. И вдруг замолчал: он понял, что силы его на исходе и что он больше ни слова не сможет сказать, не сумеет ни защититься, ни объяснить перед этими людьми. Далеко в коридоре кто-то колотил кулаками в дверь и выл: "Выпусти, выпусти!" Тогда Францишек подумал: "Выйти отсюда. Выйти любой ценой". Взял ручку и подписал. Сержант отобрал бумагу и бросил на стол.

После, когда ему отдавали вещи, он слышал, как они что-то ему говорят, но слова доходили до него не громче комариного жужжания. В нем раскрылась пустота, которой он не мог заполнить ни одной мыслью; он завязывал галстук, зашнуровывал ботинки и надевал ремень движениями лунатика. Только когда сержант открыл перед ним дверь, он расслышал слова штатского:

— До свиданья, пан Ковальский.

V

Ледяной ветер с Вислы немного привел его в себя; день был туманный и холодный, бледное солнце, бессильно поблескивавшее на влажных крышах, даже не напоминало о весне, а в исхудалых, черных ветвях не ощущалось тугих, влажных соков земли. Францишек шел быстро, не застегнув измятого плаща; он не думал, куда идет, — в нем все еще было только одно желание: оказаться как можно дальше от места своих ночных переживаний. "Все глупая случайность, — бормотал он сам себе. — Все нелепость... Все сейчас же выяснится, должно, черт побери, выясниться. Сейчас же все улажу, пойду, куда надо..." Он заметил ухмылки прохожих и тогда только понял, что вслух разговаривает сам с собой; застегнул плащ и пошел медленней.

В витрине магазинчика блеснула табличка "Телефон". Он толкнул дверь и вошел внутрь — дверной звонок фальшиво звякнул. Темную нору наполнял раздражающий запах гнилых овощей. У телефона стояла какая-то девушка: Францишек отошел в сторону.

— Чем могу служить, — сказал хозяин, небритый, в грязном фартуке. Францишек махнул рукой в сторону девушки:

— Да мне позвонить...

Хозяин разочарованно цокнул языком, прикрыл газетой темное лицо. "Мы идем к..." — кричал заголовок. Перевернул газету: "Вчерашнее выступление нашло широкий..." Девушка щебетала в трубку, складывая губы трубочкой...

— Дзидка? Невозможно! Да что ты говоришь?.. Ох, правда, она всегда... Не хочу ничего плохого про нее сказать, но этого можно было ожидать...

Звякнул звонок над дверью; Францишек вздрогнул как ударенный током. Вошел парнишка, из-под козырька метнулся взгляд варшавского пройдохи. Он поставил на стойку бидон.

— Молока и двести пятьдесят масла.

— ...Дзидка? С Романом? Ну да, я всегда...

— Нет молока. Картошка есть.

— А масло?

— Нет. После обеда капуста будет.

"Позвоню, и все выяснится, — подумал Францишек. Он со злостью смотрел на накрашенное поросячье рыльце. — Позвоню, пойду на работу, и все пройдет".

— А сало?

— Сала нет. Картошка есть.

— ...я так и говорила Стефану: "С ней поосторожней, никогда не знаешь, чего ждать..."

— Когда будет масло?

— А мне кой черт докладывает? Что есть, то и есть. Катись.

Снова брякнул звонок и подбросил Францишка: мальчишка вышел. Теперь он бежал через улицу, хлюпая по лужам: ботинки были ему велики номера на три. "Идиот, — подумал Францишек, — когда-нибудь ноги сломает... — Взглянул на часы: он опаздывал уже на час. — Позвонить, скорее позвонить".

— ...ты же меня знаешь, ты же знаешь, я сплетен не переносу, но тут... Что? Не Дзидка? Да знаю я, что не Дзидка, еще бы не хватало! Но опять-таки Владка...

Он положил ей руку на плечо — она обернулась.

— Три минуты, — буркнул он. — Кончайте.

— Хам.

— Соплячка.

Она бросила деньги на стойку и вышла, наградив его ярост-

ным взором и хлопнув дверью; звонок снова закачался в самой глубине его усталого мозга. Истертый диск с цифрами дугообразно качался вверх и вниз, как маятник. "Ветеринарная лечебница «Люби животных»", — застрекотал голос. "Извините", — пробормотал он. Наконец он попал правильно — телефон загудел "занято". Он повесил трубку и в изнеможении оперся о стену.

— Сучка, а? — сказал хозяин магазина. — Нынче яйца курицу учат. Пан делает пацанке замечание, а она как морду раззявила, ойё-ёй. — Он махнул рукой. — Меня по-другому воспитывали. В наше время...

Францишек снова принялся набирать номер. В конце концов услышал знакомый голос телефонистки и с облегчением вздохнул.

— Слушаю.

— Говорит Ковальский. Соедините меня с партбюро.

Он снова услышал короткие гудки: короткие и частые.

— Занято.

— Я подожду у аппарата.

Ногой он придвинул табуретку и сел. Хозяин снова отложил газету.

— Мне, пан, — начал он, — собственному отцу приходилось руки целовать. Старик мой говаривал: "Янек! — меня Яном зовут, — ты должен отца слушаться, чтобы и тебя потом твои дети слушались..."

— Соединяю, — пролаяла телефонистка. И сразу он услышал знакомый голос: — Пе-о-пе*, слушаю.

— Говорит Ковальский, — радостно крикнул Францишек. — Это ты, Павляк?

— Я. В чем дело?

— Слушай, тут маленькое недоразумение. Меня задержали.

— В транспортном?

— Нет. В отделении.

— В рамках акции "Город — деревне"?

— Нет. Обычным порядком.

— Ага, дератизация.

— Да нет, якобы алкоголь.

— Мы же на борьбу с алкоголем назначили Цебуляка. Тебя, Ковальский, бросили на смычку города с деревней.

* Первичная партийная организация. — Прим. переводчика.

— Слушайте, это не связано ни с каким мероприятием... — он покосился на хозяина: глазки с красными прожилками внимательно всматривались. — Я, — выдавил он, — по личному делу.

Голос в трубке зазвенел.

— Личные дела, когда мероприятие закончим, товарищ Ковальский. Тебя назначили на акцию "Город — деревне", и никаких. В другой раз чтобы этого не было.

— Хорошо, — сказал Францишек. — Я сейчас приду и объясню. Привет.

— Привет.

В трубке щелкнуло. Францишек весь горел: от рубашки до носков все взмокло. Он отсчитал мелочь за телефон.

— Бутылку лимонада, — попросил он.

Хозяин улыбнулся, прищурясь, будто говоря: "Ты, браток, своих не разыгрывай".

— Нету, — сказал он. — Может, будет квас.

— Пусть будет квас.

— Квас, может, будет, но после обеда. У меня немного своего молока, могу уступить.

— Тем лучше.

— Хе-хе...

— Что хе-хе?

— Ничего, пей, пан. Я из тех, что каждого стараются понять.

Пока Францишек пил, хозяин говорил:

— Вы уж, пан, пожалуйста, не переживайте. Посадили — отпустят. Меня посадили в сорок пятом. Сидел я с одним русским майором, который дунул из армии и переделся трубчистом. "Не переживай, Ваня, — говорит он мне — меня ведь Яном зовут, — не переживай. Что бы тебя ни спрашивали — говори: не знаю. Всегда дадут меньше, чем могли бы. Я, Ваня, — меня ведь Яном зовут, — двадцать третий раз сижу..."

Францишек отставил стакан.

— Сколько?

— Подождите, пан, я dokonчу. "Я, Ваня, — говорит он мне, — столько раз уже сидел..."

— Мне некогда, — прошептал Францишек. Он поглядел на небритое лицо бакалейщика и только теперь осознал, что и сам так же выглядит. — Сколько? — чуть не заорал он.

— Три сорок.

Он заплатил и вышел.

— Эй, пане!

Он обернулся: хозяин подмигивал ему таинственно. Его пронзительный взгляд был настолько выразителен, что Францишек подошел как зачарованный.

— После обеда кофе привезут...

Он снова бежал в плаще нараспашку по мокрым, грязным улицам. Вдруг остановился. "А я? — подумал он. — Меня зовут Францишек..." За спиной раздался бешеный визг тормозов, и он едва отскочил. "Чего, пан, ждете?" — крикнул шофер. "Аплодисментов! Социализма!" — выкрикнул кто-то на тротуаре. Люди завывали от радости, Францишек побагровел и уже собирался ответить, как услышал знакомый голос: — Что, не нравится? А ну, честно скажите: кто вам не нравится? — Он оглянулся: это был тот же молодой старшина, что привел его ночью, — привычным служебным жестом он уже протягивал руку за документами. Францишек втянул голову в плечи и побежал дальше — в сторону остановки, где клубилась промокшая, пропахшая кислым, ругающаяся толпа.

VI

Он прошел вывеску с названием предприятия и вошел в проходную. Сунул свою карточку в контрольные часы: черные неровные цифры со стуком отбили час опоздания. К нему подошел усатый старичок-вахтер и, ощерив пожелтелые зубы в дружеской улыбке, спросил:

— Трамвай?

— Что — трамвай?

— Не могли влезть в трамвай?

— Почему вас это интересует?

— Опоздание, товарищ Ковальский... — Он вздохнул и развел руками: — Придется задержать вашу карточку, — сказал он огорченно.

Францишек отдал карточку.

— Ничего не поделаешь.

Он хотел пройти, но вахтер остановил его.

— Лучше всего, — сказал он драматическим шепотом, — напишите в объяснительке, что трамвай... — Старик прищурил карий глаз: в гуще белеющих морщин он выглядел как изюминка. —

Этого никто не может проверить, — шепнул он. — Там, в трамваях, такой бардак...

Францишек буркнул что-то невнятное и прошел. Он шел вдоль почерневшей кирпичной стены, оклеенной плакатами: сияющие улыбки ударниц и ударников, крестьянки и крестьяне со снопами, дошкольники и солдаты, диверсанты и ксендзы-предатели, кулаки и саботажники — все смотрели прямо в его усталое небритое лицо, словно спрашивая: "Ну, так что теперь, дружок?" — ему пришлось прикрыть глаза; открыл он их прямо перед изображением американского солдата, протыкающего штыком корейского ребенка: солдат был похож на орангутанга, ребенок — на лемура. Он вздрогнул и почти ошупью добрался до раздевалки, быстро переоделся в серый, засаленный халат и пошел в партбюро — оно помещалось тут же рядом, в бараке, специально для этого выстроенном на субботах. Перед дверью с табличкой он приостановился, еще раз провел ладонью по небритому лицу, пригладил редющие волосы и, словно желая преодолеть слабость, с удвоенной энергией постучал.

— Войдите, — ухнуло басом.

Францишек вошел. Из-за стола поднялся добродушный толстяк; у него была землистая кожа человека, который постоянно недоедает, сидит в закрытых помещениях и вдыхает огромные количества папиросного дыма; обвислые щеки и покрасневшие от вечного недосыпа глаза; такие лица обычно у всех, кому доверено попечительство над душами ближних. Он протянул руку, тяжелую и волосатую, но теплую и дружественную в пожатии.

— Садись, — сказал он. А когда Францишек уже сел, спросил: — Ну, что хорошего?

— Хорошего? — повторил Францишек. На мгновение вопрос показался ему издевательским; потом, однако, он глянул на усталое, доброе лицо своего секретаря, и ночной кошмар внезапно показался ему нереальным, мало того — смешным. "Вот глупости, — подумал он и вздохнул с облегчением. — Наконец-то с человеком поговорю". Он улыбнулся впервые за много часов. — Недоразумение вышло, — сказал он. — Дело в том, что...

Кто-то постучался. Секретарь жестом остановил Францишка.

— Минуточку... Войдите.

Вошел молоденький парнишка с совершенно детским ли-

цом и славно взъерошенным чубом. Увидев Францишка, он замялся, словно хотел уйти.

— Входите, Близнячек, — сказал сердечно первый секретарь, и его тяжкая ладонь описала плавную дугу. — Подойдите ближе, ну-ка, и садитесь... — Он придвинул стул и посмотрел на парня дружелюбно. — Что вас там, в зетемпе*, барышнями воспитывают? Садитесь и говорите смело, по-нашему, по-рабочему...

Зетемповец Близнячек сел. Он глянул на Францишка, потом перевел глаза на носки своих ботинок и стал невероятно внимательно их разглядывать. Молчание затянулось. За стенами монотонно, словно телеграфные провода, на одной протяжной ноте жужжали станки.

— Ну так, какого лиха? — спросил в конце концов секретарь. Он хлопнул ладонью по столу. — Заговорите вы или нет?

— Я хотел бы с глазу на глаз, — выдавил из себя Близнячек.

Секретарь замотал головой.

— Это заслуженный член партии, — сказал он торжественно. — При нем вы все можете сказать.

Близнячек поглядел на Францишка голубыми глазами, помотал растрепанным чубом и внушительно сказал:

— Дело в том, что Баневич и Маевская — сами знаете.

Секретарь окаменел. По лицу его прошла судорога. Он наклонился через стол.

— Неправда, — сказал он хрипло.

— Да.

Секретарь ударил кулаком по столу, так что все загудело.

— Невозможно.

Близнячек поднял на него чистый, голубой взгляд.

— Точно.

— Откуда знаете?

— Сам видел.

— Но... У Маевской муж, ребенок.

Близнячек улыбнулся торжествующе.

— Вот именно, — сказал он. — Вот именно.

— Вы сами видели?

— Да, — сказал Близнячек. — Квартиры у них нету, так что — сами знаете. Вчера, после отбоя, на складе — я сам видел.

* Польский комсомол тех времен. — Прим. переводчика.

— Они что-нибудь говорили?

— Да. То есть Маевская говорила Баневичу, что мужа не любит, но не может с ним разойтись, потому что он туберкулезник и кто-то должен о нем заботиться. А он, Баневич, говорил ей, что у него квартиры нет. И говорил, что очень ему это не нравится.

— Не нравится? — голос секретаря прозвучал, как эхо.

— Не нравится.

Секретарь потер лысеющий лоб и облизал губы. Он сгорбился и выглядел, как человек, у которого отняли самое святое.

— Надо же такое, — произнес он, и его возвышенный бас прозвучал как стариковский шепот. — На складе, после отбоя... А вы что делали после отбоя, Близнячек?

Близнячек поднял голову.

— Проводил беседу. "Любовь в жизни советского человека". Я поменялся днями с Пляскотой: он за меня позавчера проводил "Лес в жизни комсомольца".

— На складе, после отбоя, — повторил секретарь, не веря своим ушам. — Баневич — наш товарищ по партии... — Он снова двинул кулаком по столу: Францишек и Близнячек подскочили. — И это здесь, — заорал он. — На рабочем месте. — Он выскочил из-за стола, подбежал к зетемповцу с вытянутой рукой. — Благодарю от имени парторганизации, — сказал он, тряся его ладонь. — Родина тебе этого не забудет. Привет.

Близнячек встал и широкими шагами пошел к двери. Там он еще остановился, поднял левый кулак вверх. "Где я это уже видел? — вдруг подумал Францишек. — Где я это видел?"

— Честь труду! — громко сказал Близнячек.

— Честь труду! — тем же тоном и так же вздымая кулак ответил секретарь, а Францишек снова подумал, почти с болью: "Где я это видел?"

Близнячек закрыл за собой дверь и, твердо постукивая каблуками, ушел по коридору. Секретарь сидел минуту неподвижно, с пустыми слепыми глазами. Потом он обернулся к Францишку, помолчал. Наконец взгляд его снова просветлел.

— Видишь, — сказал он устало. — Человек тут сидит за столом, вроде бы все ничего, а куда ни посмотришь — враг не дремлет... — Он забарабанил по стеклу стола неловкими пальцами. — Надо быть бдительным. Постоянно надо быть бдительным, Францишек. Люди у нас неподготовленные: уклоны, нашептывания,

легко ломаются... Хоть этот Баневич. Послали его агитатором к шахтерам — справился. Лом собирать — справился. На разборке руин Варшавы лучшим был, грамоту получил. В самодеятельности работает, как черт: танцует, поет, представляет — некоторые даже говорят, талант у него. Поглядишь — подумаешь: золото, а не товарищ! А тут вдруг — бах!

Он снова спрятал лицо в ладони. Губы его жалобно искривились. "Не надо бы ему докучать в такой момент", — подумал Францишек. Однако сглотнул слюну и сказал:

— Слушай, мне уж надо поскорее за работу — с утра меня не было. Все, что я хочу сказать, — не больше, чем на пять минут. Так вот, вчера, когда я возвращался домой с районного собрания, встретил старого друга, с которым мы вместе по лесам скитались. Кстати, замечательный человек, заместитель нашего командира, сейчас — директор большой стройки где-то в провинции... — Он остановился и тяжело вздохнул. — Так вот: гора с горой, а человек с человеком и так далее... Зашли мы в ресторанчик, вспомнить старые времена, и — чего уж там скрывать — подвыпил я. Потом мы распрощались...

Кто-то опять постучался, и Францишек умолк.

— Войдите, — сказал секретарь.

Дверь приоткрылась: кто-то заглянул внутрь и, увидев, что секретарь не один, хотел уйти, но тот заговорил:

— Ну, входите же, входите.

Маленький, худенький господин с благородной сединой и нервными руками вошел в кабинет.

— Слушаю вас, гражданин Яжембовский, — сказал секретарь. — Не стесняйтесь, садитесь.

Достойный пан сел, положив свои нервные руки на колени. Искусственный след неоновой лампы поблескивал на его седине.

— Что скажете, гражданин Яжембовский? — спросил секретарь. Он посмотрел на Францишка и хлопнул себя по лбу. — Да вы же незнакомы! Наш новый главный бухгалтер — гражданин Яжембовский; товарищ Ковальский — заместитель начальника ОТК. Гражданин Яжембовский — наш новый сотрудник, — объяснил он Францишку. — Беспартийный активист. Берется в порядке общественной нагрузки вести у нас хоркружок.

— Да, именно, — подхватил пан Яжембовский. Он улыбнулся Францишку. — Пан, может быть, также изволит?

— Что?!

— Может быть, милостивый пан изволит принадлежать и петь?

— Я? — удивился Францишек.

— Ну да, естественно, а что милостивый пан видит в этом странного? — сказал Яжембовский с легкой обидой в голосе. — Каким голосом милостивый пан изволит располагать? Баритон? Тенор? Пожалуй, баритон: на бас дорогой пан — извините великодушно, если невольно обижу, — в моих глазах не выглядит. Сегодня после работы у нас первая репетиция — "Марш энтузиастов". Ну так как?

— Как уж там выйдет, — буркнул Францишек. Яжембовский достойно склонил седую голову.

— Буду ждать милостивого ответа, — сказал он.

Секретарь спросил:

— Ну, что хорошего, гражданин Яжембовский? Валите смело: по-нашему, по-рабочему.

— Ах, милостивый пан, — ошарашенным голосом сказал Яжембовский, покраснев от удовольствия, — это для меня несомненная честь — я имею в виду высказанную вами формулировку "по-нашему" — но, видите ли, — он устыженно опустил глаза, — я, к сожалению, то есть не по убеждениям, но, так сказать, — милостивый пан поймет — ни мать, ни родину не выбирают, — я являюсь... являлся дворянином. То есть с самого детства прогрессивных идей, главным образом, левых, но... — он изысканно развел руками.

— Ну так... — сказал секретарь. — Что слышно?

Яжембовский с хрустом сплел свои нервные, словно отдельной жизнью живущие ладони и цокнул языком.

— Вот именно, — ответил он подавленным голосом. — В том-то и дело, что ничего хорошего. Милостивый пан изволит понять меня правильно, ибо дело нелегкое для моей совести, безумно для меня неприятное, но с другой стороны — дорогой пан поймет, — попав в архитрудную ситуацию — долг поляка, человека левых убеждений...

— Смелее, смелее.

— Посылка, — рубанул Яжембовский.

— Что за посылка?

— Малиновская, из группы расчета. То есть: из моего отдела, — скромно дополнил Яжембовский, снова с изысканным поворотом головы.

— Ну и что?

— Милостивый пан изволил угодить, так сказать, в сердце-вину вопроса. Вот именно: ну и что?

— Не понимаю.

Яжембовский ударил себя в грудь.

— По моей вине, дорогой пан, по моей вине. Очевидно, я не сумел достаточно ясно выразить свою мысль. Малиновская из группы расчета получила посылку.

— Откуда?

Яжембовский поднялся на цыпочки. Он вознес руки горé, словно апеллируя к бесчисленным свидетелям.

— Тут-то и собака зарыта, — сказал он металлическим голо-сом. — С Запада.

— С За-па-да?

— С Запада. Кстати, она и не скрывает. Сама мне сказала. Даже угостила меня сигаретой, которую я позволил себе принять для пользы дела... — Он полез в верхний карман жилетки, вытащил оттуда сигарету и положил перед секретарем. — Пожалуйста — вот она.

Они уставились друг на друга. Потом секретарь присвистнул.

— Так вот какие дела...

— Вот именно.

Воцарилось глубокое молчание. Часы мучительно тикали на столе. Где-то в монтажных цехах испытывали мощный двига-тель, пуская его на полных оборотах: рев притихал и снова пиля-щим визгом вгрызался в череп.

— Посылка, — задумчиво сказал секретарь. Деликатно, кончиками пальцев он поднес сигарету к глазам и оглядел ее со всех сторон; покрутил, понюхал и, мотнув головой, отложил в сторону. — Сигарета, — сказал он, — а на самом деле черт-те что. Так всегда и начинается: сигареты, посылки, чулки, фигли-мигли, а потом оказывается...

Он вдруг умолк, и лицо напряглось так, словно сейчас с губ его сорвется могучая новая мысль, единственная в своей форме и выражении. Яжембовский бдительно замер, и Франциш-ку, который смотрел на него сбоку, казалось, что тот окаменел. Воцарилась смертельная, густая тишина; казалось, даже часы идут медленней.

— Благодарю вас, Яжембовский, — хрипло сказал секре-

тарь после долгого молчания. — Наша организация разберется в этом деле.

Он встал.

— Благодарю, — повторил он. Крепко пожал руку и, когда тот уже нес свою прекрасную голову к двери, еще раз повторил: — Благодарю вас, гражданин.

— Ах, да, — припомнил Яжембовский и обернулся к Фран-цишку: — Как с нашим кружком?

Францишек сжал челюсти.

— Посмотрим.

— Благодарю, — крикнул секретарь. Придвинул стул бли-же к Францишку, потрепал его по колену. — И что ты на это?

Он пожал плечами.

— Не знаю. Многие получают посылки оттуда.

Секретарь издевательски улыбнулся.

— Посылки, — повторил он. Наклонился, понизил голос до шепота: — Ты их не знаешь.

— Кого — их?

— Их.

— Так эти посылки проверяются, черт побери?

Улыбка превосходства не оставляла лица секретаря.

— Не знаешь ты их, и — все... — сказал он. — Ну, у тебя-то что хорошего? Вроде бы ты говорил, что мероприятие у тебя не выходит.

— Да не мероприятие, — с яростью ответил Францишек. — Забрали меня вчера в отделение, понимаешь?

— Тебя? В отделение?

— Да. Меня.

— Почему?

Францишек внезапно встал.

— Слушай, Ян, — сказал он, положив ладонь на плечо тому. — Ты меня знаешь, и тебе, надеюсь, я не должен объяснять, кто я, и что думаю, и почему я в партии. Но вчера я жутко напился... — Он сделал несколько шагов по комнате, потом обернулся к се-кретарю. — Я вчера оскорбил партию, — сказал он деревянным голосом.

— Ты?

— Я.

— Старик... — пробормотал секретарь. — Старик, что ты сказал?

— Я сказал, — продолжал, глядя в стену Францишек, — что на все это мне накласть. Я говорил еще что-то куда хуже, но даже они там, в милиции, постыдились мне повторить. А сам я не помню. У меня был такой момент помрачения в гневе, и все, что я в этот момент говорил, вылетело из головы, полная пустота.

— Старик, старик, — бормотал секретарь. — Что же ты наде-
лал? .. В каком это отделении?

— В сорок втором.

— Ах, — сказал секретарь со внезапным облегчением. — Черти бы тебя побрали, браток, но тебе повезло. Сейчас позвоним туда; у меня там знакомый, вместе учились, — может, удастся уладить.

Он взял трубку, Францишек придержал его руку.

— Нет, — сказал он. — Не в этом дело, Ян.

— Что такое?

— Я не хочу так улаживать это дело, Ян. Там все запрото-
колировано, там — черным по белому, что я враг, понимаешь? — Он покачал головой: — Это надо уладить по-другому. Я не могу сейчас доверять самому себе. В этом должна разобраться партия.

— Партия?

— Да. Люди, наши товарищи, должны признать мою право-
ту, понимаешь? Люди должны сказать, что верят мне, как до сих пор. И что мое место — здесь — по праву. Завтра собрание: поставь этот вопрос на повестку дня. Слушай — у меня сын, взрослый сын, тоже в партии. У меня дочь, которая тоже когда-нибудь всту-
пит в партию. Мои дети должны мне верить. И чтоб никто не мог им сказать: "Твой отец — это такой тип, он говорит одно, а думает другое..." Если даже я что-то и сказал, сам не понимаю, как это случилось. Я такого не думаю. Я так никогда не думал — иначе я не стоял бы сейчас здесь, перед тобой. Единство мысли, слова и действия — вот что создает человека. Так я понимаю верность и человека... Ты понимаешь меня, Ян?

— Понимаю, конечно, понимаю, — подтвердил тот. Он гля-
дел в окно, сквозь стекла просачивался скудный дневной свет, сражаясь тут, в комнате, с истерическим дрожанием неоновой лампочки. Секретарь охватил голову руками. — Что за чумовой день сегодня, — сказал он. — Сначала ты, потом Баневич с Маев-
ской, потом эта посылка... Сверху посмотришь — вроде посылка, а как же... И запломбирована, и опечатана, и проверена: кто-ни-
будь подумает, что и в самом деле... А тут, браток, один черт раз-

берется, что из этого может выйти... — Он тяжело посмотрел на Францишка. — Слушай, — сказал он в бешенстве, — мало мне хло-
пот? Ну, сам скажи и согласись. То Баневич, то посылка, то еще какая дрянь — а, черти бы то... — Он барабанил пальцами по столу. В цехах снова нарастал и затихал страшный вой двигателей. — И что тебя за язык дернуло? — спросил секретарь.

Францишек вдруг застыл, словно со всех сторон его обло-
жили льдом.

— Что ты сказал? — прохрипел он.

— Что тебя за язык дернуло? — повторил секретарь, глядя на запыленные стекла. — Ты, браток, задумайся: ты в партии? — в партии; партбилет есть? — есть; так же себя, черт возьми, как положено члену партии. А ты вместо этого в крик: "Верю, не верю, накласть..." Кто тебя, холера поберет, об этом спрашивал?

Он отшатнулся в последний момент — бронзовое пресс-
папье пролетело мимо виска. Стекло раскололось — рев двигате-
лей ворвался свежей, мощной волной.

— Сволочь, — прошипел Францишек. Он приблизился к не-
му, слепо вытягивая растопыренные пальцы. — Это ты? Первый секретарь? Это ты так говоришь? Я тебя... Я завтра... на собра-
нии... всем...

Он уже шел к двери сквозь красный гудящий туман.

— Францишек, — крикнул тот, — Францишек, да я же ни-
чего...

На пороге он разминулся с зетемповцем Близнячком.

VII

Партийное собрание началось в пять часов. Францишек едва
проглотил обед в заводской столовой и кое-как умылся. Застеги-
ваясь по дороге, он побежал в битком набитый зал; это был очень
маленький зал, и в нем так скапливался дым, что сквозь густую
завесу едва мерцали искренние улыбки вождей, а полные радости
лица ударниц и ударников обретали что-то таинственное и непро-
ницаемое, словно написанные кистью старых мастеров. За столом,
покрытым красным флажным полотном со множеством дыр
от как попало погашенных окурков, уже сидел первый секретарь,
товарищ Павляк, его заместитель — молодой инженер с подвиж-
ным кроличьим лицом, два товарища из контрольной комиссии и
представитель райкома. Францишек, проталкиваясь между тесно

поставленными стульями, нашел себе свободное место и сел. Его вопрос был в повестке дня третьим. Первый секретарь решительным жестом утихомирил зал и встал.

— Начинаем собрание первичной партийной организации при авторемонтных мастерских "Светлое будущее".

Он сложил руки для аплодисментов, но не успел начать, а весь зал уже хлопал. Это затянулось надолго; потом аплодисменты постепенно утихли.

— Принимая ваши аплодисменты за одобрение, — сказал он, и его возвышенный бас наполнил каждый уголок задымленного зала, — разрешите собрание считать открытым. На повестке дня самокритика товарища Яблонки, персональные дела товарищей Герватовского и Ковальского; разное; и дискуссия. Имеются дополнительные предложения? — И, прежде чем кто-нибудь успел бы ответить, первым захлопал.

Аплодисменты продолжались несколько минут, потом встал товарищ Яблонка.

— Товарищи, — начал он высоким, напряженным голосом. — Начну прямо, по-нашему, по-рабочему — я заблуждался. Чего там ходить вокруг да около, честному человеку всегда лучше сразу сказать: я заблуждался — и дело с концом. А то человек себе, бывает, подумает: а может, так поступить? или этак? А я — нет. Я говорю по-простому, по-нашему — я заблуждался, и всё тут. И такие разные мысли человеку в голову приходят. А зачем? Я себя спрашиваю — зачем? А то ведь человек, бывает, подумает: сделаю так или этак, а потом оказывается — заблуждался. Так я скажу сразу, по-простому, по-рабочему — заблуждался я, и всё тут, что бы там не знаю что. — Он поднял голос тоном выше. — Товарищи! — крикнул он. — Был голод, был капитализм, была нужда, люди умирали с голоду, пухли — я сам это видел, своими глазами, товарищи. Но пришел человек по имени Ленин. И люди пробудились, товарищи. И сами знаем, как и что, и знаем, что будет еще лучше. А я заблуждался, товарищи. Я еще ребенком — жучкам крылышки обрывал, мошкам; а с кошками и лягушками так уж такое вытворял, что если прямо сказать — не по-нашему забавлялся. Под моим окном однажды умер человек. А известно, товарищи, что сказал товарищ Сталин: человек — это звучит гордо. Страшные были времена. Был голод, была нужда, был капитализм, но пришел человек по имени Ленин. И в следующий раз, товарищи, — лопаты на отправку кузница доставит в срок.

Он замолк. Люди очнулись. Мощные аплодисменты сотрясли зал — хлопали все, даже те, кого сон приморил в начале собрания: оглядываясь вокруг отсутствующими и обалделыми глазами, они хлопали громче всех, чтобы поскорее протрезветь, согнать остатки сна с век и включиться в ход собрания. У некоторых товарищей в глазах стояли слезы, и, громко шмыгая, они лезли за платками. Старичок-бригадир сварщиков очнулся слишком поздно и, резко протерев глаза, крикнул: "Да здравствует!" Кто-то тут же прибавил: "Да здравствуют советские сварщики — строители Днепростроя!"; восклицание молниеносно подхватил весь зал, и несколько сот глоток долго возносило здравицы строителям Днепростроя, Магнитогорска, Комсомольска, донецким шахтерам, кубанским казакам, колхозникам Украины, белорусским партизанам, советским ученым, севастопольским морякам, героическим защитникам Сталинграда, отважным полярникам, Лысенко, Мичурину и Ольге Лепешинской — и закончили выкрикиванием славы работам товарища Сталина в области языкознания.

После самокритики товарища Яблонки в зале создалась теплая, сердечная атмосфера. Люди дарили друг друга улыбками, угощали сигаретами; радостно, с одобрением комментировали речь Яблонки. После краткого и неизбежного в таких случаях оживления взял слово первый секретарь; очертив в нескольких словах точку зрения Яблонки, он одновременно похвалил его искренность и горячую отвагу. Следующим пунктом было дело товарища Герватовского. Однако прежде чем уже вставший Герватовский сумел собраться с мыслями и заговорить, кто-то из зала выкрикнул:

— У товарища Новака эрдель-терьер по кличке Самба. Я спрашиваю: почему Самба? Пора с этим покончить раз и навсегда.

Францишек узнал по голосу молодого Близнячка.

— Это в пункте "разное", — раздались голоса. — В пункте "разное".

— Чего ждать? — кричали другие. — С такими вещами сразу надо кончать, правильно. Сегодня Самба, а завтра что? Корейских детей напалмом поливать, да?

— Больше бдительности, товарищи!

— Это всем нам плевок в лицо!

— Самба!

— Жаль, что не бомба!

— Вот кто вас вдохновляет, товарищ Новак!

- Из рамок выходите!
- Был голод, была нужда, был капитализм...
- Кладите билет!
- Такие в Корее в женщин и детей стреляли!

Товарищ Новак встал и дрожащим голосом объяснил, что собаку купил уже привыкшую к этому имени, что он пытался назвать ее Букетом, но собака не реагировала, а один раз даже покусала теще ноги; однако он дал слово, что сегодня же начнет звать пса Шарик, хоть бы это повлекло величайшие жертвы. Снова поднялся гам, но утих, и собрание пошло дальше.

— Я, товарищи, — начал Герватовский, седой слесарь с пышными усами, — буду говорить коротко, по-нашему. Я человек простой и не люблю, как некоторые: тары-бары... Я прямо себя спрашиваю: правда это, что человек родился от обезьяны?

Зал замер в изумлении. Люди глядели друг на друга тупо, с диким ужасом. Брови представителя райкома поднялись до самых волос, кроличье лицо второго секретаря замерло в стадии рыльца. Первым подал голос Близнячек — он присутствовал на собрании как представитель молодежной организации.

— Товарищ Замодзинский собирает наклейки от бутылок...

— Тише, товарищ Близнячек, — посыпались голоса. — Это в пункте "разное". Сейчас пусть Герватовский говорит. Смелее, товарищ Герватовский.

— Смелее, — сказал представитель райкома.

— Смелее, — сказал Павляк.

— Смелее, — произнесли одновременно Близнячек и второй секретарь.

— Ну, так я и говорю, — произнес Герватовский. — Правда это, что мы все — от обезьянов?

— От обезьян, а не от обезьянов, товарищ Герватовский, — поправил Близнячек.

Герватовский повернулся.

— От чего?

— От обезьян.

— Вот и я говорю: от обезьянов, что ли?

— Минуточку, — сказал представитель райкома; его брови уже вернулись в исходную позицию. — Но по поводу чего вы спрашиваете?

— Ну, так ведь как же это: человек от обезьяны?

— Ну и что из этого?

Герватовский покраснел от злости.

— Сын ко мне приходит и говорит: "Папа, это правда, что человек происходит от обезьянов?" — "Иди, щенок, — говорю я, — а то как дам пинка, расхочется тебе обезьянов. Пошел учиться!" — "Когда так учат, — говорит мне. — Прямо в книжке написано". — "Где? — говорю. — Давно ремнем не получал?" — "А вот", — говорит. Беру, читаю, глазам не верю, читаю и думаю: "Не свихнулся ли я на старости лет? Или у того, кто это напечатал, не все дома?" А там написано, не вырубил топором, — от обезьянов, и все тут. Дал щенку оплеуху, а сам в воскресенье пошел к учителю.

Он остановился.

— И что?

— Возможно ли?

— Что возможно?

— Что мы от обезьянов?

Вскочил Близнячек, чуб его встал дыбом, как щетка.

— Что вас волнует, Герватовский? Не все ли вам равно, кто был ваш прапрадедушка? Это проблема науки, а не социального происхождения. Так это и воспринимайте.

Лицо Герватовского полиловело, шея стала пунцовой, а усы подпрыгнули кверху.

— Говно, — проревел он. — Молчи, сопляк. Мой дед был кузнецом у Герлаха, и ты им соплей не утирай.

Он погрозил кулаком.

Посыпались крики:

— Подрывная работа.

— Бдительность хочет ослабить.

— Агент.

— Передать дело в органы. Нечего цацкаться.

— Враг народа.

— Сколько долларов получил, Герватовский?

— Знаем таких: на людях про обезьян, а за спиной — песок в машины.

— Товарищи, не дайте себя обвести.

— Был голод, была нужда, был...

— Тише, товарищи, — крикнул райкомовец. Повернулся к Герватовскому: — Ваше дело рассмотрит бюро... — Он остановил на нем взгляд. — Партия этого от вас не ожидала, — заявил он сухо. — Понесете последствия.

Герватовский сел, недоуменно моргая. Первый секретарь объявил:

— Дело товарища Ковальского.

Францишек встал. Огляделся вокруг: в клубах дыма он не мог разглядеть ни одного лица, все казались ему далекими, никогда не виденными и мертвыми.

VIII

Из темных улиц резко налетел ветер; он поднял обрывки плакатов и понес их по пустой площади. Вторая смена уже работала: то ветер, то рев двигателей и визг станков давили на уши. Он прошел ворота и вышел на улицу; улица убегала далеко в темноту, а где-то в конце ее, в мертвых кругах газовых фонарей, вихлялись пьяницы; их тени то, сжимаясь, ползли по земле, то, удлинняясь, скользили по слепым окнам домов. Мостовая была мокрая и склизкая. Францишек глядел под ноги: в лужах, как толстые черви, плавали звезды. Из какой-то подворотни вышел сутенер:

— Пан барин, — сказал он, приподнимая шапку, — у меня сегодня невеста не занята...

Францишек молча оттолкнул его и пошел дальше. Он запрокинул голову и изо всех сил глотнул воздуха — где-то на дне его легких залегла чугунная болванка. Он шел, все время спотыкаясь, — глядеть в небо было лучше и легче. Над крышами жалко корчилась туманная луна; мрак все густел — липкий и непроглядный, он душил больные звезды и сбившийся в кучу город. Прошел, звеня подковками, военный патруль. Луна внезапно пропала, проглоченная грязной тучей, — солдаты прошли, недоверчиво глядя в темень и мокрую пустоту.

"Конец. Точка. Такая же луна была тогда. Такая же весна, недоношенная и хвора, как и эта. Небо было серое, земля черная, деревья — тоже; только следы от пуль, светлые, как молоко, и свежие, говорили о весне. Да, это было тогда. Мы стояли с Ежи перед бункером. У нас был хороший бункер: с сосновой засыпкой и реквизированным ковром, спало нас там человек сорок. Ежи сказал, чтобы я пошел в имение — километра за три-четыре — и, под видом реквизиции, принес немного жиру и муки. Я взял трех парней, и мы уже собирались в путь — чем темней, тем лучше, чем

глубже в сердце ночи — тем лучше; кого встретил и узнал ночью, запоминаешь ненадолго, хотя первое время помнишь остро. Мы уже уходили, но тут вышел фельдшер. "Принесите немного спирта, раны промывать", — сказал он и поставил перед нами канистру. Я разозлился. "В кабак, что ли зайти, а?" — спросил я. "Дурень, в полкилометре не доходя до имения — винокурня. Я винокура знаю, свой человек, живет рядом, в маленьком домишке. Ничего не станет спрашивать — он уже не раз помогал партизанам"... Он дал мне канистру — в белой жести отразилась тупая морда луны. Я вздрогнул — что-то в этом было отвратительное. "Тебе холодно?" — спросил Ежи. "Нет", — сказал я. "Возьми мой кожан". — "Спасибо, обойдусь". И мы пошли. Было нас четверо: я и три парня, тащили рюкзаки — самые большие, какие нашлись. Парни были молодые: двое деревенских, один — краковский пройда, не любил я его. У него было несколько золотых зубов и что-то крысиное в лице; лапы у него все время потели, и тщетно протирал он их спиртом, нарываясь на гнев фельдшера, да и от командира тоже пару раз получил по уху. Почему именно его я помню так хорошо?"

Возле стенки лицом в собственной блевотине лежал пьяный. Францишек машинально остановился и наклонился к нему, долго тряс его за плечо, но тот так и лежал, как колода, не приходя в сознание. На стене было написано мелом: "Манька — блядь. Живет на первом этаже. Звонить два раза". Немного дальше: "Руки прочь от Кореи". И еще дальше: "Мин нет. Сержант Блотняк". По скользкой мостовой проехал мутный отсвет фар, над городом полыхал огненный неон: МОЛОДЕЖЬ ЧИТАЕТ "ШТАНДАР МЛЮ.Х", две буквы давно перегорели, это выглядело как выбитый зуб. Францишек пошел дальше; девчонка с трупным лицом спросила:

— Пупсик, а пупсик, далеко ли идешь?

Дальше потянулись грязь и темнота, утопанные в лепешку. Францишек брел бездумно, земля под его ногами злобно ворчала и булькала. В одном окне нижнего этажа горел свет, по занавескам проплывали сухощавые тени танцующих, репродуктор верещал: "Пан Сковрон, пан Сковрон..." Францишек повернул налево, тут был свет, резкий, ясный и шипящий, — трамвайщики сваривали дугу поворота: залитые голубым сиянием, в голубых масках, они выглядели как привидения с того света.

"Ага, знаю, почему я так не любил этого парня: он был остро слов, знал тысячи, миллионы анекдотов — на все про все у него находился случай или словечко. Однажды он рассказал — когда? — как раз в ту ночь: двадцать пять рабочих огромными клещами ночью, как эти здесь, перетаскивают длинную трамвайную рельсу. Подвывают: Раз-два, взяли! Рельса ползет вперед — метр за метром. Приходит начальник работ и качает головой: "Панове, не так". Берет рельсу один и переносит ее на двадцать метров. Рабочие презрительно усмеваются: "Силой — это каждый дурак, — говорят они. — А ты попробуй уменьем!" Иценек. В ту ночь он особенно разболтался, и в конце концов я ему сказал: "Может, заткнешься, а?" Деревня была уже близко, мы свернули по тропинке на винокурню, долго стучали, наконец вышел винокур — в подштанниках и кожухе, с опухшим от сна лицом, и все моргал. Взбеситься можно было, глядя на его прыгающие веки. Он провел нас к бочке, мы выпили по хорошему глотку и, набрав полную бутылку, двинулись дальше. Винокур, почесывая заросшую седыми космами грудь, спросил: "Долго нам еще свободы дожидаться?" Я ответил ему что-то не в склад, не в лад — чем дольше человек воюет, тем меньше думает о свободе, — винокур кивнул головой и сказал: "Помогай Бог партизанам". И снова мы лезли по грязище, держась за изгороди, наконец добрались — усадьба, не слишком богатая, не слишком запущенная; по чистоте аллеи, белизне штaketника, старательно окопанным клумбам и закутаным в солому деревьям легко было понять, что здесь хозяйничает твердая рука. "Оружие наизготовку", — скомандовал я, и раздалось щелканье затворов. У меня пистолета не было — револьвер, тяжелый и большой. Все надо мной смеялись, они любили парабеллум, пятнадцатизарядный ФН, я же всегда предпочитал надежный револьвер: пистолет боится воды, песка, хоть капельки ржавчины, а револьвер и в болоте стреляет. Долго мы стучались — парни уже чертыхаться пошли — наконец вышла какая-то бабенка, писк, замешательство, — за ней, разводя руками, барыня. "Ничего нет, господа, — говорит, — сама едва перебиваюсь". И вдруг — бах, в обморок. В вазе цветы стояли — черт ее знает, откуда у нее в это время года цветы, — плеснул ей водой в лицо. Уже начала в себя приходить, я говорю парням: "Идите в копильню, я ею сам займусь". Пошли. Присел возле нее на корточки и вижу широко раскрытые подлые глаза: с немцами нас поджидала. Тех трех, что пошли в копильню, в секунду прикончили — чуточку выст-

релов, дыму и крику. Я всадил немцу — в упор — пулю в брюхо, выскочил во двор — очередь прямо над моей головой расщепила оконницу, и первое, что я сделал, — схватил, не думая, канистру со спиртом, пробежал с ней несколько десятков метров и выронил только тогда, когда в легких у меня взорвался какой-то бешеный свет, озаряя на миг все внутри меня и снаружи; я бежал, зажав револьвер в горсти, словно к центру солнца, — в дождь, грязь и разодранную выстрелами ночь. Проснулся пес и погнался за мной, заливаясь, потом другой, третий, а потом все собаки вселенной бежали за мной по грязи и по моей крови; я чувствовал ее уже в поясице, потом — в штанах, потом — в носках. Я не знал, насколько хватит мне сил продираться в ночь, в лес, в гущу деревьев, с разорванным дыханием и куском свинца где-то возле сердца и легких — я его чувствовал, чувствовал все сильнее, он рос во мне с каждым шагом, словно живой; я знал одно — бежать, бежать как можно ближе к своим; бежать и не споткнуться: шаг, на котором подо мной подогнутся колени, будет моим последним шагом — здесь. Где-то позади меня, лязгая по стеклянному щиту неба, — слепо и ненавистно в мокрой, набухшей ночи — булькал автомат".

По середине мостовой прошли два милиционера; туманно поблескивали их стальные бляхи; Францишек, захваченный кругом света ручного фонаря, машинально перешел на другую сторону улицы; он снова шел вдоль какого-то забора, оклеенного плакатами, — их трепал гниlostный ветер; они напоминали, угрожали, уговаривали; заключенные в них смыслы мира дремали в ночной пустоте. Где-то в конце улицы раздалось пение — Францишек обернулся: твердые тени двух милицейских столкнулись с третьей, расплывчатой, — пение умолкло, обратилось в бормотанье; вместе с бульканьем воды по водостокам его всосала ночь.

— Осторожно, — крикнул кто-то позади. — Пан ослеп, что ли?

Он остановился: прямо под ногами была канава — рабочие, роющие канализацию, ушли, ничем не защитив разрытого. На дне ямы радостно пели испорченные трубы, дохнуло клоакой.

— Спасибо, — сказал Францишек. — Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Он прикоснулся ладонью к краю шляпы — она была влажная, липкая.

"В конце-то концов я упал: после скольких-то там шагов сквозь темноту, пульсирующую болью. Я полз в грязи и воде в сторону леса, туда, где темнота была самой плотной. Я не чувствовал боли: тогда я думал только о грязи; грязь наполняла меня всего — я ощущал ее во рту, под веками, в носу и ушах; меня мучила абсурдная мысль, что грязь — через рану? — проникнет и в легкие. Сзади меня были собаки, выстрелы и хлюпанье быстрых шагов. Я повернулся на бок: темные фигуры бежали ко мне через голые скользкие поля. Сколько их было? Сколько метров отделяло их от меня — не знаю; знал я только одно — ибо есть минуты, когда человек вдруг ощущает себя вышелушенным, лишенным всех мыслей, кроме одной-единственной, ни о чем другом даже насильно не мог бы подумать, — тогда это была мысль, как уберечь последнюю пулю для себя. Я не доверял рукам: палец солдата слишком скор; я вырвал пулю из барабана и взял ее в рот. Потом — в какую-то проклятую кочку — упер локоть и целился в первого, ближайшего: я целился долго — секунду, мгновение, целую вечность; потом мою руку тряхнуло, бегущий надломился и кроличьим движением — тряпочной головой под себя — нырнул в грязь; это прозвучало, как чавканье большой собаки. Я снова нажал курок, держа пулю под языком, — я отчетливо чувствовал ее сладковатый, медный вкус — и снова мою руку тряхнуло, дуло подскочило кверху, коротко и резко, как голова боксера. Я видел вспышку с той стороны — такое желтое дуновение — прямо перед моим лицом всплеснулся фонтан грязи, забрызгивая глаза; я поднял руку протереть веки, и тут какой-то огромный нож отрезал от меня все, всю шелуху мира — боль и выстрелы, пули и крик, и унылую темноту над близким лесом".

— Трахни меня! — кричала какая-то пьяная женщина; он проходил мимо вонючей подворотни. — Ты плотник, а не святой Иосиф... — В подворотне сцепились; мужчина ударил ее по лицу; удар прозвучал так же мерзко и липко, как шлепанье шагов по грязи; Францишек затрясся как водой окаченный.

"Я умирал; парень, который когда-то, на гражданке, был плотником, сделал мне носилки — жалкую берлогу из досок, провонявшую моей кровью и гноем; как-то раз я попросил — после всего, когда я уже сдохну, сжечь эти доски, и чтобы никто до них

даже не дотрагивался. Я сдыхал: об этом знал и я, и командир Ежи, и все те парни, что тащили меня с места на место, спотыкаясь по лесным корневищам, по колеям размокших дорог, по поясам утопая в грязи, затягиваемые тяжестью моего одра. Они говорили — ведь умирающий только сон, про него все можно сказать: "Обеими ногами в могиле". Спрашивали друг друга: "Тело дошло уже?" Были переходы, стоянки, передышки, бегства. Однажды, на долгом привале, парней принимали в партию. Это трудно объяснить: завтра они могли уйти отсюда в вечность любым путем, который туда — в эту пылающую пустоту — ведет; но эта краткая церемония была единственным подлинным куском той нашей жизни, к которой мы шли или которая шла к нам; только это, больше ничего. Я окликнул Ежи; он был и останется самым близким мне человеком; для безразличных нам людей у нас есть место в сердце — мы впускаем их и изгоняем; для любимых нами — рана. Он пришел — худой, спокойный, холодный.

— Ну, как? — спросил он.

— Порядок. Что с той, Ежи?

— С какой это — с той?

— С помещицей.

— Как ты думаешь?.. Через пару дней.

— Там, на месте?

— В городе.

— Ты с ней договаривался перед тем о реквизиции?

— Ясно. Да тебе-то все это зачем?

— Сдохну я.

— Еще неизвестно.

— Я точно знаю. Пока жив, хотел бы узнать: кто ее уложил?

— Я.

— Ты?

— Я тоже могу сдохнуть. Надо успеть все уладить: все, что нужно уладить.

Мы помолчали. Я помню, где мы разговаривали — в какой-то задымленной хате. В углу бормотала молитвы старуха, по подоконнику лазил осовелый кот.

— Ежи, — сказал я, — вы сегодня ребят в партию принимаете?

— Двоих.

— Примите и меня.

Он молча наклонился ко мне и поглядел пытливо. Не отводя глаз, сказал тем же безразличным тоном:

— Неизвестно, выцарапаешься ли.

— А если нет — то что?

Он улыбнулся. Взял кота на колени и погладил его покатый лоб.

— На кой черт партии покойники?

— Если ты человек, — сказал я, — и если другие тебя считают за человека, то хорошо, что я с вами прощаюсь.

Он встал.

— Шуточки оставьте до моих похорон, — сказал я.

— Похорон не будет, — сказал он. — На похороны никогда не остается времени.

Он мягко поставил кота на лапы и ушел; я продолжал метаться между жизнью и смертью, в некой неясной точке бытия, бессильный и безвольный, как птица, уносимая высоким ветром; блевал, бредил, отводишь взгляд от заскорузлых кровавых бинтов — проходили дни, часы и недели, болезненно резиново-тягучие; я вымаливал жизнь, смерть, лекарства, револьвер; я давился ненавистью к другим, и другие платили мне ненавистью, с усилием таща мое исхудалое, достойное презрения тело — лиловые кости, обтянутые желтой, обветшалой кожей, — а потом пришел день, когда я знал, что готов умирать хоть на каждом рассвете, — знал, что я жив. Уже ковылял.

— Ну, — спросил как-то Ежи, — ты в порядке?

— Да.

Он сел. Принялся скручивать сигарку, мучительно морща лоб; это всегда давалось ему с трудом, хоть пальцы у него были ловкие и сильные. За несколько лет партизанщины от так и не научился вещи, которую легко одолевал любой молокосос за неделю пребывания в лесу; и теперь я видел, как у него, наклонившегося над упрямой, скользкой бумажкой, глаза побелели от злости. Наконец он закурил.

— Знаешь, почему я так сказал — тогда?

— Меня это не касается. Ты — командир. Не мое дело — копаться в твоей совести.

Он улыбнулся.

— Слушай, — сказал он. — Я не хотел, чтобы ты думал о партии, как о святых дарах. Сейчас война: надо думать, как победить и выжить. Ты должен жить, Францишек; для таких, как

ты, война не скоро кончится — может быть, никогда. Только тогда инстинкт жизни действует безошибочно, когда человек способен осознать, что ему еще что-то остается. Что-то, чем он хотел бы обладать или к чему принадлежать. Месть, друзья, женщина — что-то должно тащить тебя за волосы и твердить: встань и борись. Когда ты сдыхал, у тебя в жизни это дело не было улажено. Уладишь его теперь, при случае.

— Храбрый ты, Ежи, — сказал я. — А ну как я все-таки отпартовался бы в облака?

Он пожал плечами.

— Устроили бы тебе похороны, несмотря ни на что, — сказал он. — Хоть, сам знаешь, нет времени на это.

— Храбрый ты, — повторил я. — Такие слова могут добить человека.

Он сражался с самокруткой — крутил и крутил предательскую бумажку.

— Не знаю я, что такое храбрость на самом деле, — сказал он; сигарка между тем все раскручивалась и раскручивалась. — Всю жизнь об этом думаю. В молодости это представлялось иначе: вынести человека из горящего дома, вытащить утопающего, совершить военный подвиг, переспать с собственной бабкой и так далее. Теперь все это надо переоценивать: все, что обычно свидетельствует об отваге, все такие обстоятельства всегда ставят человека в ситуацию ненормальную, из ряда вон выходящую; а по существу спасти другого во время боя, атаки или пожара — это ничего не говорит о человеке, только о его реакции. Ненормальные обстоятельства — и реакция ненормальная; нечего предвидеть — нечему и удивляться.

— Но существует же что-то такое, что можно назвать нормальной храбростью?

Он помолчал; сигарка окончательно рассыпалась; он растирал в пальцах остатки табака.

— Думаю, да, — сказал он. — Храбрость — это, пожалуй, только дело доверия. Мир, Францишек, это куча зверей, блуждающих в дерьме. Человека легко определить и исчислить по его низости — скотина беспредельная: все исполнит, всему поверит, все опошлит. Храбрость, та, настоящая, — это умение найти верхнюю, высшую границу человека — насколько можно ему поверить и что он способен совершить. Так я понимаю коммунизм. А ты? Я вот поверил, что ты выживешь.

— Чтобы убивать?

— Во имя жизни.

— А те?

— Что те?

— Они так же думают.

Он пожал плечами.

— Не знаю, что они думают, — сказал он. — Знаю только, во имя чего они убивают, и это важно для меня в этой войне. Я знаю, что они сделали с человеком, и знаю, чего я желаю для человека; это дает мне право вступить в игру. Я жажду таких времен и такой земли, где человек может быть по-настоящему храбрым, ничто другое меня не интересует.

Он встал, его ботинки неприятно заскрипели.

— Не старайся найти во время войны оправданий, которых не существует, — сказал он. — Все, что ты можешь, это думать о мире, в который ты хочешь вернуться. О местах, в которых ты хочешь жить. Расстояние от действительности до мечты определяется нравственностью человека, и ничем другим. Нет у тебя настоящей сигареты?

Он закурил. Мы пошли дальше: куда? как? в какое место жизни, сна, войны? — не помню. Мы подходили к какому-то городку, было нас меньше десятка. Нам надо было на ярмарке распознать одного остряка, доносчика гестапо, и послать его в вечность. Был полдень. Августовский воздух, плотный, как сыр. Когда мы вышли из лесу и город лежал под нами, словно бесформенная лепешка, слепленная из красноватой грязи, — зазвонили колокола, уныло раскачавшиеся и бессильные в знойном воздухе. Потом завывала фабричная сирена; в этой дыре, насколько я знаю, одна только фабрика и была.

— Тип у сирены, видно, задремал, — сказал Ежи.

— Почему? Может, пропускает церковь вперед?

— Идите налево, мы — направо...

Такси с визгом затормозило в нескольких шагах позади Францишка. Он по-заячьи отпрыгнул в сторону. Шофер высунулся, разозленный.

— Что, пан, сигнала не слышишь?

— Простите, задумался, — сказал Францишек, глядя на свое заляпанное пальто.

— Куда идете? — спросил шофер; мотор выпускал клубы черного дыма. — Могу подвезти.

— Спасибо, — сказал Францишек. — Я пешком дойду.

Машина отъехала, далеко за углом обломился свет ее отражателей. Кварталом дальше улица вдруг просветлела: на стройке работала ночная смена, среди каменных стен колотился скользкий визг экскаваторов — крупные блоки, раскачиваясь, словно большие, бесформенные птицы, постепенно въезжали наверх. На темных, вплавленных в пустое небо балках поблескивали зеленые огоньки сварщиков: бесформенные люди-пауки в ореолах железного огня. Во рвах монотонно шипели компрессоры: надпись на доске гласила: "в этом месяце мы выполнили..." — цифру скрывала тень.

— Куда, пан, лезешь, — крикнул Францишку кто-то невидимый. — Стройка, тут болтаться не положено.

"Мы строим все с фундамента; если не стесняться громких слов — от самых истоков, — сказал сегодня на собрании — кто? — не помню. — Мы строим то, за что гибли не десятки и не сотни людей, но целые поколения; как только двое людей взглянули друг на друга в этом мире, так и началась борьба за социальную справедливость. Социализм окончательная форма этой борьбы — аплодисменты; партия ее орудие — аплодисменты; жертвы, которые понес социализм — аплодисменты; перерыв на пять минут — а дальше что?"

Он был утомлен, с трудом плелся сквозь ночь и ее смутные отзвуки; в нем пульсировала темная волна, нараставшая с минуты на минуту. Теперь он шел сквозь пустоту, сквозь химически чистую местность, с чугунной тяжестью в голове; он ничего не мог из себя выжать — ни мысли, ни действия. Одного он жаждал: еще раз пережить то мгновение, которое он пережил всего несколько часов назад, хотя иная жизнь отрезала его от этой минуты: годы, океаны, вселенные, которые он прошел и перестрадал с грузом поражения, одинокий, ненужный и скошенный. Он плыл сквозь какие-то места своей жизни, не умея уловить их времени: прошлое, настоящее, воспоминания и факты — все было текучим и неясным; он думал только об этой минуте, которая стала ядром космоса; о минуте, когда чей-то голос приказал ему положить партбилет. Это было, как есть эта улица, по которой он шел сейчас, как жалкий рассвет, проклевывающийся над камнями города, как неон, отчетливый и уговаривающий: МОЛОДЕЖЬ ЧИТАЕТ — куда бы ты ни скрылся, ни сел, ни стал. Он поднял голо-

ву кверху — МОЛОДЕЖЬ ЧИТАЕТ ШТАНДАР МЛОДЫХ — и отчаянно глотнул воздуха. Он хотел подумать, хотел припомнить, но ничего уже не мог: его мысли вращались, как свинцовый диск в вакууме, и ничто — как два влажных кремня — не давало искры; он помнил только мгновение, когда встал и поглядел в лица присутствующим; ничего, что говорил и делал он; ничего, что говорили и делали другие. Но он жаждал мыслить, запустить в себе механизм сознания; он жаждал напасть на след. Он поднял с земли измятую газету и остановился в кругу света от уличного фонаря: "Тарнув на передовой линии", "Всемирный лагерь...", "Польская молодежь бросает в лицо Калужинскому свое мощное НЕТ". Он шел, держа газету в опущенной руке; это помогло, он нашел след — слова, уложенные всегда одинаково, звучащие одинаково, навели его мысли на правильный путь; он был, он помнил. Остальное, как и дата газеты, было безразлично.

"Мы всегда думаем, что самое мучительное, что может случиться, — это смерть близкого нам человека. Он оставляет за собой пустое место, мы — ощущаем эту пустоту в себе: любим, почитаем и лелеем; иногда проходят годы, прежде чем эта пустота затянется и перестанет болеть. Но хуже смерти, товарищи, предательство близкого нам человека; хуже — потому что за это опустелое, раненое место в нашей жизни мы сами несем ответственность — громкие, продолжительные аплодисменты — кто это сказал? Павляк? Второй секретарь? Представитель райкома? Кто-то из зала? Вот я иду теперь один сквозь город, прохожу мимо спящих, пьяных, шатающихся и влюбленных, о которых ничего не знаю, — а кто-то ко мне обращался, кто-то обладал властью, кому-то верят другие, кто-то мог меня вычеркнуть. Был день, настала ночь, наступает рассвет — кто это сказал? Где-то между стенами этого города есть мой дом, куда я вернусь — другим; где-то — направо, налево, на восток или на запад — место моей работы, куда я пойду сейчас — другим; вокруг меня люди, которым я чужой, но кто это сказал? — Громкие, продолжительные аплодисменты. Случай сорвал с вас личину. Вы сказали то, что на самом деле думаете. Я проверял в отделении и не смею даже повторить, что вы там говорили — возмущенные выкрики, что вы там наговорили — кто-то захлопал, ошибка; выкрики гнева и возмущения; я слишком уважаю то, во что верим мы все. Вы чужой. Чужой. Мы от обезьянов? Был голод, был капитализм, была нужда. Я спрашиваю, товарищи: почему Самба? Такие в Корее — на-

палмом. Если бы не случайность — вы оставались бы среди нас, делали бы свою черную работу — бывший партизан, офицер, член партии. И пришел человек по имени Ленин. Кто за исключение товарища Ковальского из партии, поднимите партбилеты. Выйдите, товарищ Ковальский — Ковальский, войдите. Почему Самба? Сегодня собака, а потом — что? Что? От обезьян, а не от обезьянов. Положите билет, Ковальский; не ломайте комедию, мы знаем, что вы умеете маскироваться. Пусть этот факт научит нас, товарищи, что в любую минуту нашей жизни, в любой ситуации мы должны быть бдительны, этого требует от нас партия, этому учит нас великий Сталин. Ну, а как же с нашим хоркружком? Завтра начинаем..."

— Напился, — крикнул какой-то подросток. — Большой, а плачет.

Тротуары наполнились людьми, выли фабричные сирены, их голос таял где-то под картонным небом. Проехал битком набитый, визжащий скандалом трамвай. Неон над городом погас.

IX

Жены у него не было; она умерла через несколько недель после войны, когда он уже вернулся из леса; слабая, болезненная женщина, она все время перемогалась, словно откладывая смерть до его возвращения. Теперь он жил с сыном и дочерью; сына звали Миколай, дочку — Эльжбета; Миколаю, изумительно красивому парню, было двадцать четыре; Эльжбета была младшая. Они занимали две маленьких комнаты в новом районе. Когда Францишек на следующий день после собрания вернулся домой, он застал Эльжбету с ее женихом Романом; оба были веселые и радостные; они вместе учились и собирались пожениться сразу после защиты диплома.

— Есть что на ужин? — спросил Францишек. Он стоял посреди комнаты, не сняв ни плаща, ни шляпы.

— Сейчас разогрею, — сказала Эльжбета. Она встала; была она высокая, крупная, светловолосая. Францишек нередко смотрел на нее со сжимающимся сердцем; у него возникало чувство, что он глядит на ту женщину, с которой два десятка лет назад прожил лучшие мгновения своей жизни; между Эльжбетой и матерью никто не нашел бы различия; обе выглядели как символы здоровья — обе всю жизнь еле держались на ногах. — Разо-

грею тебе макароны, — сказала Эльжбета. — Могу еще сделать яишницу... — Она вышла в кухню. Францишек напряженно сидел на стуле.

— Ну, тестюшка, — сказал Роман, чернявый, низкорослый парень с горящими глазами. — Что там? Огорченьица? — Роман называл Францишка "тестюшкой", "старичком", "фатером"; сухой и неприступный Францишек многое ему прощал, глядя на тупые от любви глаза дочери.

— У всякого свои огорчения, — сказал он и тут же замолк; его подавила глупость собственных слов.

— Это вы ловко заметили, — сказал Роман. — А мы сегодня с Эльжбетой экзамен пропили.

Францишек вздрогнул:

— Как это?

— А вот так. Сдали экзамен и выпили бутылку вина. Хе-хе-хе.

Францишек вздохнул с облегчением.

— Слава Богу.

— Что?

— Благодарение Богу.

— Метафизическое понятие. Небось, знаете, фатер, что религия — опиум для народа. Верно?

— Верно.

— А кто это сказал?

— Я устал, — тихо ответил Францишек. — Оставь меня в покое, Ромек.

— Просто не помните, батенька. Это фатально: сколько ошибок можно совершить, когда память начинает отказывать. О памяти гениально писал Ленин, когда сообщал в письме своему другу, что ему нужны деньги на изгнание плода.

Францишек широко раскрыл глаза.

— Роман, что ты болтаешь? Где такое написано?

Роман удивился:

— Не помните?

— Нет.

— Да ну?

— Правда же, нет.

Роман заломил руки.

— Да не может быть!

— Честное слово.

Роман торжествующе засмеялся.

— Ну, конечно, это неправда, — сказал он. — Я хотел только проверить, поддастся ли наш папенька на такую чушь.

Он говорил что-то еще, очень быстро и громко, важно и твердо, — он вел большую общественную работу в институте и, обращаясь к одному человеку, говорил так, словно перед ним была миллионная аудитория. Тени его подвижных рук бежали по потолку, Францишек не слушал — он смотрел на Романа из-под полуприкрытых век и, хотя ее не было в комнате, видел рядом с его смуглым лицом чистое и суровое лицо Эльжбеты. "Вот оно как, — подумал он. — Этот маленький черный жучок и ты — спокойная, светлая и чистая. Твой покой и его нахальная быстрота; он разрешает все вопросы в одну секунду — те, с которыми ты мучалась бы неделями. Он все может тебе объяснить, и все сходится, как в таблице умножения. Он твой шут и колдун; и ты, моя маленькая, думаешь, что любишь его. Как выглядите вы в такие минуты — этот лающий карлик и ты?"

— Эльжбета, — прикрикнул он. — Я спешу.

Она вошла в комнату с дымящейся тарелкой на подносе.

— Что ты, что Миколай — вы оба воображаете, что все делается само собой, — сказала она. — Или что мне на кухне дюжина гномов помогает.

— Дюжина не дюжина, а од... — начал Францишек и прикусил язык. Он снова вспомнил, что Эльжбета взрослая и не обязана спрашиваться у него и советоваться, и снова не мог смотреть на них вдвоем.

— Что?

— Ничего, обжегся. Когда Миколай придет?

Она посмотрела на часы.

— Уже пора.

— Он всегда опаздывает.

— Всегда.

Францишек знал, что Миколай и Роман друг друга не выносят. Как только он хотел сплавить Романа, сразу заговаривал о Миколае — результат был немедленный. На этот раз он тоже правильно рассчитал: Роман заходил по комнате, наконец объявил, что спешит и придет завтра. Они долго прощались с Эльжбетой в прихожей, Роман ухитрился еще несколько раз сказать "Наше вам, тестюшка"; наконец хлопнула дверь, и Францишек вздохнул с облегчением. Эльжбета вернулась в комнату.

— Не люблю я его, — сказал отец.
 Она кивнула головой.
 — Я знаю.
 — Мне очень жаль.
 — Мне тоже. Но ты хотя бы понимаешь это.
 — Стараюсь.
 Она сдержанно улыбнулась: — Ты потрясающ.
 — Можешь ли ты мне искренне ответить на один вопрос? Со всей искренностью, на которую ты способна?
 — Попробую.
 — Я хочу только, чтобы ты сказала: да — или нет.
 — Хорошо.
 — Ты его любишь?
 — Ты же знаешь.
 — Очень?
 — Так сильно, как только могу.
 — Ты в этом уверена...
 Ее светлые глаза засияли. Он вздохнул.
 — Да, — сказала она.
 Он хотел спросить обо всем в их взаимоотношениях, но вдруг устыдился. "Зачем я веду с ней такие разговоры? — подумал он со злостью. — Просто боюсь или что? Это я ей, а не она мне, должен все сказать. Нет, черт возьми, скажу сразу..." Он отложил вилку и уже раскрыл рот, но она заговорила первой.
 — Ты ведь обо всем догадываешься?
 — О чем?
 Она посмотрела на него внимательно.
 — Ты все знаешь.
 Он словно лед в желудке почувствовал.
 — Ну? — просил он, отворачиваясь. Вдруг он испугался, что она скажет что-то такое, что попросту дурно прозвучит; что она слишком молода, чтобы сказать все ясно и хорошо; и что она употребит какую-нибудь неудачную формулировку, которая потом будет преследовать его годами. Он заговорил сам: — Я знаю... это единственный человек...
 — Не единственный, — сказала она. — Уже есть второй.
 — Влюбилась?
 Он рванул к ней и встретил спокойную, словно победную улыбку.
 — Своих детей обычно любят, — сказала она. Он глядел на

нее, и время исчезло, годы расступились, как вода в сказке: то же и так же сказала ему его собственная жена, когда должен был родиться Миколай.
 — Ты уверена?
 — Уверена.
 — Доченька, — шепнул он. — Зачем?
 — Я тебе никогда не говорила: он очень болен.
 — Кто?
 — Роман.
 — Болен?
 — Туберкулез, — ответила она. — Я боюсь за него, папочка. Последнее время он совершенно отчаялся; это тянется уже несколько месяцев. Говорит, что умрет, только об этом и думает. Я хочу, чтобы думал — о нем.
 — А он что на это?
 — Ничего.
 — Как это?
 — Просто не знает.
 — Ты ему не сказала?
 — Скажу ему, когда придет время.
 — Ты можешь сказать ему в любой момент. Даже должна. Она покачала головой.
 — Я за себя боюсь. Он мог бы меня уговорить — болен, испугается. Скажу ему, когда уже...
 Она замолкла.
 — Зачем? — снова прошептал Францишек.
 — Хочу, чтобы оба жили.
 Францишек отвернулся; Эльжбета вышла, тихо забрав тарелку. Он барабанил пальцами по окну; наверху кто-то измывался над роялем; пальцы невидимого пианиста цеплялись за одну и ту же ноту. По улице шел человек с длинной палкой; он зажигал фонари; вспышка и фальшивый сбой наверху повторялись почти одновременно.
 — Ты выглядишь, как итальянка, которая молится Богу, чтоб он дал ей мужа. Они тоже часами выстаивают у окна.
 Он обернулся.
 — Ты не купил газет, Миколай?
 — Купил.
 — Ты сегодня еще уходишь?
 — У тебя ко мне дело?

— Да.

— Минутку, только руки вымою.

Он вышел. Был он рискованно красив: природа сделала все, чтобы лицом своим, фигурой, голосом, сиянием глаз, улыбкой или гримасой, своей походкой лесного зверя, спокойствием сна, движением, которым отшвыривал окурки, — он неустанно подавлял всех других; чтобы они отшатывались в тень, пряча свои лица и жесты, замолкали, переставали улыбаться и громко дышать. Он вернулся и сел напротив отца.

— Послушай, Миколай, — сказал Францишек. — Меня исключили из партии.

— Эй, ты же непьющий. Что это ты вдруг?

— Я трезвый, ни капли не пил.

— Брось.

— Это было вчера. Произошла вещь, которую я не могу понять. Мне и самому кажется, что я брежу. Но это факт.

Миколай подошел и заглянул ему прямо в лицо; Францишек отшатнулся, сжался: сын глядел на него так, как рассматривают нечто странное и чуждое. Они молчали; в кухне Эльжбета позвякивала тарелками.

Наконец Миколай заговорил: — За что?

— Это моя вина.

— Что ты наделал?

— Послушай: я встретил друга, с которым мы не виделись с леса. Выпили по несколько рюмок. Потом ко мне прицепилась милиция, два тупых юнца; я начал с ними спорить, хоть был трезвый, дьявольски трезвый; а они все цеплялись, чтоб я шел с ними в отделение. Наконец я разозлился и начал кричать — а что, абсолютно не помню. Мне только потом повторили, что я кричал. Я кричал, Миколай, что на все это — понимаешь, на все — мне накласть; что я не верю; оскорбил партию и... — он внезапно умолк.

— И что?

— Миколай, я ведь этого не думаю, ты знаешь. Никогда этого не думал. Понять не могу...

— Так зачем кричал? — глухо спросил Миколай.

— Не знаю. И это хуже всего.

— Что было дальше?

— Я хотел все сразу объяснить. Но не вышло. То есть — исключили меня. Там в отделении протокол, понимаешь. Там —

все записано, каждое мое слово. Ошибки быть не может. Значит, я и правда это кричал.

— Значит, ты это думаешь.

— Миколай, — сказал умоляющим голосом Францишек. — Ты же меня знаешь настолько, насколько можно знать отца. Ты не должен так говорить.

— Мы сейчас разговариваем не как отец с сыном.

— А как?

— Как член партии с членом партии.

— Я этого не думаю, — прошептал он. — Ты же знаешь, что я этого не думаю.

— Ты это говоришь. Кричишь. И ты был тогда трезвый?

— Да.

— Ты уверен?

— Как сейчас. Только, может, немного разнервничался.

— Значит, в других случаях — когда ты такой трезвый, как сейчас, — ты тоже говоришь вещи, которых не думаешь?

— Нет. Конечно, нет.

— А тогда?

— Не понимаю. Сам не понимаю. Может, это ошибка?

— А ты не проверял?

— Проверял, — сказал шепотом Францишек; он провел рукой по лбу. — Утром, когда меня выпускали, мне же все сказали. И секретарь наш проверял... Нет, это не ошибка. Должно быть, я действительно оскорбил партию.

— Да, — сказал Миколай. — Должно быть оскорбил.

— И не могу этого понять.

— Не можешь понять, что ты кричал?

— Какой-то заколдованный круг. Я кричал что-то, чего я не чувствую.

— А когда ты кричишь: "Да здравствует социализм, партия, Сталин!" — ты тоже этого не чувствуешь?

— Как ты можешь?

— Как ТЫ мог?

— Миколай...

Миколай встал: — Нет больше Миколы. Тебя исключили из партии, да?

— Да.

— За двуличие, да?

— Да.

— Кто прав: ты — или партия?

— Я.

— А кто кричал?

— Я.

— Значит, прав не ты. Кому я должен верить: тебе — выкрикивающему что-то, чего ты и сам не чувствуешь, чего ты мне не можешь объяснить; или — партии?

— Мы должны верить партии, — прошептал Францишек.

— Значит, мы должны расстаться, — сказал Миколай.

— Ты хочешь уйти из дому?

Миколай не ответил; часы показывали на час больше прежнего; Францишек глядел, как Миколай укладывает в чемодан свои вещи: скромный костюм, книги, дешевые рубашки.

— Так ты уходишь, — сказал Францишек. Помолчал. — Кто знает, может, я на твоём месте поступил так же.

— Я вернусь, когда ты очистишься.

— Что мне делать.

— Встань, — сказал Миколай, — и борись. Может, ты найдешь людей, таких товарищей, которые тебе поверят и смогут уладить твоё дело. Я этого не сумею. Я должен верить партии.

— А я? Я же все-таки тебе отец; несмотря ни на что, я твой отец, хочешь ты этого или не хочешь... Мне ты не сумеешь поверить?

Миколай был уже одет. Он подошел к окну; на его волосы легло уличное мерцание.

— Поверить, — сказал он. — Тебе? Тебе одному? Нет. — Он резко обернулся. — Что знаешь ты о мире, о его подлости? Ты все живешь прошлым, лесом, — ты что, совсем не понимаешь, что творится сегодня? Ты что, действительно ничего не понимаешь? — Он снова глядел на улицу. — Сорви с домов фасады — и увидишь хлевы. У меня нет сил никому ни в чем верить. Я могу верить только партии: не будь сознания, что надо мною партия, я стал бы подлецим из подлых. Иначе жить я не могу. А ты хочешь, чтобы я поверил тебе, как раз одному тебе — крикливому, запутавшемуся человеку.

— Я твой отец! — крикнул Францишек.

Миколай мрачно усмехнулся: — Ты Францишек Ковальский, исключенный из партии за двуличие. Остальное не важно, дело случая. Если тебя восстановят в партии, я попрошу у тебя прощения.

Он поднял чемодан.

— Прощай.

— Прощай, — повторил Францишек. Он глядел в окно, видел, как Миколай выходит из ворот, как он медленно, в каком-то решительном молчании, идет по улице и исчезает за углом. Снова проезжали трамваи, машины; на мокрую мостовую — когда она моментами пустела — ложился пурпурный отсвет неона: МОЛОДЕЖЬ ЧИТАЕТ... — единственного над густой тьмою города.

Х

Улица внезапно кончилась, и Францишек остановился. Дальше начинались поля, деревянные развалюхи, мрачные дворники и дымящиеся свалки; на полях, из-под тающего снега, кое-где торчали скелеты старых машин, на ржавчину их падали багряные отблески заходящего за далекие городские стены солнца. Францишек беспомощно оглянулся — он был тут первый раз, совсем не знал этих мест, — наконец остановил какого-то прохожего.

— Простите, пожалуйста, как пройти на Акации?

— А вон там, подальше.

— Там, где тот высокий дом?

— Да. Я тоже туда иду.

Обходя лужи, они брели по мокрой тропинке. Прохожий спросил:

— Идете поглядеть, как снег сбрасывают?

— Что делают?

— Снег сбрасывают.

— Где?

— Да как раз там, с крыши того дома. Сын мне сказал, вот я и иду посмотреть.

Действительно, у высокого дома, к которому они пробрались по лужам, стояла куча людей, задравши головы кверху. По крыше ползал какой-то человек со скребком, все время сбрасывая сугробы вниз; забава состояла в том, чтобы скинуть гору снега на голову зазевавшегося прохожего. Уже издали слышен счастливый смех и восхищенные покрикивания, сопутствующие каждой попытке человека со скребком.

— Извините, — сказал незнакомый и приложил ладонь к шапке, — забегу еще за приятелем, порадовать его... — Он посмотрел

рел на Францишка внимательными глазами. — Вы, может из дома номер триста восемьдесят пять?

— Я? С чего это вам в голову пришло?

— Да просто спрашиваю. Сегодня лектор должен прийти — я вижу, что пан нездешний, ну и подумал. Что-то про солнце будет говорить. Вроде бы электричество будем с солнца доставать. Может быть такое?

Францишек хотел ответить, но тут у высокого дома поднялся бешеный крик — и Францишек, и прохожий повернулись туда. Оказывается, человеку со скребком удалось свалить лавину снега на голову трем проходящим горбунам, которые стояли ошеломленно, не осознав еще подробностей и размаха катастрофы. Стоящая у дома толпа выла от счастья; человек на крыше тоже что-то радостно кричал, победоносно размахивая скребком.

— Может быть такое? — задумчиво повторил прохожий.

— Что?

— Да с этой электрикой.

— Ну, наверное... Когда-нибудь... До свиданья.

— Когда-нибудь... — повторил прохожий, и они разошлись.

Францишек прошел еще немного, провожаемый победными кликами, наконец нашел дом, который искал; это была старая, шаткая деревянная развалюха; ветер дергал на крыше куски истлевшего толя. Францишек долго растерянно глядел на нее, наконец пожал плечами и, как в омут, нырнул в темень; он брел наощупь, отыскивая стенку, — в конце концов, натолкнулся на ее шершавую, крысиную сырость и с отвращением отдернул руку. Пахло стиркой, детьми; с верхнего этажа доносились отголоски свары. Он зажег спичку и, продвигаясь за ее колеблющимся огоньком, искал номер; наконец остановился перед нужной дверью и постучал.

Никто не отвечал; на втором этаже вовсю надрывался женский голос. Францишек уже хотел уйти, но тут ему послышался шелест за дверью. Он постучал еще, потом сильнее, наконец услышал шлепанье ног.

— Кто там? — спросил женский голос.

— Дома ли пан Закшевский?

Молчание. Потом: — По какому делу?

— Я хотел бы с ним повидаться.

— А кто?

— Ковальский.

Снова молчание.

— Подождите, — сказала женщина.

Он закурил; шлепанье ног за дверью удалилось. С улицы донесся рев веселья и триумфальные визги: снова кого-то обсыпали снегом. Замок в двери заскрежетал.

— Входите, — сказала женщина.

Он прошел прихожую и вошел в комнату. Из-за стола поднялся огромного роста мужчина — такой огромный, что время, за которое он поднял свои могучие мышцы, показалось Францишку вечностью.

— Вы ко мне? — спросил он.

Францишек молчал, глядя ему прямо в глаза. — Медведь, — сказал он тихо. — Ты меня не узнал?

— Простите, — запинаясь, пробормотал мужчина. — Но... моя фамилия Закшевский. Вацлав Закшевский. Я... вам... документы.

— Медведь, — повторил Францишек, — ты правда меня не узнал? Это я, Ковальский, Францишек. "Тоший". Ты уже все забыл? Мы же были вместе в лесу.

Они долго молча смотрели друг на друга. Гигант тяжело сел.

— Я знал, что когда-нибудь вы меня найдете, — сказал он. — Что же, вот я. Ничего из жизни не вычеркнуть, ничего не забыть... — Он поднял голову: — Я могу попрощаться с женой?

Францишек отшатнулся.

— Ты с ума сошел. Ты что, думаешь, я из органов? Старик, я с тобой повидаться пришел, посмотреть, как ты живешь, поговорить... — Он подошел к нему и протянул руку. Медведь резко отшатнулся. — Медведь, — сказал Францишек, с ужасом всматриваясь в его побелевшее лицо, — что с тобой? Почему ты так встречаешь меня? Медведь...

— Тише, — прошипел Медведь. — Не называй меня так. Чего ты хочешь?

Францишек сел, держа шляпу в руках.

— Вот как ты выглядишь, — произнес он задумчиво. — Ты, приговоренный когда-то к двенадцати годам тюрьмы; ты, сидевший в Березе*; ты, за чью голову немцы назначили награду; ты,

* Береза Картуская — лагерь в довоенной Польше. — Прим. пер.

о ком в лесу песни кладывали... — Он провел ладонью по лбу. — Боже, — прошептал он, — куда занес меня сон, куда занесла меня жизнь? — Он снова посмотрел на огромное мертвенное лицо. Покачал головой и вдруг расхохотался. — Ты! — крикнул он. — Я же тебя помню. Я помню, как хотел быть таким, как ты; помню, как мы гордились тобой; помню, как тебя орденами награждали, как пили самогон за твои кресты. Ежи, я, другие... — Он умолк, а потом тупо спросил: — Что случилось, Медведь?

— Тише, — прошипел Медведь, — подожди.

Он резко накрутил патефон и поставил пластинку. Труба взволнованно захрипела:

Принес букеты, цветочки-штучки,
Целую ручки, целую ручки...

— Зачем ты пришел? — спросил Медведь.

— Я решил разыскать людей оттуда, — сказал Францишек. — Вспомнил лучших людей и раздобыл их адреса. Мне надо всех разыскать и у всех просить помощи... Вы же меня знаете с леса и знаете, каким я был, — говорил он умоляюще. — Знаете, что я говорил, что думал, как вел себя. Мне нужна помощь, Медведь. Я совершил ошибку, даже трудно назвать это ошибкой, одним словом, дело в том, что...

Он замолк, не умея собраться с мыслями. Глядел на Медведя в надежде, что тот как-то поможет ему заговорить, но Медведь молчал, глядя в пол. Патефон хрипел:

Принес букеты, цветочки-штучки,
Целую ручки, целую ручки...

— Я, было дело, напился, — сказал Францишек, — и наболтал глупостей. Сначала мне все это показалось ерундой, но теперь я знаю, что я говорил, будто не доверяю руководству, не верю партии и на все это мне накласть. Мне бы надо уговорить старых товарищей, чтобы — ну, не знаю — высказались обо мне, что ли. Если надо будет, я дойду до самого Хозяина, но надо найти людей, которые могли бы обо мне сказать. Я же этого не думаю, наболтал спьяну. А вы же все-таки помните меня. Ты поможешь мне, Медведь?

— Минуточку, — сказал Медведь. Он выключил патефон. — Это, пожалуй, привлекает внимание. Тут кругом люди, может, кто подслушивает. — Он сорвался с места, выбежал в другую ком-

нату и вернулся с маленьким мальчиком. — Это мой сын, — объяснил он Францишку и поставил мальчика в углу. — Читай Маяковского, — сказал он, и мальчик начал монотонно читать, всматриваясь круглыми зрачками в пустоту стены. — Продолжай, — сказал Медведь Францишку.

— Меня исключили из партии, — сказал Францишек. — Дело пойдет в райком, может, в контрольную комиссию воеводского комитета... Ты мне скажи, Медведь, разве я был когда-нибудь... — он хотел сказать "двуличный", но вдруг понял, как он смешон; что знают они друг о друге — он и тот, что сидит напротив? Он уныло молчал, вглядываясь в Медведя. Теперь он уже знал: он виновен. Должно быть, что-то он такое сделал, что оттолкнуло его от партии, что от него самого оттолкнуло Миколая, что сейчас заставляет молчать человека, сидящего напротив. Мысль о вине принесла ему почти облегчение. — Да, — сказал он тихо. — Я совершил что-то ужасное, знаю, что ужасное, и сам не понимаю, как это могло случиться. Но неужели одно мгновение, когда человек не в состоянии отвечать за свои мысли и слова, может перечеркнуть всю жизнь и все поступки человека? Неужели действительно существует такое преступление?

Он снова умолк. Мальчик говорил так монотонно, как капли капают из водосточной трубы:

Там, за горами горя,
солнечный край непочатый,
за голод, за горя море
шаг миллионный печатай.
Пусть бандой окружат нанятой...

— Ты поможешь мне, Медведь? — спросил Францишек.

— Ты уже был у кого-нибудь?

— Нет, только позвонил Ежи. Мне сказали, что он в отпуске и будет через несколько дней. Тебя разыскал первого... — Он схватил его за руку. — Ты же мне не откажешь, правда?

— Теперь пой, Франечек, — сказал Медведь мальчику, и тот мгновенно запел: "Над Вислой, над Вислой широкой веселая стройка идет..." Медведь сказал Францишку: — Я назвал его твоим именем, в память тех времен... Чем же я могу тебе помочь, дружище?

— Прости, — сказал раздраженно Францишек. — Это очень мило с твоей стороны, но зачем мальчишке петь, зачем присутст-

воват при нашем разговоре? Кто тут, в конце концов, подслушивает, ради Бога, и зачем?

— Нет, — с трудом произнес Медведь, — не в том дело, а только знаешь: тишина — это нехорошо, пусть уж лучше поет; к тому же ребенок это любит. А как только у соседей слишком тихо, люди сразу думают: Ого, что-то затевают! Кто это слыхивал, чтобы так тихо жить? И сразу им в голову такие глупости: а может, шпион? может, враг? Мы с женой иногда даже подеремся, чтоб только слишком тихо не было. Пусть уж лучше поет. Ну... если тебя это так раздражает, пусть стихи читает. Франечек, читай "Владимира Ильича".

Франечек немедленно перешел с песни на стихи и декламировал тем же бесцветным, равнодушным голосом:

Партия — спинной хребет рабочего класса.
Партия — бессмертие нашего дела.
Партия — единственное, что мне не изменит.
Сегодня приказчик, а завтра царства стираю с карты я.
Мозг класса, дело класса...

— Так чего ты хочешь? — спросил Медведь.

— Чтобы ты мне помог. Ты, бывший партизан, офицер. Не понимаешь? Медведь ты или нет?

— Нет, — сказал Медведь. — И даже вспоминать об этом не хочу. Ни говорить. Ни думать. Понимаешь?

— Ты скрыл это в биографии, — сказал Францишек. — Ты, легендарный партизан, герой, гордость отряда... Правда?

Они смерялись глазами.

— Правда, — сказал Медведь.

— Не отворачивайся, Франечек, — сказал Францишек мальчику. И пока малыш продолжал читать, он подошел к Медведю и ударил его в лицо.

Он вышел; может, действительно, это вода монотонно капала, а может, сынишка Медведя все еще говорил, уставясь черными зрачками в мутно-серую стену. Уже на улице его догнал Медведь. Они шли рядом молча, тяжело дыша.

— Слушай, — пробормотал Медведь. Он схватил его за плечи и, на каждом шагу спотыкаясь, заглянул в глаза. — Все это не так. Послушай, ты должен понять. У меня сын...

— Франечек, — сказал Францишек. — В память тех времен.

— Те времена, те времена, — забормотал Медведь. — Что

они в сравнении с жизнью? В сравнении со страхом, которым приходится жить — постоянно, без перерыва, от рассвета до ночи? Наслаждаться временем славы, когда живешь во время чумы? Они нас прикончат: меня, тебя, Ежи. Наше время прошло; и те, наверху, знают об этом. Они, когда им нужно, совершают преступления, но, несмотря ни на что, исходят из веры в человека; они верят в меня, в тебя, в Ежи и потому прикончат нас, когда время придет. Они верят, что мы по-своему порядочны и что в какой-то день — по-дурацки, ощупью — очнемся и начнем кричать: нет! А может, этот возглас подхватит кто-нибудь другой? В этой игре ставка — не я, не ты, а вещи, в сравнении с которыми мы ничего не значим. Эх, Францишек! Шли мы в жизнь, а завели нас в кладбищенские развалины; шли в землю обетованную, а ничего не видать, кроме пустыни; говорили о справедливости, а ничего не знаем, кроме террора и отчаяния. Когда-то я жил на третьем этаже и — с вечера до утра только и считал шаги на лестнице: идут уже за мной или нет? А ведь придут. Истории докучают свидетели. Следующее поколение — грудь вперед — помчится, не спрашивая, к чему его ведут. Любое преступление признает святыней, любую цель — необходимостью. А мы? Ты? Я? Мы сделали свое, и теперь надо держаться, ничего другого, только держаться, пока удастся, пока можно. Ты хочешь быть праведником в Гоморре? Чего ты хочешь? Каких свидетельств? Сойди со сцены. Неужели ты не можешь сдохнуть, как сильный зверь: в одиночестве и молчании? И так тебе укусить нечем и выстрелить не из чего. Отойди, а если ничего не понимаешь, оставь в покое меня и других. Что-то же нам все-таки полагается, за времена славы. Хотя бы забвение.

— Ты видел с тех пор Ежи? — спросил Францишек.

— Нет. И видеть не хочу.

Францишек замедлил шаги.

— Надеюсь, ты не думаешь, — сказал Францишек, — чтобы он мог когда-нибудь что-нибудь такое сказать, как ты сейчас говорил. Правда?

Они помолчали.

— Нет, — сказал Медведь. — Ежи? Ежи никогда так не скажет, я знаю. Я о нем часто думаю; он был самый чистый из нас, лучше и тебя и меня. Может, это его спасло?

Они остановились.

— Прощай, Медведь, — сказал Францишек.

— Прощай, Тоший, — сказал Медведь.

Они не видели лиц друг друга; стояли далеко от фонаря, в темноте под дождем. Поколебавшись, оба протянули руки, но сделали вид, что не замечают, как разминулись их ладони во тьме.

XI

В мокром плаще он вошел в комнату.

— Ты почему в потемках сидишь, Эльжбета? — спросил он. Подошел, увидел, что лицо ее мокро от слез. — Что-нибудь плохое случилось, доченька?

Она через силу улыбнулась.

— Нет, ничего.

Он сел возле нее.

— Так чего же ты плачешь?

— Говорю тебе, ничего.

— У тебя неприятности?

— Да, — сказала она и расплакалась громко, — в институте.

— Что такое?

Она раскрыла рот, но он видел, что она придумывает ответ.

— Не знаю, — сказала она, глядя куда-то поверх его головы, — ассистент цепляется ни за что, ни про что.

— А почему Романа нету?

Она снова посмотрела вверх.

— Он сейчас очень занят. Ты же знаешь, скоро Первое мая.

— Да, — сказал он. Подошел к окну и прислонил разгоряченный лоб к холодному стеклу. — Ты из-за меня не переживай, доченька. Я как-нибудь справлюсь. Вот только отыщу своих — они помогут.

Он поглядел на истерическое дрожание неона и подумал: "А все-таки что-то я, должно быть, сделал. Было где-то во мне какое-то недоверие, которого я сам не замечал; оно и вышло наружу при первом случае, при первой же усталости. Во что я не верил? В партию? В людей? В руководство? Или в дело? Сколько же силы надо иметь, чтобы идти сквозь жизнь с постоянно ясной головой, отцеживать болтовню, страхи, мерзости. Кем бы я был, если бы не то, что я верю в дело, что шел к нему, иду и всегда буду идти, как к самой яркой звезде? Медведем? Безумцем? Как сказал Миколай? Встань и борись. Хорошо". Он был снова силен, и ему казалось, что от тишины неба, спокойствия города, улично-

го и звездного света исходит и переполняет его вера, сильнее всего им пережитого; и хранится в нем, неколебимая, как вращение земли.

— Спокойной ночи, доченька, — сказал он.

XII

Он уже выходил с работы, провожаемый мрачным воем сирены, отбил час выхода на контрольных часах и направлялся к воротам, но его остановил вахтер.

— У меня для вас письмецо, — сказал он удивительно официальным тоном, без обычных подмигиваний. Он достал регистрационную книгу и долго искал в ней, водя старческим пальцем по графам. — Вот, пожалуйста, — сказал он в конце концов с удовлетворением. — Распишитесь тут.

Францишек расписался и вышел. Уже на улице он остановился и прочитал. Отдел кадров уведомлял его, что расторгает с ним трудовой контракт в трехмесячный срок; значит, за это время он должен найти другую работу и квартиру.

— Эй, гражданин, — крикнул кто-то ему вслед.

Он обернулся. В расстегнутом пальто, с растрепанными волосами, к нему бежал Яжембовский.

— Ну, — кричал он издали. — Ну! А как там с нами?

— Что такое?

— Как так: что такое? С нашим хоркружком? Талант, несомненный талант!..

Он усмехнулся и пошел. Он глядел в потрескавшиеся, мокрые плиты тротуара и думал: "Разве они не правы? Могу ли я это сказать? Не доверяют мне и не хотят меня — все правильно". Он был горд партией, людьми, которые его исключили; горд их последовательной позицией, их нестигаемостью, чистотой; горд своим сыном Миколаем; он радостно подумал, что и сам поступил бы так же, окажись на их месте. Встать и бороться, вернуться к ним чистым и достойным доверия — вот это задача.

Плиты тротуара кончались внезапно, одновременно с длинной кирпичной стеной; теперь он шел по пустой, утопающей в грязи площади. Где-то на другой стороне ее столпилась веселая, возбужденная кучка людей; доносился басистый собачий лай. Он машинально пошел туда и растолкал локтями кольцо любопытных. Причиной сближения был человек в фехтовальной маске и рукави-

цах до плеч; он тянул на поводке огромного породистого пса, пиная его и обзывая последними словами; однако было ясно, что собака на это обращает мало внимания — точнее, ухом не ведет. Францишек подумал сначала, что странно одетый человек — какой-нибудь тренер, и хотел уже уйти, но тот устало стянул маску, и Францишек увидел безумные глаза товарища Новака.

— Новак, — воскликнул он удивленно, — какого черта вы тут делаете?

Новак утер пот с лица.

— А, это вы, — сказал он деревянным голосом. — Может, сигаретка найдется? У меня уже никаких сил...

— Что это вы вытворяете с этим псом?

— Псом? — повторил Новак, уставив неподвижный взгляд в пустоту. Он язвительно и горько усмехнулся. — Для вас это, может, всего только пес, а для меня... — Он поднял оба кулака к небу и заорал: — Для меня он хуже шакала, хуже проказы. — Он дернул поводок, но пес даже не шевельнулся. — Шарик, дрянь ты эдакая! — крикнул Новак. — К ноге, говорю!

Люди столпились теснее, заливаясь хохотом. Пес сидел не шелохнувшись, высокомерно глядя карими глазами.

— Шарик, — прошептал Новак, трагически вознося десницу и помавая ею. — Шарик, я тебя умоляю... Шарик, родненький, к ноге...

— Послушайте, — гневно сказал Францишек. — Что вы с этим псом вытворяете?

— Как это что? — ответил Новак. — Вы же все приказали переменить ему имя. — Он наклонился к самому уху Францишка. — Раньше его звали Самба, — прошептал он страстно, — и все было в порядке. Золото — не собака: газету в зубах приносил, детей любил, малышку из детского сада приводил, опекал слепого старичка из дома напротив, и так далее. Но с тех пор, как партийный секретарь — вы же помните — приказал мне переименовать его в Шарика, все хорошее осталось позади. На всех бросается, кусает, жена от меня уходит, потому что они между собой грызутся все время; дело уже у адвоката... — Он вздохнул. — Из-за него, — прибавил. — На бракоразводном процессе она этого, конечно, не скажет, чтоб не подрывать авторитета партии... — Он зверски заскрипел зубами. — Мы с женой так договорились: она скажет, что я ее сексуально не удовлетворяю; а я — что она гуляющая по убеждениям. Ну, конечно, потихоньку как-нибудь

будем встречаться... А по-другому нельзя: не подрывать же авторитет. Другого выхода нет. Я все обдумал.

— А вы не можете его спровадить?

— Спровадить? — повторил, непонятно чем развеселившись, Новак и посмотрел на Францишка как на идиота. — Спровадить? Я его уже топил, давал ему по полкило крысиного яду в день, включал радио на полную громкость и уезжал со всей семьей, завозил его за сто километров от Варшавы и бросал. И все впустую. А продать его с именем Самба невозможно — все равно что дать врагу оружие в руки. Да и вообще нельзя от него отделаться — сразу вмешается павловско-мичуринский кружок: "А что вы сделали с вашей собакой? А почему вы мучите животных? Вы должны знать, что собака — друг человека, а особенно члена партии..." Нет уж, Ковальский, не уговаривайте... — Он решительно натянул маску. — Извините, пожалуйста, но я должен работать. Это мое партийное поручение; ради этого меня освободили от акции "Город — деревне"... — Он отчаянно дернул поводок. — Эй, Шарик, — закричал он. — К ноге!

Пес приподнял одно ухо и улегся на живот, широко раскинув длинные породистые лапы; он выглядел, словно шкура, расстеленная у кровати. Не помогло ни дерганье поводка, ни замысловатые проклятья, ни ласковые обещания. Новак двоился и троился, люди выли от счастья, и во всей этой суматохе только пес сохранял сдержанность и спокойствие.

— Что происходит? — раздался звонкий голос. Энергично проталкиваясь локтями, в круг ворвался молодой милиционер. — Что тут такое? — Он обратился к первому попавшемуся ротозею и сурово посмотрел ему в глаза. — Может, вам не нравится, а? Лучше прямо скажите: режим вам не нравится?

— Пан начальник, — сказал зевака, — меня уже нет. Нет и не было.

Он приподнял шляпу и исчез. Люди принялись расходиться по домам, неохотно и медля. На площади остались только Францишек, Новак и милиционер, да еще пес, изысканно вылизывающий лапу.

— Вы что? — сказал милиционер Новаку. — Что это с вами? Дурака валяете или как? Я вижу, вам не нравится. Если не нравится, лучше так и скажите.

— Я тренирую собаку, — высокомерно ответил Новак. Он снял маску и обмахивал ею разгоряченное лицо. — Если не верите,

то вон там, — он указал рукой, — мое место работы, и можете все обо мне узнать. Собака обучается по поручению парторга.

Они смотрели друг на друга напряженно.

— Чему вы ее учите? — спросил милиционер.

— Правильным позициям, — сухо ответил Новак. — Позициям, достойным собаки.

Они опять испытующе уставились прямо в глаза друг другу.

— Если так, — сказал в конце концов милиционер, — то порядок. — И резко обернулся к Францишку. — А вы тут что делаете, гражданин? — спросил он жестко. — Может, вам...

— Нравится мне, — прервал его Францишек. — Все правильно...

Новак уже уходил, волоча за собой пса, как бурлак баржу; Францишек и милиционер глядели друг на друга молча. Францишек внезапно улыбнулся. — Вы меня помните? — сказал он. — Вы меня, я думаю, помните?

Милиционер подошел поближе, и лицо его вдруг просияло.

— Ну, как же, — воскликнул он счастливым, светлым голосом. — Конечно, помню. Разумеется. Это же я вас прихватил, за нарушение общественного порядка... — Он обрадовался, как ребенок, получивший неожиданный подарок, и похлопывал Францишка по плечу. — Так-так, — повторял он, с сияющим взглядом. — Это ведь вы нарушили порядок.

— Что ж, — сказал Францишек и уныло улыбнулся. — Можно назвать и так.

— А что? — спросил милиционер, и лицо его помрачнело. — Название вам не нравится?

— Да нет, я ничего такого не сказал.

— И это вам, наверно, страшно нравится, да?

— Что мне нравится?

— То, что вы ничего не сказали. Говорите прямо.

Они медленно переходили опустевшую площадь.

— Эх, дорогой мой, — сказал Францишек. — Пережили бы вы столько, сколько я, поняли бы, что этого недостаточно: нравится — не нравится. Я поднял руку на то, что выше человека. Я знаю, знаю прекрасно, что тогда говорил вам, будто такого нету. Я говорил вам тогда — это факт, я знаю, что я это говорил, — будто все, о чем говорят "выше человека", в сущности обман, и бессмыслица, и

преступление, и что все это не "выше", а против человека. Я это говорил, согласен. Я говорил, что все человеческие дела можно измерять только выдержкой и жизнью человека, да еще тем, будет ли этот человек испытывать от своих дел хоть чуточку радости. Да, я это говорил. Ну и что? Как у всякого, у меня была минута сомнения. Милый мой! Чем чаще возникает сомнение, преодолеваемое разумом, тем сильнее вера.

Он повернулся, но рядом уже никого не было — он шел один. Где-то у забора стояли, сплетничая, три старушки, туда и бежал, подбирая полы шинели, молодой милиционер; и оттуда донесся до Францишка его высокий голос: "Нравится вам или не нравится?" и испуганное чириканье трех старушек.

Он вошел в телефонную будку и набрал номер. После нескольких долгих гудков с той стороны подняли трубку.

— Простите, — сказал Францишек. — Могу ли я говорить с Ежи?

— Кто просит?

— Моя фамилия Ковальский.

В трубке помолчали, потом женский голос сказал:

— Ежи нет. Вы об этом не знаете?

— Нет, — сказал Францишек, — ничего не знаю. А где он?

— Вы не знаете?

— Нет.

Снова пауза. Кто-то бешено стучал в дверь автомата.

— Он в отпуске, — сказал голос. — Вы меня понимаете: в отпуске. Ему же полагается отпуск, правда?

Францишек хотел еще что-то сказать, но с той стороны щелкнула повешенная трубка. Он вышел и снова шел сквозь пустой и темный город, который не желал пробудиться для весны, который многие недели умывался дождем и над которым светился один-единственный неон: МОЛОДЕЖЬ ЧИТАЕТ ШТАНДАР МЛОДЫХ; он сидел дома, у окна, от которого тянуло холодом, глядел на мигающие буквы, и ему казалось, что сквозь шум и гам города доносится к нему резкий вскрик: "Нравится вам или не нравится? Нравится вам или не нравится? Нравится..." Он вдруг обернулся.

— Почему ты не даешь ужинать, Эльжбета?

Он слышал, как она тяжело поднимается и идет в кухню. Он пошел за ней.

— Ты поссорилась с Романом, верно?

Она прислонилась к его плечу и разрыдалась.

— Пройдет, — сказал он, глядя ее холодные, тяжелые волосы. — Все пройдет, доченька. Все злое, глупое, бесчеловечное. Надо верить только в то, что вечно идет к свету...

Он вдруг замолчал; глядел на темень за окном и на подергивающиеся неоновые буквы, снова — против воли — прочитал их с начала до конца, мысленно дополняя недостающие. Потом оттолкнул Эльжбету и с треском, обрывая колечки, задернул занавеску.

XIII

Он остановился у высокого белого дома и проверил адрес, записанный на листочке: сходилосъ. Он вошел в ворота и только ступил на широкую лестницу, как кто-то окликнул его сзади:

— Эй, гражданин!

Он обернулся, держась за перила: в подворотне стоял солдат с автоматом через плечо.

— К кому? — спросил он Францишка.

— К знакомому.

— Как это так? — юное лицо солдата нахмурилось. — Прямо так, без пропуска? Вернитесь, гражданин, — сказал он и протянул руку: — Паспорт.

Он долго выписывал ему пропуск на розовом бланке, слюнявил карандаш и сосредоточенно бурчал; наконец отдал Францишку паспорт вместе с пропуском и сказал:

— Четвертый этаж. — Когда Францишек уже поднимался, солдат прибавил тоном выговора: — В другой раз, гражданин, не входите без пропуска.

Он остановился на четвертом этаже и позвонил; ему открыли, некоторое время шли перешептывания; в конце концов он оказался перед тем, к кому пришел.

— Узнаешь меня, Бжоза? — спросил Францишек.

Стоящий перед ним мужчина, худой и смуглый, с болезненным лицом и запавшими, темными, угасшими глазами, смотрел на него внимательно.

— Тощий, — сказал он наконец и протянул руку. — Тощий, верно?

— Да, — сказал Францишек. — Это я.

Они сели в кресла. Глядели друг на друга, отыскивая пере-

мены; некоторое время господствовала неловкая тишина, наконец Францишек, желая преодолеть замешательство, быстро заговорил:

— Ты прости меня, что я у тебя время отрываю, — я знаю, что такие люди, как ты, всегда заняты, даже для близких, но мое дело...

Вдруг он засомневался, замолк.

— Говори, — сказал Бжоза. — Я слушаю.

— Ты помнишь меня еще с леса?

— И тебя, и других.

— Можешь ты мне помочь?

— Ясное дело, — сказал Бжоза. — Говори.

— Я, — начал Францишек, стараясь глядеть тому прямо в глаза, — поднял руку на партию. Сам не понимаю, как случилось... — Он жутко покраснел. — Знаешь, я был немного на взводе и начал орать. Я говорил...

Он снова замолчал, охваченный внезапным чувством безнадёжности всего этого разговора. "Что я говорил, — думал он растерянно. — Что я говорил? Ну, я ведь говорил правду, то, что чувствую..." — Я говорил, — продолжал он, — что не верю, чтобы... чтобы...

— Чтобы что?

— Чтобы можно было, — сказал Францишек, — построить что-то хорошее, совершая преступления, и обманывая, и уничтожая человеческое достоинство, и преданность коммунистов превращая в рабство.

— И чего ты хочешь от меня в связи с этим?

— Чтобы ты, ты, один из тех, кто обладает властью и знает власть, сказал мне: где граница между преданностью и рабством? Между преступлением и необходимостью? Всегда разум устанавливал эту границу — разум и совесть. Теперь — так я тогда говорил — человек стал только ничтожной игрушкой политики; о разуме он старается забыть в своих же интересах, а совесть? Этот засраный балласт? Лучше думать, что ее никогда не было.

— Кому ты это говорил?

— Кому? — повторил Францишек. — Кому? Не все ли равно? Я себе так говорю, вот что важно.

— И что было дальше?

— Дальше уже неважно. Исключили из партии. Но дело-то не в этом.

- А в чем?
- Я хочу, чтоб ты мне сказал.
- Что?
- Что я не прав.

Они помолчали. Тот смотрел на Францишка своими выцветшими глазами, склонив голову.

— Слушай, — сказал он наконец. — Первые годы после войны я работал в органах. Был у меня сынишка: всю оккупацию провел в лесах, потом воевал с бандами, всего его изрешетили, потерял одно легкое, наконец, совсем больной, приземлился у меня. У меня, где ему приходилось работать за троих здоровых. Так и работал: допросы, следствия, шпионы, саботажники, диверсанты. Как-то допрашивал одного диверсанта: допрос тянулся которую уже ночь подряд, тот, подлец, провоцировал, и наконец мой парень — больной, в полуобмороке от усталости, с нервами натянутыми до последнего — не выдержал и дал диверсанту в морду.

Он умолк.

— И что? — спросил Францишек.

— И ничего, — сказал он. — И пришлось мне дать ему восемь лет. Ему — об этом я сам позаботился. А знаешь, сколько получил этот диверсант? Пять. Потому что это был деревенский мужик с четвертушкой мозга, который не очень-то понимал, где живет, что делает и кому вредит. А мой парень был сознательным, боевым партийцем и должен был знать, что делает.

Он резко встал и заходил по комнате; шея у него побагровела, а верхняя губа подпрыгивала.

— К черту! — сказал он! — К черту всю эту проклятую болтовню. Важнее всего последовательность, последовательность до конца. Если уж начали революцию, надо осознать, что ее нельзя ни остановить, ни смягчить, ни повернуть обратно, ни замедлить. Революцию можно или проиграть, или выиграть, вот и все. Что ужасает тебя? Размах? Методы?

— Последовательность, — сказал Францишек. — То, о чем ты только что говорил. Разве революция — слепая, грубая сила?

Бжоза схватил Францишка за плечо и потащил к окну: под ними простирался мокрый, полный строительных лесов город.

— Сюда, — сказал Бжоза, — через сколько-то там лет придет человек, который сегодня еще не родился. Придет и захочет жить, иметь еду, квартиру, детей, семью, захочет жить спокойно и по-

требует от своего времени все, что человеку положено. И ничуть, уверяю тебя, его не тронут мои или твои страдания и сомнения. В меру своего разума он оценит то, что застал, и время, в котором живет. Вот и все.

Он замолчал, глядя вниз, на мокрые строительные леса, и его желтое, болезненное лицо еще потемнело.

— Я и не знал, — сказал Францишек, — что у тебя есть сын. Бжоза поднял голову.

— Есть? — спросил он удивленно. — Был. Он так болен, что не выдержит всего этого... — Он подошел к приемнику и повернул ручку. — Прости, Францишек, — сказал он, — но я был вчера на митинге, говорил с людьми, а сейчас будут передавать, и я хочу послушать.

Францишек молчал. Зачем он пришел сюда? Кому он все это говорил? И чего ждал в ответ? Он услышал только то, что сам непрерывно повторял: не один и не тысячу раз. Он услышал только то, что сам себе и другим повторял, чтобы найти силы к действию. И где эти силы? В уходе Миколая, в банкротстве Медведя или в усталом голосе этого человека, который приговорил собственного сына? Где цель и надежда? Действительно ли она в этом человеке, что еще не родился и станет перед своей жизнью, как слепой, не зная о жертвах и самоотречении других ради него — тех, кого замучили и сгноили? Если этот довольный слепец, с улыбкой разгуливающий по мерзкой скорлупе мира, и есть та надежда, которой надо посвятить все силы и жизнь, то какой же смысл остается в речах и жертвах?

"Приближается праздник Первого мая, — сказал из приемника голос Бжозы. — Товарищи! Творцы марксизма-ленинизма учат нас, что рабочий класс не может освободиться в одиночку, не освободив всех угнетенных и эксплуатируемых, не уничтожив раз навсегда всякое угнетение и эксплуатацию человека человеком. Рабочий класс — это класс, под предводительством которого человечество освобождается от всех форм социальной несправедливости, от всего, что тормозит развитие общества. Рабочий класс — это класс, под предводительством которого человечество совершает исторический скачок из царства свободы в царство необходимости, становится властелином природы, начинает на основе знания законов социального развития своей сознательной волей формировать свои судьбы".

Его прервали бурные, продолжительные аплодисменты; переждав их, Бжоза продолжал:

"Учение Маркса—Энгельса развили на новом этапе Ленин и Великий Учитель Сталин. Они развили его в эпоху империализма, когда капиталистическое угнетение и эксплуатация охватили весь земной шар и соединились со всеми докапиталистическими формами порабощения трудящихся, когда алчность и агрессивность империалистических эксплуататоров ввергли человечество в военные бои неслыханного в истории масштаба, когда буржуазия и ее идеологи предали и растоптали все идеалы хотя бы ограниченной свободы и справедливости, которые сами когда-то провозглашали, а в трудящихся массах всего мира поднялась и окрепла страстная жажда полной социальной справедливости и полной свободы — жажда социализма..."

Бурные, продолжительные аплодисменты.

"Ленин и Великий Учитель, — продолжал оратор, — развили учение Маркса—Энгельса о рабочем классе как о классе, который освободит человечество от всякого угнетения и эксплуатации, и превратили его в учение о гегемонии пролетариата в национально-освободительной борьбе, в борьбе крестьянских масс против крепостного строя и его пережитков, в борьбе всех трудящихся против капиталистического строя..."

Снова дикий гвалт в зале.

— Бурные, несмолкающие аплодисменты, — сказал Францишек. — Так будет написано в газете.

Тем временем оратор говорил дальше: *"Стоя во главе всех угнетенных и эксплуатируемых в борьбе за свержение империалистической тирании, осуществляя в этой борьбе союз рабочих с трудовым крестьянством и народными массами, ведущими национально-освободительную борьбу, — партия пролетариата поднимает знамя освобождения во имя подавляющего большинства общества против его ничтожного меньшинства. Гегемония рабочего класса направлена на осуществление пролетариатом его великой революционной миссии, заключающейся в изменении социальных отношений в интересах преобладающего большинства людей всего мира и построения социалистического общества..."*

— Все было, как полагается, — сказал Францишек, — верно? И нанятая сиротка с цветами, и какой-нибудь старый мудак — ветеран революции девятьсот пятого года, с которым ты целовал-

ся перед объективом, и топтуны в серых костюмчиках позади тебя. Правда?

— Правда, — сказал Бжоза. — И были люди, которые после всего этого просили меня, не могу ли я повлиять на буфетчицу, чтоб она открывала свою торговлю на час раньше, и был тип, который шепнул мне на ухо: "Малиновский ворует".

— Но по радио этого уже не будет, — сказал Францишек. — Правда?

— Правда, — сказал Бжоза. — Этого не будет.

Он замолк и снова слушал собственный голос: *"С победой Великой Октябрьской Социалистической Революции возникло первое пролетарское государство — советское государство. Верность пролетарскому интернационализму — это с тех пор, прежде всего, верность Октябрю. Не случайно предательство клики Тито с самого начала проявилось в ее антисоветской позиции, в ее отрицании ведущей роли Советского Союза. Не случайно антисоветские тенденции легли в основу гомулковщины, этого польского варианта титоизма. Великое строительство Советского Союза — образец, пример и надежда мира. Это образец, свидетельствующий, что есть путь выхода из кризисов и нужды, из экономической и культурной отсталости, путь уничтожения национального угнетения и национальной розни. Это пример, учащий, как свергнуть господство капиталистов и помещиков, как строить новое, справедливое общество. Это надежда для всех тех, кого угнетают эксплуататоры, кого порабащают империалисты, кого, в своей ненависти к трудящимся, истязает черная реакция. Великое строительство Советского Союза — это источник силы пролетарского движения, освободительных и прогрессивных движений всего мира. Именно о мощь Советского Союза разбились гитлеровские претензии на мировое господство фашистской рассы сверхчеловеков. Именно мощь Советского Союза встает на пути магнатов Уолл-Стрита, пытающихся повторить гитлеровскую попытку порабощения человечества. Международный пролетариат под предводительством Советского Союза стал авангардом всего человечества, всех трудящихся, всех угнетенных и эксплуатируемых всего мира в борьбе за светлое будущее материального благосостояния и культурного расцвета..."* Его голос на секунду оборвался, и снова понесся шум по большому залу, и раздались счастливые выкрики; откуда-то даже прорвался голос: "Была нужда, был капитализм, но пришел человек по имени Ленин..."

— Теперь продолжительные, бурные аплодисменты, — сказал Францишек. — Это смешно.

— Что?

— Как вы, должно быть, презираете этих людей, ненавидите этих бедных муравьев, этот рабочий класс, этого гегемона нации. С одной стороны, вы должны к ним неустанно подлизываться, чтобы выжать из них хоть какое-то усилие; с другой — принуждать их к тому, что и вам самим, пожалуй, кажется бесчеловечным. — Он встал и подошел к окну. — А все-таки, наверно, придет время, — сказал он, — когда вам придется прекратить болтовню о гегемонии и посмотреть им в лицо. И что вы тогда увидите? Кого? Каких людей? Результат превзойдет ожидания... — Он снова вернулся в кресло. — Единственное утешение, — сказал он, — что у вас уже нет ничего общего ни с каким классом, ни с какими людьми. Если утешение вообще существует.

Аплодисменты постепенно утихли, и из репродуктора снова раздался голос Бжозы: *"Приближается Первое мая, праздник борьбы трудящихся, праздник пролетарского интернационализма, праздник международной солидарности пролетариата. Мы будем праздновать Первое мая тогда, когда каждый день приносит нам новые вести о мирных победах строительства коммунизма в великом Советском Союзе, государстве победившего социализма, надежде трудящегося человечества..."* Снова разбушевалась буря аплодисментов и возгласов; потом все постепенно утихло, и диктор объявил симфонический концерт. Францишек и Бжоза поглядели друг на друга.

— А потом, — сказал Бжоза, — после продолжительных, несмолкающих аплодисментов, я вышел на фабричный двор. И тут подошел ко мне тот, о ком ты спрашивал, — старый мудак, ветеран революции. Он работает на фабрике ночным сторожем и попросил меня, не могу ли я помочь, чтобы его перевели на ставку собаки. — Как это собаки? — спрашиваю. — А так, — говорит, — если ставка ночного сторожа четыреста злотых с небольшим, а на содержание собаки дают почти шестьсот. Так я, товарищ, мог бы поменяться с собакой. Животное, — говорит, — честное рабочее слово, голодом не уморю, а мне будет легче, и никто не потеряет. Ну, Францишек? Смеяться или стрелять? — Он встал, снова заходил из угла в угол, наконец остановился перед Францишком. — Память, — сказал он. — Это единственный щит от сомнений. Нужно непрерывно помнить, откуда все идет.

— Вы забыли, — сказал Францишек.

— О чем?

— Это комично, — сказал Францишек, — и я сам часто над этим смеюсь, но единственная логика любого действия — человек и его короткая, печальная жизнь; с этим, к сожалению, ничего не поделать, как бы мы того ни желали. Так уж, очевидно, должно быть, что в этом проклятом мире маленький человек — великан; и в реальном соотношении сил все остальное — маленькое: и великие стройки, и плотины, и каналы, и Днепрострой, и Бог ведь что еще. Этого, увы, с ног на голову не поставишь.

— Зачем ты пришел сюда, Францишек? — спросил Бжоза. — За верой?

— Да, — серьезно ответил Францишек. — За верой.

— Так ты не веришь?

— Верю, — сказал Францишек, — но уже не в вас. Верю в коммунизм, если удастся его спасти от вас и если вы вовремя уйдете. Миражи никого не могут вести по морю. — Он замолчал, потом прошептал: — Может, Ежи?

Внезапная судорога пробежала по лицу Бжозы.

— Что Ежи? — спросил он резко.

— Он, должно быть, другой.

— Ежи, — сказал Бжоза и усмехнулся. — Да, ты прав: иди к Ежи. Он — другой. Даже больше, чем ты думаешь.

— Ты его помнишь? — спросил Францишек.

— Еще как.

— Да, — сказал Францишек и упрямо помотал головой. — Он должен быть другим. Другим — не таким, как вы все.

— Иди к нему, — сказал Бжоза. — Я могу сделать для тебя только одно: когда ты уйдешь отсюда, я постараюсь притвориться, будто мы поболтали себе о старых, добрых простых временах в лесу.

Францишек встал.

— Могу тебя подвезти, — сказал Бжоза. — Я уже уезжаю.

— Куда ты едешь? В какую сторону?

— На завод динамомашин.

— На митинг?

— Да.

— Будешь с людьми говорить?

— Да.

— О гегемонии рабочего класса?

— Да.

Он протянул руку, и оба сделали вид, что не замечают, как разминулись их ладони.

— Прощай, Бжоза, — сказал Францишек.

— Прощай, Тоший, — сказал Бжоза.

И снова он шел по вечернему городу, сступаясь в размокшем, мерзком снегу; весна еще не наступала, не было ни малейшего признака ее приближения — куда бы Францишек ни поглядел, он ничего не видел, кроме грязи, остатков снега в тающих черных сугробах и месива, плывущего по мостовой; ничего, кроме темноты, сбитой в липкое тесто над городом, где истерически дрожал единственный неон. "Ежи, — думал Францишек. — Конечно, Ежи. Он другой: чище и лучше. Он-то, конечно, борется и знает, как бороться; борьба с этим скотством — его призвание". На углу был автомат, и он быстро пошел в ту сторону. Он долго стоял перед стеклянной дверью; кто-то, повернувшись к нему спиной, разговаривал, яро жестикулируя левой рукой, — навязчиво и как-то странно знакомый. Наконец он положил трубку и вышел.

— Роман, — удивленно сказал Францишек. — Добрый вечер.

Он протянул руку. Жених дочери остановился и жестко поглядел на него. Его еще детское личико налилось презрением. Не сказав ни слова, он отвернулся и ушел насвистывая — громко и фальшиво. Францишек долго стоял без движения, онемелый от гнева и недоумения; наконец вошел и набрал номер — и услышал тот же женский голос.

— Могу ли я говорить с Ежи? — спросил он.

— Кто просит?

— Скажите ему, пожалуйста: Францишек. Или лучше всего: Тоший.

Молчание затянулось; в стеклянную дверь будки колотил ручкой зонтика какой-то почтенный толстяк. Потом женщина сказала:

— Ежи в отпуске. Ежи в отпуске. Вы меня хорошо понимаете? В о т п у с к е .

XIV

Он шел по темному коридору, все время цепляясь за выставленные к дверям бутылки для молока, за какое-то старье,

накопившееся годами и всеми забытое, спотыкался об кошек и собак, шляющихся тут в невероятном количестве, — окутанный темнотой и затхлостью, он продвигался вперед наощупь, молотя руками воздух. Кое-где темноту разрезали лампочки, окруженные проволочными корзинками; от их мутного света, от затхлости, от визга кошек, от запаха стирки и с первого этажа до чердака увариваемой капусты у Францишка почти мгновенно разболелась голова. Это был старый дом; когда-то в него грохнула бомба, распахнув его с левого боку неожиданно и страшно: лестничная клетка внезапно обрывалась — внизу виднелась мокрая улица, жирный асфальт и шныряющие люди. Францишек остановился.

— Отвяжи меня, дяденька, — сказал кто-то тоненьким голоском.

Он обернулся: в коридоре сидел мальчонка, железной цепью привязанный к балюстраде, — цепь была заперта на замок.

— Кто тебя привязал? — спросил Францишек.

— Мама.

— Мама? Почему?

— Чтоб я не упал, — объяснил мальчик и указал на туманную пустоту внизу. — Но я и так не упаду, — заявил он. — Отвяжи меня, дядя.

Кто-то завопил рядом: — Отвяжи меня, дяденька. Меня, а не его. Он упадет. — Францишек повернулся: в нескольких шагах дальше была привязана девочка, потом снова девочка; еще дальше — два мальчика, которые играли друг с дружкой, ни на что не обращая внимания: перед ними была груда цветных кубиков.

— Где ваша мама?

— На работе, — сказал самый первый. Он разозлился: — А что ты думаешь, дядя? Одним нам в комнате сидеть? Так можно хоть поиграть. — Он схватил несколько обломков кирпича и принялся бросать в других детей — они прятались, прижимаясь головой к балюстраде, при этом пищали и мелодично позвякивали цепями. У девочки на цепи было привязано несколько бантиков, на руках у нее сидела кукла, обвязанная хромированной цепочкой от часов.

Францишек помолчал, потом присел на корточки возле мальчишки. Он бессмысленно рылся в карманах, хотел ему что-нибудь дать, но там ничего не было — расческа, зеркальце, документы. Он сказал:

— Придется тебе маму дожидаться.

Мальчишка злобно скривился.

— Придется, — повторил он. Он подпрыгнул, как обезьянка, грохоча цепочкой. — Отвяжи меня, дяденька, — сказал он. — Скучно. Или расскажи что-нибудь. Ты умеешь рассказывать?

— Что же тебе рассказать?

Он задумался; два малыша в конце коридора подрались; они бешено катались по полу, перепутывая цепи. Мальчик сказал Францишку:

— Расскажи, что видишь. Там.

Он махнул рукой в сторону дыры, и Францишек наклонился над городом; он смотрел в полумрак до боли в глазах. На улице ничего не происходило и почти ничего не было видно: прошел пьяный, потом два пьяных, потом три пьяных — один из них рукой придерживал шляпу; потом мать с ребенком и старик, толкающий тележку с углем; темнота, тишина и туман, пьяные шаги, смех, возбуждающий злобу в других; и только неоновое сияние, более вечное, казалось, чем звездный свет, притягивало взгляд.

— Что ты видишь, дядя? — повторил мальчик и дернул Францишка.

— Город, — сказал Францишек. — Город. Светлые, белые дома, люди возвращаются с работы и смеются; вот несколько мальчиков бегут за мячом; а там девочка с прыгалками неловко споткнулась. Неоновые рекламы. Свет, свет, свет... — Он остановился, потом спросил мальчика: — Где тут живет художник в вашем доме?

— Тот, что рисует деда?

— Деда?

— Деда с усами. Этот?

— Этот самый.

— Последняя дверь, — сказал мальчик. А когда Францишек уходил, крикнул ему вслед: — Приходи еще, дядя.

— Приду, — сказал Францишек. И, стоя перед слабо поблескивающим звонком, он подумал: "Еще одна дверь. Зачем я сюда пришел? Чего я жду? Ты, там за дверью, не можешь быть другим. За этим я и пришел. Я и не выходил из дому — просто погляжу в зеркало. Это я сам себе открою дверь. Повернуться? Уйти?" Однако он постучал. Мужчина в халате долго вглядывался, прежде чем впустил его. Они молча прошли темную прихожую, и вдруг Францишек оказался в кругу света — яркого, невероятного, огромного, как мир, сияния, заливавшего мастерскую. Он зажму-

рился и машинально сел на подставленный стул. Он раскрыл глаза не сразу — медленно и с усилием, как человек, который готовится испытать боль.

— Кофе? — спросил художник.

— Нет, спасибо.

— Чаю?

Он покачал головой.

— Не беспокойся... — начал он, но художник тут же его прервал.

— Стоп, — сказал он и властно поднял руку. — Каждое слово оттягивает нашу радость. Это чистая формальность: в доме и так ни щепотки кофе или чаю. Выпьем водки.

Он оставил Францишка в режущем глаза блеске и вышел. Принес бутылку и два стакана, поставил их на заляпанный красками дощатый стол. Налил, тихонько напевая.

— Будь здоров, — сказал он, поднимая стакан.

— Будь здоров, — повторил Францишек.

Они выпили; художник тут же налил еще.

— За лес, — сказал Францишек и поднял стакан; но художник свой поставил.

— Почему за лес? — спросил он. — За какой такой лес? С чего бы это за лес, а не, скажем, вечный тост за здоровье прекрасных дам?

— За лес, — повторил Францишек. — Мы же оба были в лесу.

— Когда?

— Не знаю, когда, — сказал он и закрыл глаза: безумный блеск раскалывал ему голову. "Есть ли цвет у света, — подумал он. — Есть. Белый. Это вот и есть белый свет". — Во время войны, — сказал он.

— Верно, — сказал художник, глядя на дно стакана. — Абсолютно верно. Мы же оба герои. А я, извиняюсь, забыл. Ну так!

Они чокнулись.

Закурили, поглядывали друг на друга недоверчиво — ничего не находя, ничего не воскрешая; за окном навязчиво шумел город, визжали кошки в коридоре, мальчишечьи голоса повторяли хором в разнобой: "Дяденька, отвяжи меня... Тетенька, отвяжи меня..." Вдруг их взгляды встретились, и оба улыбнулись одновременно с облегчением.

— Теперь я тебя вспомнил, — сказал художник. — Ты То-щий, верно?

— Да, — сказал Францишек. — А ты Летописец.

— Ну и пристроили нас, — сказал художник, радостно улыбаясь. — По уши в дерьме, а?

— В дерьме, — повторил Францишек. — Зачем я сюда пришел, Бог его знает. Я же хотел только одного: чтобы ты был не такой, как я, чтобы ты думал что-то другое, сказал что-то другое. Не знаю — может, я хотел что-нибудь сказать и чтобы ты в ответ плюнул мне в морду... — Он крутил в руках пустой стакан, потом сказал: — Стоило бы раз навсегда уговориться, что это не имеет смысла. Собственно, я уже могу уходить.

— Ты уже в органах?

— Нет. А ты?

— Я тоже еще нет.

— Ну, так я уже могу уходить.

— Можешь уходить, — сказал художник. — Можешь уйти и дальше не ходить, независимо от того, куда собрался. Ничего другого ты, и правда, не услышишь. Но можешь попробовать поискать себя самого, с самого начала. Может, получится. Все так делают.

Францишек озирает мастерскую и вдруг понял, откуда столько света: всюду громоздились кучи бюстов Великого Учителя; снежно-белый гипс отражал резкий электрический свет; одинаковые усатые лица глядели со всех стен мертвыми глазами.

— Господи Иисусе, — еле выговорил Францишек. — Откуда тут этого столько?

— На заказ, — сказал художник. — Работа легкая и чистая: гипс, вода, форма. Идет, как редиска. Есть у меня один клиент, держит подпольный тир за городом. Мы, поляки, всегда любим побунтовать... — Он что-то тихонько запел, потом вздохнул и сказал: — Сначала я делал только премьера и святого Франциска Ассизского. Мало работы — оба лысые. Но с ним, — он подбросил рукой отливку, — никто не выдерживает конкуренции. *Pin up girl* социализма номер один. Дать тебе одного на память?

Францишек молчал. Он сидел неподвижно, зажав голову в кулаках. Из каждого уголка мастерской упорно глядело мертвое лицо. Снова кто-то прошел по коридору, и снова раздался молящий хор: "Отвяжи меня, тетенька".

— Они всегда так кричат?

— Нет, — сказал художник. — Только до определенного возраста. Потом уже ползают безопасно.

— Мы звали тебя Летописцем, — машинально сказал Францишек. — Помню, после войны ты собирался написать все, чем мы там жили: лес, войну, человека, который побеждает страх, и страх, который ломает людей. Жизнь и смерть. Ты уже тогда делал наброски.

— Плевать я хотел на то, что было тогда, — сказал художник. — Эскизы я выбросил. И говорить об этом не хочу. Что есть, то и хорошо. По мне, так пусть оно вечно тянется. Я слишком много понимаю, чтобы еще чем-то интересоваться.

— Смешно, — сказал Францишек. — Человек всегда мечтал об одном: о сознании. На этом была основана его вечная борьба. Он мечтал об одном: понять свое время, свою цель, свое место, свой смысл и свое мгновение в вечности. Теперь, когда он ближе всего к этому, — сознание — его главный враг. Лучше ничего не понимать, это болезнь.

— Нет, — сказал художник, — это смерть. Это хуже смерти. Это сверхпрограмма. Сверхпрограмма чего-то, чего не было, чего нельзя принять всерьез... — Он радостно взмахнул бутылкой: — Выпьешь?

— Охотно, — сказал Францишек. Он снова крутил стакан в пальцах и щурил глаза: лицо навязывалось неустанно и безжало-стно. Он глядел в каплю водки, перекатывающуюся по плоскому дну. — Так все и началось, — сказал он. — Точно так.

— Что?

— Мое дело. Мой конец.

— Только теперь?

— Только теперь. Но это не имеет значения. Ты тоже не иди-от, а живешь все-таки.

— Я просто не обращаю на это внимания, — сказал художник и поднял стакан. — Будь здоров.

— Будь здоров, — повторил Францишек. Выпил и отставил стакан. — Знаешь, — сказал он, — я был несколько дней назад у Бжозы.

— У Бжозы, — повторил художник недоуменно. Усмехнулся: — Теперь, насколько я знаю, его зовут Кузнечик.

— Кузнечик?

— Да. Специальность — психологическое следствие. Исход-

ная точка: влезает на письменный стол и прыгает подследственно-му на ребра. Отсюда и прозвище. Лупит ручкой пистолета по гениталиям. Устраивает белые ночи и полицейские суды. Люди обделываются со страху при одном воспоминании.

— Здорово говоришь, — сказал Францишек. Улыбнулся. — Он мне такие трогательные истории рассказывал.

— Сходится, — сказал художник. — Истории тоже были. С этим сыном, да?

— С сыном.

— Ну, порядок. Так под этого сына — налить тебе еще?

— Пожалуйста.

Выпили. Дети в коридоре снова зывали к чьим-то шагам: "Тетенька, отвяжи меня". Потом завывала кошка. Потом зарычала собака. Потом снова чьи-то тяжелые шаги и дети: "Дяденька, хоть на минуточку..."

— Может, кофе? — спросил художник помолчав.

— Нет, спасибо.

— А чайку?

— Не беспокойся, пожалуйста.

— Никакого беспокойства, — сказал художник. — У меня в доме только водка. Пять лет, как я не выпил ни капли воды. Мои вопросы — чистое красноречие, пора привыкнуть. Извини, пожалуйста.

Он встал, потащился в какой-то угол огромной мастерской и вернулся с новой бутылкой. Мальчишки, кошки и собаки завизжали одновременно. Художник поставил стаканы рядом и налил словно в мензурки: ни миллиметра разницы.

— За деревья, — сказал художник.

Францишек открыл глаза; в первый момент он не воспринял ни сияния, ни слов того.

— За какие деревья?

— Лес. Мы были вместе в лесу, — нетерпеливо объяснил художник. — Мы же герои. Мы же делали революцию, партизанили, что угодно. Ты уже забыл?

— Нет.

— Ну так?

— Имеет ли все это значение?

— К сожалению. Кретином и преступникам не дают кредита. Героям тоже. Знаешь, кто мы такие?

— Нет. А ты?

— И я нет. Но меня это уже не интересует. Я мертвяк. Как и ты. Как и коммунизм. И все. Я часто думаю о Гитлере. В конце концов, что такого он сделал? Конечно, беспокойный был, но в результате-то что? Поубивал не больше людей, чем это мысленно делает каждый порядочный человек. Заботился о последствиях и был последователен в пределах собственной глупости. А в конце обделался, как всякий Спаситель. И конец. Спокойствие. Точка. Великий Учитель достиг куда большего. Он выстроил кладбище. С этого момента новые поколения будут рождаться и жить на кладбищах. Видно, к жизни, к солнцу идут через могилы. Мне на это... — Он вдруг наклонился к Францишку и со страшной силой схватил его за запястье. — Говори, — прошипел он. — Ты уже стучишь или нет?

— Еще нет. А ты?

— Я тоже еще нет. Сам скажу — когда.

— Так значит, ничего не поделать?

— Ничего. Надо было бы спасти коммунизм от коммунизма. Но люди не обойдутся без идеи. Никогда. Легче было бы сдыхать, если бы это был уже последний великий миф человечества. Сдыхать, совершать величайшие преступления, но чтобы люди уже больше не поверили ни в какое солнце. Какое там! Пройдет время, и непременно найдется какой-нибудь сумасшедший, который схватит икону и побежит с ней через город... — Он коротко рассмеялся. — Если бы я еще раз родился, — сказал он, — и хотел отомстить людям, я сочинил бы им новую идеологию. Вести толпы к солнечным дням будущего — это великолепно.

— Так и должно быть, — сказал Францишек. — Ни один человек не выносит сознания. Этого даже требовать нельзя. Общества сбиваются в кучу благодаря мифологии, а не благодаря сознанию.

— Ну, тогда, — сказал художник, — создай новую идею. Любой Христос пригодится человечеству. До креста, если говорить о великих идеях, все в порядке; но Воскресение — это уже безумие. Увы, я все время повторяюсь. К тому же, сегодня Христа сгноили бы психологическим следствием. Показатель прогресса. Выпьем за трухлявеющие кресты. Виват!

— Виват.

У них уже кружились головы, а грозное сияние нарастало; они сидели в сердцевине города, в сердце ночи, агонизирующей в грязных лужах, окруженные и пригвожденные мертвым взглядом

десятков пар глаз, и Францишку вдруг показалось, что, кроме этого единственного, жестко улыбающегося лица, он не видел в жизни ни одного другого — он, художник, Эльжбета, мальчики, непрерывно скулящие в коридоре, все люди, копошащиеся под солнцем этой земли, выглядят точно так же. Так выглядит человек и его дело, высшее дело этого несчастного существа, дело верности и совести, которое поручено ему Богом, Дьяволом или Природой, чтобы еще более хрупкой, тревожной и тяжелой стала его жизнь, а жизнь его всегда и при всех обстоятельствах — кладбище: вдоль, вширь и поперек равнодушной земли.

— Нет, — сказал он. — Не это хуже всего. Если я живу, значит, я решил на это и не должен скулить. Можно пройти любой ад, можно пережить любую тиранию, можно выбраться из любого болота и любой беды, если есть хоть капля уверенности, что где-то существует человек, который ходит, как ты, дышит, как ты, так же страдает, ищет или борется, сохраняя чистоту. У нас никто не может на это надеяться. У нас, среди нас, остановилось сердце мира. Здесь погиб великий, несчастный миф. Не где-нибудь, а именно здесь — здесь, куда обращены взоры всех униженных и оскорбленных. Здесь умерло доверие мира. Надежда. Все слова. Все понятия. Все мечты об освобождении человека. Ты прав: это — кладбище. Это-то и есть самое худшее. Откуда брать силы?

— Как откуда? — спросил художник. — Да из того, что найдутся новые кретины. Вот что самое худшее. Или ты ищешь утешения?

— Да, — сказал Францишек. — Я ищу утешения.

— Но утешения нет, — сказал художник. — Если бы существовало что-то более кретинское, скотское и непотребное, чем человеческая жизнь, — может, нашлось бы какое-нибудь утешение. Увы, до сих пор ничего такого не открыто, а человечество все ждет своего звездного часа. Пока что изобрели себе вечность, вечность с грудой трупного гноя. Толкнись туда, если тебе нравится. Все равно все там будем, и человека всегда ставят лицом к вечности пинком под зад. Вот и весь смысл чести и славы.

— А если бы я нашел... — сказал Францишек. — Если бы я нашел хоть одного из наших, кто думал бы иначе?... — Он поднял на художника воспаленные глаза. — А Ежи? — спросил он тихо.

— Что Ежи?

— Он так же думает?

Они оба замолчали, и вдруг сделалось тихо и торжественно.

За окном, невидимый и поваленный в тьму, как страшное насекомое жужжал город. По потолку пробегали пятна тени и света, однообразно гудела печка, а они оба — Францишек и художник — вдруг ощутили присутствие чего-то великого, чего-то твердого и торжественного, словно вечность склонилась к ним свое равнодушное, никому до конца не открытое лицо.

— Да, — сказал наконец художник. Он склонил свою огромную голову и вглядывался в сплетенные на коленях, изъеденные красками руки. — Может, он другой? Такие, как он, не погибают. — Он резко поднял голову. — Слушай, — сказал он. — Иди к нему. Иди сейчас же, не оттягивай. Он один может тебе помочь. Он был лучшим из нас. Самым чистым. Ему одному ты можешь поверить. Иди.

— Идем со мной, — сказал Францишек.

Он смотрел на художника испытующе и видел, как в его глазах — краткий, как взмах крыла, — загорелся огонек. И тут же глаза его снова уподобились глазницам статуи.

— Нет, — сказал он. — Никуда я не пойду... — Он указал пальцем на сияющие бюсты. — У меня есть заказ, я должен работать. Это единственная надежда.

— То есть?

— Дождаться, — сказал художник. — Дождаться и видеть, как люди будут открыто взрывать мои потрясающие творения. Только это. Адье.

— Что сказать ему от тебя?

— От меня? Обо мне?

— Ну да.

— Разве не ясно, Францишек? — сказал художник. — Разве не ясно? То же, что о нас обо всех. Что я сдох. До свиданья. Заходи когда-нибудь на чашку чая.

Францишек вышел. Он снова шел по темному коридору; визжали кошки и собаки; он шел, спотыкаясь в пыли и во тьме — и все вырывая из детских рук штанину.

XV

— Сегодня разве воскресенье? — спросил Францишек.

— Нет, — сказала Эльжбета. — Пятница.

Он отложил бритву и отвернулся от зеркала.

— Так почему ты не на лекциях? — спросил он.

Она молчала, опустив голову. Глаза у нее были опухшие, с синяками на веках; ее лицо за последние дни странно съежилось, потеряло краски, уголки пухлого рта опали. Он подошел ближе и беспомощно остановился. Он ждал какого-то движения с ее стороны, но она сидела неподвижно, с неизвестным ему до сих пор выражением враждебности.

— Ну.

— У меня сегодня нет лекций, — сказала она. — Ни сегодня, ни завтра... — Она хотела встать, но он придержал ее за руку.

— Доченька... — начал он.

Она оттолкнула его с неожиданной силой, словно это ласковое слово было ей особенно неприятно.

— Отойди.

— Что случилось?

— Ничего не случилось, — крикнула она. — Что ж еще могло случиться! Оставь меня в покое.

Он вышел, не позавтракав; голодный, плохо выбритый человек. Все еще не было признаков весны; несколько недель шел дождь со снегом, несколько недель город пропитывался сыростью — какой-то особенно грязной, противной, невыносимой, в то время как ветки худосочных городских деревьев оставались твердыми и сухими; по серому небу бесцельно продвигался масляный глаз солнца — ненужный и раздражающий. "Что с этой весной? — думал он, задирая на ходу голову. — Была ли у меня когда-нибудь такая весна?" Он увидел на углу автомат; за стеклянной дверцей никого не было, он вошел. Он набрал номер и услышал тот же женский голос.

— Могу ли я говорить с Ежи?

— Кто просит?

— Ковальский, — сказал он. — Францишек Ковальский. Что, Ежи вернулся?

— Подождите минуточку, — сказала женщина и отложила трубку. Он ждал с колотящимся сердцем. Наконец она вернулась. — Ежи немного нездоров, — сказала она. — Вы можете прийти ближе к вечеру?

— Да, — сказал он, — конечно. Я приду сразу после работы. До свиданья.

— Алло, — сказала женщина внезапно приглушенным голосом. — Минуточку. Вы меня хорошо слышите? Ежи немного не-

здоров. Ежи плохо себя чувствует. Не забудьте об этом, пожалуйста. Вы меня поняли, правда?

— Да, — сказал он, — естественно, в такую-то погоду. До свиданья, я приду сразу после работы.

Он повесил трубку и вышел; он снова бежал на работу вместе с толпой возбужденных, раздраженных людей — они ругались, наступали друг другу на ноги, кто-то громко обещал написать жалобу на кондуктора, тот отлаивался хриплым тенорком с другого конца вагона: — А поцелуйте меня... — Францишек смотрел на проезжающие за окнами вагона серые, сырые стены и думал: "Весна, весна..." — Вы босяк, — кричал кто-то толстый, размахивая портфелем над головами пассажиров. — Понятно? — А вы? Советский ученый? — Люди, стиснутые на площадке, робко заскулили от счастья. — Что такое? — откликнулся вдруг знакомый звонкий голос. — Кому тут не нравится? Скажите прямо: нравится вам или не нравится? "Вот и ты, я ждал твоего голоса. Ты должен был появиться, мой буревестник..." Трамвай затормозил; Францишек поднялся на цыпочки и выглянул — милиционер с кучкой задержанных уже шагал по тротуару.

Потом завывала сирена, и он никак не мог дождаться ее нового рева, означающего конец рабочего дня, а когда наконец услышал ее басистый голос — первым бежал к воротам, оглушенный боем собственного сердца, колотившегося даже тогда, когда он уже стоял перед дверью квартиры Ежи; он стоял свесив руки, не находя сил поднять одну и позвонить; он молчал, пораженный немощью перед последней дверью этого города; он молчал даже тогда, когда хозяйка помогала ему снять плащ в прихожей, и не слышал ни слова из того, что она говорила ему, проводя через прихожую. Странно длинная была эта прихожая и какая-то очень старосветская и темная, полная шкафов, сундуков и проклятых половинок, которые мешали идти, зловредно скручиваясь под ногами. Наконец он вошел в комнату.

— Ежи, — сказал он. — Ежи.

Слезы застили ему глаза, и он не видел того, кто стоял перед ним, тоже что-то громко говорил и крепко пожимал ему руку. Он не стыдился своих слез и своего лепета; он был уверен, что наконец достиг какого-то предела, окончил свое путешествие и обрел спокойствие — неизвестно какое, но спокойствие. Наконец он пришел в себя и глянул: перед ним стоял истощенный скелет с провалившимися щеками и глазами без единой искорки, в ка-

кой-то жалостно великоватой одежде — худые руки нелепо торчали из широких рукавов; но это был он, и больше ничто не имело значения. Они уселись, бормоча и хлопая друг друга по коленкам.

— Ну, Францишек, — сказал Ежи. — Рассказывай, что у тебя слышно.

— Ежи, — сказал Францишек. — Это не слишком-то умно выглядит. Я даже не знаю, как начать. Знаю только, зачем я к тебе пришел. Дай мне еще раз то, что ты дал мне когда-то. Когда-то в лесу. Когда-то, когда я сдыхал.

— Что, Тоций?

Они улыбнулись друг другу, и Францишек вздрогнул: сидящий напротив скелет обнажил в улыбке старческие беззубые десны.

— Что, Тоций? — повторил командир.

— Веру. Веру во что бы то ни было. Хоть бы в то, что ты все тот же.

— Я все тот же, — сказал Ежи. Он сказал это чересчур быстро; в глазах его промелькнул страх. Может, и не страх, но все, что угодно, только не вера. Францишек улыбнулся и сказал:

— Ты не тот же.

— Веру, — сказал Ежи. Он встал, и подошел к Францишку, и положил ему на плечо исхудалую руку. — Где твоя вера, — сказал он, сурово глядя. — Где твоя вера, Францишек? Или ты ничего не видишь?

— Вижу, — сказал Францишек. — Куда ни повернусь, вижу вещи, против которых человек должен встать и бороться. Если еще существует какая-то борьба и какой-то смысл.

— А я вижу другое, — сказал Ежи, глядя в угол комнаты. И заговорил быстро-быстро, сглатывая слюну. — Я вижу освобожденного человека. Человека, который победил самого себя и отрекся от самого себя. Нету иной победы. Это окончательный смысл: побеждать, забыв о себе. Каждый победитель должен сначала убить самого себя. — Он обернулся, и Францишек с ужасом увидел, что слезы текут по его запавшим щекам. — Человек, — прокричал Ежи, вознося кулаки над головой и беспомощно ими потрясая. — Человек, всюду был человек! На полюсе, на краю света, на горных вершинах и в морской глубине. Он изобрел таблицу умножения и атомный распад; кино и радио; паровую машину и пенициллин; он был в концлагерях, в крематориях, в массовых могилах, и все-таки он живет, возрождается, размножается. Вот

жизнь, вот победа. А ты спрашиваешь о вере. Где твоя вера, скотина? — крикнул он дико. — Где твоя вера? Я все тот же; был, есть и буду только таким, каким ты меня всегда знал. Вы мне снова не доверяете. Снова подсылаете ко мне шпики. — Он театральным жестом вытянул руку и указал на дверь. — Вон! — крикнул он. — Я не хочу вас видеть. Никого не хочу видеть. Я сделал, чего вы от меня хотели, а теперь оставьте меня в покое... — Он постоял, онемев, как статуя, и вдруг бросился на колени перед Францишком. — Прости, — прошептал он. — Я знаю еще много. Я знаю все и могу быть полезен. Я знаю, что все они думают — все, все, все. Мы проберемся в любую мысль, в любой поступок, в любой закуток мозга; даже туда, где рождаются дурацкие мысли. Но это неправда, — крикнул он. — Нет дурацких мыслей. Мыслить можно только так, как мы хотим, или вовсе не мыслить. Никаких других мыслей. Довольно уже было мыслей, за которыми ничего не следовало. Теперь надо победить. — Слюнявыми губами он поцеловал руку Францишку. — Мы победим, — взвизгнул он. Мы все победим. Надо только кое-что изменить. Мы ворвемся даже в сны; глупые сны тоже вредят делу. Надо победить сны, — крикнул он, с дьявольской силой сжимая свои трупьи пальцы на плече Францишка. — Теперь это будет нашей задачей. А сейчас пой.

Он запел пискляво, глядя на Францишка замутившимися глазами:

Это есть наш последний...

Он пел. Его плечи конвульсивно дрожали, слезы текли сквозь пальцы, которыми он прикрыл старческое лицо. Выглядел он омерзительно: седая голова тряслась на тонкой красной шее. Францишек сидел задеревяневший и почти неменяемый от ужаса. Кто-то взял его за плечо.

— Идите уж, пан, — сказала женщина. — Очень прошу, уходите уж.

Он одевался молча.

— Вы ничего не знали?

— Нет.

— Он сидел, — сказала она. — Два года. Допрашивали его по-своему. Даже мне не хочет сказать, как там было. Каждого, кто приходит в дом, подозревает, что оттуда. Поэтому у него эти страшные приступы... — Она придвинулась ближе. — Вы правда не знали, что он...

Она заколебалась.

— Не только он, — сказал Францишек. — Все. Пожалуйста, не напоминайте ему обо мне никогда.

— Да он все равно не понимает, — сказала она.

— Тем лучше для него. Спокойной ночи.

XVI

Он уже начал подниматься по ступенькам, когда его окликнули:

— Эй, гражданин Ковальский!

Он остановился. Это был дворник, худющий мужик в дра-ной серой куртке. Они стояли молча и глядели друг на друга: опухшая физиономия дворника выдавала смущенную озабоченность. Несколькими лестничными клетками выше двое мужчин несли что-то большое и тяжелое, громыхали и один на другого покрикивал: "Стефан, боком заноси..."

— В чем дело? — спросил Францишек и, не получив ответа, повторил: — В чем дело, гражданин управляющий домами?

Дворник поглядел-поглядел собачьими глазами, потом повернулся на пятке и вошел в дворницкую. Францишек пожал плечами и пошел наверх. Странно — несмотря на довольно поздний час, почти на всех площадках стояли жильцы: женщины в халатах, мужчины в спадающих брюках, старикашки, студенты; откуда-то завернул даже пьяный солдат; все перешептывались и лихорадочно жестикулировали, а их бегающие глаза выдавали величайшее возбуждение; однако, когда Францишек шел мимо, шепот умолкал, и люди отодвигались в тень. На какой-то площадке между этажами пожилой господин сражался с окном, не в силах его открыть, дергал медную задвижку, со злостью повторяя: "Молодежь, молодежь..." "Откуда эти люди? — сонно думал Францишек. — Откуда столько людей в этом доме?" Он все шел мимо них, расталкивая их локтями; жил он высоко и шел очень медленно; он устал, так устал, что сладкий запах газа ощутил только в темном коридоре, ведущем к его двери, к выломанной, криво висящей на одной петле двери, из которой выходил человек в резиновом фартуке с маской на лице.

Эльжбета лежала на боку, скрюченная и свернувшаяся как-то странно, как подстреленная птица. Вены обеих рук были вскрыты в двух местах, ниже локтя и выше запястья. Врач укла-

дывал инструменты, два санитары стояли рядом, с масками в опущенных руках. Кровь уже застыла и затвердела; ветер врывался сквозь выбитое окно и мотал занавеску. Врач посмотрел на Францишка и сказал:

— Часа два назад.

Францишек кивнул головой. Твердым шагом он подошел к столу; взял конверт и вскрыл его. "Прости, — написала она, — но это самое разумное, что я могла сделать. Выбросили тебя из партии — и Миколай ушел из дома. Миколай ушел из дома — и меня выбросили из института, незачем учиться детям тех, от кого избавляется партия. Разошлась с Романом, потому что он выступил с самокритикой, что жил с дочерью такого человека, как ты. Я не хочу, чтобы эта цепочка дошла до моего ребенка, а погубить его иначе уже поздно. Деньги в буфете. Прачка придет во вторник. Прощай."

Врач спросил:

— Вы поедете с нами в морг?

— В морг? — удивленно повторил Францишек. — Нет.

— Что я мог бы сделать для вас? Может, дать что-нибудь успокаивающее?

— Ох, — сказал он раздраженно, — да оставьте меня в покое... — Он подошел к постели и глядел на застывшее лицо Эльжбеты: постель стояла близко от раскрытого окна, ветер поднимал занавеску, и тогда в молочных глазах Эльжбеты мигал красный отблеск. — Откуда этот свет, — проворчал Францишек. Он повернулся к врачу: — Вы уверены?

— Постарайтесь заснуть, — сказал врач. — Завтра вам придется улаживать формальности.

— Хорошо, — сказал Францишек. — Но только завтра.

— Разумеется.

Один из санитаров сказал:

— Нам пришлось выбить стекло, — и махнул рукой с маской. А второй прибавил: — Напротив есть стекольщик. Я там живу. Записать вам адрес?

— Спасибо, — сказал Францишек. — Я запомню. Напротив?

— Да.

Они вышли, сгибаясь под тяжестью; врач улыбнулся глуповато и тоже вышел; еще некоторое время он слышал их шаги на лестнице и рокот человеческих голосов; потом сквозняк захлопнул незапертую ими дверь. Он поднял воротник плаща и

подошел к окну; снова ворвался ветер, поднимая занавеску, и тогда Францишек понял, откуда шел красный отблеск в глазах Эльжбеты. Неон пылал победно и уверенно; уже вставили недостающие буквы; на грязном, беззвездном небе, над темной массой сырого города, дрожали гигантские буквы; на этот раз он прочитал их старательно, с начала до конца, как нечто, увиденное в первый раз и никому до тех пор не известное.

XVII

Долго не наступала весна в этом году, холода и дожди измучили город, и факт, что праздник Первого мая выпал на первый веселый и теплый день, стал чем-то дополнительно радостным и торжественным — подчеркивали комментаторы радио и прессы. С самого утра улицы были заполнены людьми — оживленными и празднично одетыми; на больших площадях формировались колонны; из тысячи установленных рупоров гудели заливчатские марши и массовые песни; в яркой толпе павлиньими цветами переливались региональные костюмы; черные султаны шахтерских шапок, матросские воротники и фантастические наряды сталеваров, прятавших радостные лица за цветными "стеклами" щитков. Веяли на ветру лозунги и гирлянды, а солнце уже разбудило лица стоящих с утра людей — это был по-настоящему хороший день. Наконец — в полдень, когда городские часы торжественно пробили двенадцать раз, — демонстрация двинулась.

Плохо одетый пьяненький стоял на краю полного людьми тротуара. Он напряженно вглядывался в весело марширующих людей и вполголоса читал лозунги: "Там — ракеты и мортиры, здесь — рабочие квартиры", "Человек — наше величайшее достояние", "Рабочий класс — гегемон нации" и т.д. Пьяненький потирал руки и смеялся тихонько, но весело, поднимался на цыпочки, просовывал голову подмышкой у тех, кто стоял впереди, а когда в толпе марширующих он увидел группу работников авторемонтных мастерских "Светлое будущее" — захлопал так громко, что вызвал всеобщее одобрение и симпатию. Действительно, группа работников "Светлого будущего" выглядела внушительно: они несли огромную модель автомобиля, одеты были в одинаковые серые комбинезоны, а один из демонстрантов даже вел на поводке великолепного эрдель-терьера; у породистого пса был алый бант на загривке и художественно украшенный намордник.

Человечек на тротуаре, охваченный эйфорией, хлопал так сильно и с таким энтузиазмом, что в конце концов устал, зашатался и толкнул кого-то сзади; тот спокойным, но решительным пинком возвратил пьяненького в прежнюю позицию.

— Ну, — оскорбленно произнес человечек. — Только не пихаться.

— А что, — раздался сзади звонкий голос, — может, вам не нравится? Скажите прямо: нравится вам или не нравится?

Человечек обернулся как ошпаренный: перед ним стоял дородный здоровый милиционер в парадном мундире. Пряжки его ремня, ободок козырька, кобура, медная рукоятка пистолета, свежая кожа ремня и ботинок — все это сияло под весенним солнцем до боли в глазах. Человечек радостно улыбнулся.

— И вы тут? — спросил он.

— Разумеется, — ответил милиционер и дал еще легкого пинка; на этот раз человечек подвинулся без возражений и даже приподнял краешек засаленной шляпчонки.

— Так, — сказал человечек, — так... — Он радостно потер грязные руки и снова повторил: — Так-так... Вы меня помните, надеюсь?

Милиционер едва глянул на него и улыбнулся свысока:

— Нарушение общественного порядка ночью, — сказал он. — Я отводил.

— О, — сказал человечек, — именно: пан отводил. Сходится: именно вы. То есть: собственноручно. Поскольку был с вами и второй милиционер. Правда?

Он снова зашатался, и новый пинок вернул его в достойное положение.

— Так точно, — сказал милиционер. — А что собственно? Не...

Человечек прервал его движением руки.

— Все, — сказал он. — Все правильно. Кажется, я тогда все высказал. Иначе маршировал бы я сейчас вон с теми. А так стою себе спокойно, сами видите. Тем более, что это довольно длинный марш, сами видите: впереди расстреливают, а эти сзади ничего не видят и поют.

— То есть как? Кой черт...

— Да, — сказал человечек, — разумеется. Я ведь говорил вам это тогда, мой милый: и преступления, и извращения, и идеология, превращающаяся в тоталитаризм, — все это, вместе

взятое, никому не вредит. Драма человека непередаваема: пока одни поколения созревают и набираются опыта, история порождает новые поколения беззаботных, которые охотно становятся в шеренги. Вы можете быть спокойны: работы вам хватит до конца дней. Я же вам тогда говорил.

— Когда? — спросил милиционер. — Когда?

Человечек погрозил ему пальцем и захихикал.

— Шутник, ох, шутник... — засмеялся он. — А я, знаете ли, все-таки немного запутал себе жизнь из-за этого.

— Из-за чего?

Человечек внезапно разозлился.

— Как это — из-за чего? — выкрикнул он гневно; милицесская коленка не дала ему пошатнуться. — Из-за того, что тогда наговорил. Я же говорил это все вам и прочим в отделении. Вы что думаете? Колонны, радостные улыбочки? Так оно и должно быть, и я считаю, что все правильно, все так, как я сказал. Любая тирания кончается примерно так же, как женская красота: чем великолепней фасад — тем больше гнили внутри; чем красивей платье — тем омерзительнее тело; чем больше слов о силе и верности — тем больше террора, тем слабее те, кто правит. Бляди и тираны кончают одинаково — как это вы простых вещей не понимаете? А тут ведь все сходится, как в головоломке. О чем вы беспокоитесь, чего вам не хватает? Надежды? На тебе надежду: сознание, что на тысячи других так же плюют, так же их презирают, как и меня, что тех, кто родился раньше нас, так же презирали и мучили, и что те, кто родится после нас, пройдут через то же, что и мы. Это вас устраивает? Сколько раз я вам должен это повторять, а, пан?

— погоди, пан, — сказал милиционер и потер лоб. — Да когда вы мне это говорили?

— Тогда, — сказал человечек, — тогда я вам всем говорил. Тогда или теперь, раньше или позже — какая разница? Всегда найдется кто-то, кто в один прекрасный день поймет слишком много и будет обречен. А если и не поймет, все равно найдут какого попало человека, донесут на него и обвинят, ни за что, ни про что; и будут его преследовать и мучить, схватят и казнят, да еще прикажут ему петь гимн в честь своих убийц; это придется сделать хотя бы для того, чтобы другим членам общества в один прекрасный день не вздумалось, что они и сами сумеют решать за других. Так и должно быть, и что вас тут, черт побери, удивляет? Что же

такое, наконец, человек, со всеми своими страданиями, желаниями, любовью? Вечная бессмыслица в бесконечности. Чтобы уберечь его от сознания, всегда надо будет найти какого-нибудь Францишка.

На здоровом лице милиционера проступило безграничное отчаяние.

— Какого Францишка? — спросил он, отирая пот со лба. — Святого Францишка Ассизского?

— Нет, — сказал человечек и зло притопнул ногой. — Я вам еще тогда говорил, что нет героев и святых: есть только необходимость, которая в каждый данный момент выжимает из человека то, что нужно. Зачем сразу святой? Хватит и Ковальского. С любым Ковальским можно сделать все, что нужно, в ту или другую сторону, если только возникнет необходимость.

— Пана, — сказал милиционер. — Кому вы все это говорили? Отвечай, пан, а то я пойду в подворотню и застрелюсь. Говори, пан, — крикнул он слезливым голосом, — мне уж все равно.

— Вам, — мстительно сказал человечек.

— Мне?

— Вам и остальным. Тогда, в отделении.

— Пан такой идиот, какого я еще в жизни не видывал, — сказал милиционер, и на лице его отразилось невыразимое облегчение. — Пан ничего не говорил, потому мы пана и отпустили. Пан был спокойный и вежливый, потому-то мы все отнесли к пану сердечно. Мы видели — человек партийный, вежливый, спокойный — ну, поугали немножко и утром отпустили домой. Наш начальник отделения с каждым так поступает, будь то хоть засранная церковная прихлебалка. Переступил порог отделения — должен бояться, кто бы ты ни был. Для вашего же блага поугали; чтоб другой раз спокойнее был, местечка не потерял, билета чтоб не отобрали. Понятно?

Францишек молчал.

— Значит, я ничего не говорил? — вымолвил он в конце концов.

— Ни единого слова. То есть: пи-пи и так далее. Но ничего плохого.

— И ни в чем я не виновен?

— Ясно. Вас выпустили, протокол в корзину — и с приветом. Помогаем людям как можем. Каждый знает, что вся эта забава только на подтирку годится, и от вас никто не ждал никаких

объяснений, а принялись бы вы объяснять — сразу в морду и в одиночку. Катись, пан, домой и не переживай.

— Нету больше домов, — сказал, помолчав, Францишек. — Одни кладбища... Значит, все лгали. Забавно. И вы, и мой секретарь, и Ежи. Но теперь это уже не имеет значения: правда еще глупее, чем я предполагал.

— Ну-ну, — сказал милиционер. — Может вам не нравится? Они смирились взглядом.

— Не нравится, — сказал Францишек.

— Нет?

— Нет.

— Правда, нет?

— Правда, нет.

Оба выпрямились, и оба сразу ощутили громадное облегчение, впервые за долгое время; они стояли неподвижно, глядя друг на друга, — чистые и спокойные; спокойные, как положено, когда начинается что-то важное.

— Пошли, — сказал милиционер.

— Пошли, — повторил Францишек.

Они протискивались сквозь толпу, веселый людской поток разлучил их. Францишек огляделся: блестящая фуражка милиционера мелькнула где-то сбоку. Он бросился к нему.

— Дай мне руку! — крикнул он. — Дай мне руку, а то я снова потеряюсь!

1955-1957

Марек ХЛАСКО

Культурные счета

Судьбы польского культурного достояния, вывезенного в Россию

История польских собраний культурных ценностей полна описаниями потерь, понесенных в результате военных разрушений и грабежей, конфискации и вывоза. Новейшие примеры относятся ко Второй мировой войне, ранние — к эпохе войн со шведами (XVII век). Однако самые тяжкие, самые болезненные потери польские ценности понесли в результате конфискации, начатых в 1794 г. Екатериной II, отлично разбиравшейся в ценности библиотек и коллекций, созданных или расширенных в царствование последнего польского короля Станислава Августа Понятовского.

Немедленно после подавления восстания Костюшко и резни Праги, в ноябре 1794 г., перед подписанием трактата, завершавшего третий раздел Польши, царица — известная миру как покровительница наук и литературы — поручила А.В.Суворову вывезти в Россию "Библиотеку Речи Посполитой называемой Залуских", якобы для того, чтобы ... уберечь ее от прусского грабежа. Суворов не замедлил исполнить приказ, и в пору докучных осенних дождей из Варшавы тронулись в путь первые фуры с библиотечными сокровищами. Секретарь французского посольства в Вене, иезуит о. Жоржель, бывший в то время в Варшаве, свидетельствует в своих воспоминаниях, что упаковку книг и надзор за обозом поручили казакам, которые "швыряли книги и рукописи, словно бревна, в длинные наскоро сколоченные ящики, иногда переполовинив саблями особенно толстые фолианты, чтобы они лучше поместились в ящиках". Во время путешествия, как пишет Иоахим Лелевель, "разные с ящиками вышли происшествия", казаки по пути продавали книги и рукописи "корцами". 23 февраля обоз достиг Петербурга, насчитывая, как установил направленный для его приемки чиновник Г.Богданов, 182 159 книг и 16 044 гравюр. Второй обоз поднял эти цифры до 382 640 печатных изданий, 24 574 гравюр и ок. 120 000 "мелкопечатных" из-

даний, что и ныне выглядело бы собранием, достойным внимания!

Тот же 1795 год совершенно иначе вписан в историю российских библиотек. Именно тогда доныне существующая Библиотека им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде начала свою деятельность под именем Публичной библиотеки. Ее фундаментом стали собрания, вывезенные из Польши. Один из первых директоров ее, А.Оленин, так характеризовал это приобретение в отчете за 1809-1812 гг.: библиотека Залуских "являет собою и трофей, победоносными Российскими воинами под предводительством величайшего из полководцев /т. е. Суворова/ в бывшей столице Поляков приобретенный как часть праведного возмездия за насилия, обиды и разорения, древле ими Отечеству нашему нанесенные".

Свезенные в столицу собрания негде было поместить — по той простой причине, что в то время, когда в Польше еще с 1747 г. библиотека Залуских практически играла роль национальной библиотеки, в России только выдвигались проекты представительной государственной библиотеки. Поэтому, когда фуры достигли Петербурга, их содержимое было свалено в садовом павильоне Аничкова дворца, где было поручено попечительству некоего Василия Попова. С согласия властей, он "пополнял" книгами из Польши различные российские библиотеки. Например, Медицинская академия в 1797 г. получила 5 411 трудов по медицине и естествознанию. Особенно лакомым куском были широко представленные в библиотеке типичные для эпохи Просвещения иллюстрированные издания. В 1798 г. директор Публичной библиотеки граф Шуазель-Гуффье выдвинул далеко идущий проект: поделить все собрание между Академией наук, Медицинской академией, университетом и менее крупными научными библиотеками, — но дело остановилось на взятии из библиотеки отдельных трудов. Остальное пролежало в ящиках до 1805 г., до принятого Александром I решения о создании Императорской Публичной библиотеки. Ей были переданы также ценные польские архивные материалы, выделенные из Метрики Литовской по требованию первого ее директора А.Строганова. Сюда входили 50 папских булл и документы, относящиеся к польско-казацким отношениям в Литве. Их перечень составил П.Дубровский в протоколе, озаглавленном "Опись делам в картонах, составленная в 1808 году, какие оставлены в Метрике, а какие выданы в Императорскую Библиотеку под расписку Дубровского".

* * *

Чем была для Польши Библиотека Залуских? Прообразом национальной библиотеки? Несомненно, но, сверх того, одной из первых в Европе публичных научных библиотек. Ее основали два брата Залуские, старший из которых, Анджей, был великим коронным канцлером и епископом, сначала плоцким (с 1723), а затем краковским, младший же, Юзеф Анджей, — великим коронным референдарием и епископом киевским (с 1758). Именно он, младший Залуский, был истинным основателем библиотеки, которую проф. Марцелий Хандельсман определил как "первое и для своего времени единственное национальное собрание книг на европейском континенте, возникшее за много лет до создания национальной библиотеки, института и архива революционной Франции".

Начало книжного собрания связано с коллекционерской страстью семьи Залуских и родственных им семей. В 1732 г. младший Залуский в "Programma literarium ad bibliophilos" выдвинул проект создания публичной библиотеки в Варшаве. В 1736 г. он купил дворец Даниловичей и еще усиленной стал расширять собрание. Уже в 1740 г. он с гордостью включил в библиотеку книжное собрание Собеских (т.н. "жулкевская библиотека"), куда входили такие ценности, как многочисленные произведения из собрания Якуба Собеского, отца короля Яна III Собеского, и книги из библиотек Сигизмунда Августа, Стефана Батория, Владислава IV, гетмана С.Жулкевского и др. Во время частых зарубежных путешествий еп. Юзеф Анджей Залуский буквально охотился за ценными изданиями, содержал специальных агентов, которые сообщали ему об аукционах и книжных ярмарках в Париже, Гамбурге, Амстердаме, Лондоне и др. городах. Используя свое положение в церковной иерархии, он просматривал монастырские библиотеки, извлекая из них ценнейшие произведения, которые, в свою очередь, несколько *per fas et nefas*, попадали в создаваемую им библиотеку. Она расширялась наилучшим образом и в 1747 г., на торжественной церемонии открытия, получила статус публичной библиотеки. Тогда был объявлен конкурс на трактат или поэтическое произведение на тему пользы публичных библиотек для развития науки.

Следует отметить, что Залуские заботились о равномерном развитии всех отделов библиотеки, подчеркивая важность естест-

веннонаучного. Попечение над библиотекой должны были вести иезуиты, но как раз перед смертью Яна Анджея орден был упразднен, и король Станислав Август объявил библиотеку собственностью Речи Посполитой, дал ей право получать обязательный экземпляр всех выходящих в государстве изданий, а попечение над ней поручил Комиссии национального образования. Об отношении короля к библиотеке говорил тот факт, что он приказал за его счет переплести самые ценные рукописи и польские старопечатные издания, снабжая переплеты суперэкслибрисом с гербом "Бычок" и надписью "Stanislaus Augustus, Rex Polonorum, saeculorum posteritati vindicat".

Из истории собрания стоит отметить, что еп. Ян Анджей Залуский провел 1767-1773 гг. в Калуге, высланный туда по приказу Екатерины II за выступления в Сейме. Однако и в ссылке он не прервал работы по собирательству, переписывался с книготорговцами всей Европы, составлял каталоги и написал (стихами!) перечень польских авторов XVII века.

За неполные 50 лет деятельности (1747-1794) библиотека Залуских накопила собрание книг, приближающееся к 400 тыс. названий книг и 10 тыс. рукописей, и большие коллекции карт и гравюр. Как и возникавший одновременно Британский Музей, ее дополнял кабинет математики и естествознания и астрономическая обсерватория.

На титульном листе большинства изданий, прошедших через руки Залуского, его невероятно характерным почерком записаны указания, как данный объект следует каталогизировать. Эти указания часто дополнялись звездочками, число которых — как в путеводителях Бедекера — означало степень интереса, возбуждаемого книгой или рукописью. Иногда он приписывал от руки, только на латыни, что издание "редкое", "очень редкое", "неслыханно редкое" или уникальное, что он обозначал словом "феникс". Часть книг, прошедших через руки библиотекаря Залуских Яна Даниэля Яноцкого, снабжена его ценными информационными примечаниями. Поскольку этот тип помет повторяется на тысячах книг, они легко отличимы.

Для польского народа библиотека Залуских стала символом высших культурных достижений эпохи Просвещения, а ее вывоз и позднейшее дурное обращение ощущались как особенно болезненное оскорбление.

* * *

Польша не раз пыталась возвратить собрание Залуских. Впервые этот вопрос был затронут во время Тильзитских переговоров (1807). В 1814 г. князь Адам Ежи Чарторыский направил Александру I специальный меморандум, посвященный вывезенным из Польши ценностям, а двумя годами позже его требование повторил государственный секретарь Соболевский. Кажется, он получил обещание, что часть собрания будет возвращена. Возврата их, от имени Королевского общества друзей наук в Варшаве, требовал Станислав Сташиц. Новые старания, исходившие из попытки соответствующей интерпретации права наследования, предпринял куратор библиотеки от семьи Залуских, назначенный Комиссией образования, Теофиль Залуский. Ему ответил Новосильцев: "Так называемая библиотека Залуских, много лет составляя часть Императорской Публичной библиотеки в Петербурге, уже не может быть предметом претензий со стороны частного лица". Малая часть собрания была, однако, возвращена в 1842 г., когда Варшавскому учебному округу было передано 24 540 томов из библиотечных дублетов. Еще раз в 1862 г. 17 тыс. менее ценных книг было передано варшавской Главной школе в результате стараний маркграфа Александра Велепольского.

Старания возобновились в 1905 г., в атмосфере революции. Моральную поддержку им оказала некоторая часть российского общественного мнения. К.Диксон посвятил этому вопросу статью в "Нашей жизни" (1905, №170). Он писал: "Если учесть, что среди перевезенных томов находится целая масса ценного материала по истории Польши, то нельзя сказать, чтобы эта перевозка оказала услугу польской науке. Равным образом следовало бы усомниться, обогатило ли в чем-нибудь русскую науку это перемещение польских книг в Петербург... Поскольку мы убеждены, что польские отделы российской Публичной библиотеки были бы полезней в Варшаве, чем в Петербурге, мы считаем совершенно справедливым исполнение этого в высшей степени оправданного требования польского общества". Точку зрения "Новой жизни" поддерживали "Биржевые Ведомости" (1905, №8937) и "Слово", написавшее, в частности: "Петербург чрезвычайно мало походит на Александрию, и от накопления в нем научных сокровищ русская наука приобретает немного" (1905, №201).

Когда 12-ю годами позже, после падения самодержавия, Временное правительство провозгласило независимость Польши, в Петрограде была создана Ликвидационная комиссия по делам Царства Польского, которая начала составлять перечень польских претензий в области культурного достояния. Дальнейшие события прекратили работу комиссии, и вопрос вновь был поднят лишь в Риге, во время предварительных мирных переговоров. Польская сторона добилась включения в документ, подписанный представителями РСФСР 12 октября 1920 г., пятого параграфа, содержавшего обязательство возврата Польше архивов, библиотек, произведений искусства, исторических военных трофеев, исторических ценностей и иных предметов культурного достояния, вывезенных из Польши в Россию со времени разделов. Это обязательство теоретически было подтверждено в ст. IX мирного договора, заключенного в Риге между Польшей и Советами 18 марта 1921 года. Эта статья определила как подлежащее возврату — достояние, вывезенное начиная с 1 января 1772 г. (дата первого раздела Польши), однако содержала клаузулу, относящуюся к соблюдению целостности российских коллекций, имеющих мировое значение. Эта клаузула вызвала неблагоприятное для Польши толкование буквы Рижского договора. 13 сентября советские эксперты отказались выдать Польше коллекции Залуских, доказывая, что, хотя и вывезенные из Польши, в настоящее время они являются частью достояния всемирной культуры либо (когда речь шла о книгах и рукописях на латыни и на живых иностранных языках) "по содержанию своему и языку они являются фундаментальными источниками и памятниками непольского происхождения и остаются в ближайшей связи с историей и культурой народностей, входящих в состав СССР".

Переговоры на эту тему продолжались 7 недель, после чего 30 октября 1922 г. было принято компромиссное соглашение. Советская сторона согласилась выдать: а) библиотечные инвентарные книги и каталоги, относящиеся к польским собраниям; б) большинство рукописей, за исключением церковнославянских и еще 1400 рукописей по богословию и каноническому праву, не касающихся непосредственно Польши; в) половину французских и итальянских рукописей, среди которых находились весьма ценные молитвенники, иллюминированные прекрасными миниатюрами. Кроме того, возврату должны были подлежать автографы, польские архивы и сравнительно небольшое число редких книг,

т. н. *simelia*, — 10 тыс. томов! Хуже всего выглядел вопрос о возврате инкунабулов и ценной коллекции "альдин" (из венецианской типографии Альдо Мануциуса, работавшей в последние годы XV в.) и "эльзевиров" (из голландской типографии XVI-XVII в.). Из собрания этих крайне редких, разыскиваемых коллекционерами изданий, составлявшего несколько сот томов, — Польше полагалось получить лишь немногие экземпляры, непосредственно связанные с историей или культурой Польши ввиду имеющих на них заметок о происхождении или экслибрисов, подтверждающих, что они принадлежали польским лицам либо учреждениям, или же глосс (приписок) польских читателей. Взамен за невозвращенные книги из этих категорий (а их было много!) Польша должна была получить эквивалент в виде польских изданий из коллекций, созданных не в результате вывоза книг из Польши, что было детализировано в весьма запутанных формулировках. В ходе всей деятельности Претензионной комиссии шли упорные битвы за объекты такого рода, как, например, закупленные епископом Юзефом Анджеем Залуским французские молитвенники (на пергаменте, иллюминированные) или другие тома сочинений, где лишь на томе первом стояли отчетливые знаки польской собственности. Занятым в этих торгах было то, что коммунисты из советских библиотек, призванные советской стороной для определения ценности рукописей и книг религиозного содержания, сражались за то, чтоб оставить их в России!

В конечном счете, из 383 640 книг, доехавших в 1795 г. до Петербурга, вернулось в Польшу всего 46689. Ясно, что огромный процент вывезенного собрания до сих пор таится в советских учреждениях, притом не в одной только Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина.

* * *

Почему "не только" в ней? Объяснения мы находим в русских источниках. Так, в изданном в 1863 г. "Путеводителе по Императорской Публичной Библиотеке" мы обнаруживаем данные о том, что библиотека Залуских уменьшилась до 238 633 томов "вследствие небрежения и недостатка присмотра" со стороны заведующих библиотекой графа Шуазель-Гуффье и д'Огара. И далее: "... но и в этом числе, вследствие запущенности из-за небрежения, влаги и плесени, многие книги сопрели настолько, что Оленин

/позднейший заведующий Публичной библиотекой/ вынужден был продать эти достойные сожаления останки на вес для переработки". Книги из библиотеки Залуских передавались, в частности, библиотекам православной Духовной академии, Горного института, Ботанического сада и др. Не раз их продавали с аукциона, и уже в 1917 (!) году 40 тыс. томов были переданы новосозданному Пермскому университету. Этим, в частности, объясняется малый процент книг, разысканных в соответствии с Рижским договором. Многие из них, однако, продолжают существовать, несмотря на перемещения и включение в другие собрания, и могли бы вернуться в Польшу, если бы Советы испытывали потребность исправления ошибок царского строя.

* * *

Польские ученые вполне оценили значение обретенных сокровищ, послуживших основой для многих важных трудов: например, польские тома монументального французского издания Общества репродукции иллюстрированных рукописей, подготовленные Станиславой Савицкой; каталоги инкунабулов, ведущих происхождение, главным образом, из бенедиктинского монастыря на Лысой Горе; исправленные издания сочинений польских писателей и т.п. В 1933 г. Национальная библиотека в Варшаве (которой были переданы возвращенные собрания) устроила огромную выставку исторических коллекций, выявившую и доказавшую научную ценность собраний. Это был великий незабываемый праздник науки во время VII Международного съезда историков, проходившего в Варшаве.

Дальше трудно писать: под пером оживает память черных дней Второй мировой войны. Немецкие оккупанты делили и перемещали коллекции по худшим примерам прошлого. После Варшавского восстания значительная часть возвращенного из России была переброшена немцами в здание библиотеки имения Красинских и там сгорела, умышленно подожженная. Однако некоторые следы заставляют предполагать, что часть собрания была вывезена из Варшавы и — кто знает, не досталась ли она в руки советских солдат?

За несколько недель до поджога коллекций, во время восстания, авиабомба разрушила часть стен собора св. Иоанна в Варшаве, привалив погребенные в подземном склепе останки еп. Юзефа Анджея Залуского.

* * *

Отношение руководства Императорской Публичной библиотеки к вывезенным из Польши собраниям было переменным и зависело от характера и квалификации отдельных библиотекарей. Выше уже упоминалось о том, как вели себя два библиотекаря французского происхождения. Но даже Оленин, недовольный поведением своих предшественников, — по свидетельству Ромуальда Хубе, польского историка, пытавшегося использовать в работе собрание Залуских в Петербурге, "глядел только, чтобы полы были натерты да на полках стерта пыль и книги стояли ровно". Миколай Малиновский, другой польский историк, жаловался на трудности, с которыми приходилось добираться до нужных ему книг или рукописей. Некоторые библиотекари, в их числе знаменитый баснописец Крылов, возмущались при появлении читателей, прерывавших их спокойную дрему. Однако наиболее выразительны воспоминания В.И.Собольщикова, сотрудника библиотеки. Он пишет, что в 1834 г. "в залах старого здания все свободные места были завалены горами ящиков с книгами, привезенными из завоеванной Польши. Публику в библиотеку не впускали, библиотекари пользовались отпусками по нескольку лет. Некоторые являлись лишь раз в месяц поставить свой автограф в ведомости кассира. /... / Когда И.А.Крылов дежурил после обеда, он обычно ложился на диван и читал лежа. Если приходил читатель, он не вставал, а только указывал рукой на шкаф, где лежали приготовленные книги". Некоторый порядок только в 1849 г. навел М.А.Корф, который, в частности, разместил в выставочном зале ценнейшие инкунабулы из собрания Залуских. В 1863 г. директор библиотеки И.Делянов поручил провести контроль изданий, записанных как дублиеты. Оказалось, что 6 096 из 30 000 томов определены в дублиеты по ошибке и что среди них есть очень ценные краковские издания XVI века из собрания Залуских. В 1863 г. Румянцевский музей в Москве получил из Петербурга в качестве дублиетов бесценные краковские издания Фиолы: старославянские церковные книги "Часослов", "Триодь постная" и "Триодь цветная". Когда в Публичной библиотеке создали выставочные залы, польские экспонаты бросались в глаза как самые ценные в зале им. Ларина, посвященном историческим наукам. В зале, украшенном гудоновским бюстом Вольтера, были выставлены польские старопечатные издания XV века, в том числе неско-

лько экземпляров "Explanatio in Psalterium" Туррекремата — краеугольного камня старопольского печатного дела, — происходивших из монастырей в Мехове и на Лысой Горе.

Интереснее всего выглядел зал старославянских изданий, из которых самые старые были напечатаны в Кракове, что для эпохи религиозных столкновений свидетельствует о польской терпимости. Там были кириллические краковские старопечатные книги Фиолы — первые экземпляры вышеназванных и "Псалтирь следованная". Но не только Краков был колыбелью кириллической печати. Среди львовских старопечатных книг находились часто уникальные экземпляры таких изданий, как "Часослов" (1609), "Вирши на Рождество Господа Бога и Спаса" (1616), "Антологион" (1632), "Служебник" (1637), "Святительное поучение иерею" (1642), "Ирмологий" (1700) и др. Были и виленские издания: "Молитвослов" (1515), "Евангелия руска" (1575) и очень редкий "Букварь языка словенскаго" (1652). Эти старопечатные книги, которые не вернулись в Польшу, были и остаются свидетельством той роли, которую польские или работавшие на территории Польши печатники исполнили по отношению к России, где первые церковные книги начали печатать только в 1553-56 гг. (кстати, по инициативе Ивана Грозного). До этого церкви получали необходимые печатные книги из-за границы, прежде всего из Польши.

* * *

Библиотека Залуских была первым, но не единственным собранием, вывезенным после разделов Польши в Россию. Другой, особенно красноречивый пример — библиотека Станислава Августа Понятовского, последнего польского короля, составлявшая часть богатых коллекций Королевского Замка в Варшаве, однако формально принадлежавшая королю.

Станислав Август был коллекционером высокого класса, знатоком произведений искусства и любителем книг и гравюр. После поражения восстания Костюшко, когда Суворов отдал приказ вывезти библиотеку Залуских, король был вынужден покинуть Варшаву и отправиться вначале в Гродно, а затем в Петербург, где он умер в 1798 г., завещав попечение над коллекциями князю Юзефу Понятовскому. В 1804 г., под влиянием уговоров Тадеуша Чацкого, который опасался за судьбу королевских кол-

лекций, князь Юзеф уступил их по очень низкой цене, для того чтобы они послужили основой научного оснащения школе, которую создавали волынские граждане, — будущему Кременецкому лицейу, в первый период своего существования носившему название Волынской гимназии. За 15 тыс. золотых червонцев, собранных волынянами, Чацкий купил книжное собрание короля вместе с каталогами и — к этому мы еще вернемся — библиотечным оборудованием: шкафами и украшавшими их бюстами. В цену покупки входили также коллекции минералов и чучел, часть оборудования астрономической обсерватории и коллекция нумизматики. Не шутка — стоимость этих специализированных коллекций оценивали в семь с половиной тысяч червонцев, т. е. в половину цены покупки. И они также были куплены вместе с оборудованием для хранения коллекций — например, минералы заполняли 257 ящиков и 86 полок.

Король имел решающий голос в отборе книг для библиотеки и расширял ее последовательно, пользуясь советами специалистов. Она быстро стала мастерской для научной работы историков, которых король воодушевлял предпринимать широко задуманные труды: например, еп. Адам Нарушевич имел целью написать монументальную историю Польши и собирал для нее материалы в виде копий документов ("Папки Нарушевича"). Ценную и эффектную часть библиотеки составляло собрание эстампов: в нем хранились в 596 томах ок. 30 тыс. эстампов и рисунков, а также ценные издания, иллюстрированные гравюрами по меди, купленные во Франции, Англии, Италии, Голландии — всюду, куда достигали влияние короля и деятельность его посланцев.

Библиотека помещалась в Королевском Замке в Варшаве, в зале длиной 56 м и шириной — 9 м, построенном по планам архитектора Мерлини вдоль крыла Дворца Под Железной Кровлей. Этот зал уцелел и в настоящее время является единственной сохранившейся, подлинной частью Замка. Книги размещались в 12 больших библиотечных шкафах — к 1795 г. коллекция насчитывала 15 580 томов.

В Кременце, когда собрание удвоилось, было сделано еще 26 шкафов "резной работы, жемчужного цвета, лакированных", в которые вместо стекол были вставлены защитные сетки, видимо, позолоченные.

Летом 1805 г. сундуки с библиотекой доставили на буксире в заводь в Крынках, где их перегрузили на фуры, вереница

которых возбуждала в населении энтузиазм и способствовала сбору новых средств на создаваемую школу.

Заслуженный кременецкий библиотекарь, Павел Ярковский, друг матери Юлиуша Словацкого, подробно описал королевское собрание книг в отчете за 1824 год, отправленном инспектору Казимежу Монюшко. "Полезность трудов, составляющих библиотеку, есть одно из главных условий, от которых зависит ее существенная важность. /.../ Знакомясь с собранием книг покойного Станислава Августа /.../ можно убедиться, что он, верный этому принципу /.../ первой целью имел деловую пользу". Отсюда "большое число важных трудов почти по всем разделам наук". Действительно, королевская библиотека была богата не только хорошими изданиями классиков, литературными и археологическими трудами, но также и работами из области точных и естественных наук, в особенности химии. Король приобретал их через посредство, например, ген. Якуба Комарницкого в Англии и Франции.

Кременецкий лицей был ликвидирован по приказу Николая I в ходе репрессий после восстания 1831 г., в котором ученики лицея приняли участие *in gremio*. Библиотека прозябала до августа 1832 г., когда до российских властей дошло известие, что в читальне собираются бывшие преподаватели и интеллигенция местечка для совещаний и изучения нелегально получаемых зарубежных газет. Было принято решение перевезти собрание лицея в Киев и сделать его поддержкой создаваемому на развалинах Кременецкого лицея Университету Св. Владимира. Часть книг вошла в печатные каталоги университетской библиотеки (1852), дублиеты в конце 60-х годов были переданы в библиотеку Житомирской городской гимназии, значительная часть книг не была вынута из сундуков. В помещении, где они были сложены, свирепствовали мыши. Сохранилась легенда, что польские студенты-медики, учившиеся в Киеве, подбрасывали на склады голодных кошек, чтобы спасать остатки великолепной королевской библиотеки. Сведения о закрытых сундуках и плохом состоянии складов подтвердил Людвик Яновский, во время кратковременного захвата Киева польскими войсками в 1920 г. пытавшийся организовать эвакуацию королевской библиотеки.

История почти всех киевских университетских коллекций начинается, как правило, от перечня всех основных объектов, вывезенных из Кременца. Подробней всего они описаны в "Исто-

рико-статистических записках об ученых и учебновспомогательных учреждениях Имп. Университета Святого Владимира", изданных под редакцией В.С. Иконникова к 50-летию университета (Киев, 1884).

Созданная в согласии с Рижским договором Претензионная комиссия потратила много труда, чтобы возвратить кременецкие коллекции, в том числе библиотеку Станислава Августа. Доклад по этому вопросу подготовил Эмиль Вежбицкий. Текст доклада был передан советской стороне в сентябре 1923 года. Требование возврата натолкнулось на отказ. Советская сторона считала, что имущество Кременецкого лицея формально входит в состав владений бывшего Виленского кураторства (Виленского учебного округа, куратором которого был князь Адам Ежи Чарторыйский). Ввиду отсутствия польско-литовского соглашения о границах было якобы неизвестно, кому возвращать коллекции. Не *возвращать ли*, а — *кому вернуть*. После 1930 г., в период мнимого улучшения польско-советских отношений, вопрос был поднят вновь — в качестве аргумента приводился документально подтверждаемый факт того, что значительная часть собрания, не только книги, но и нумизматика, минералы, астрономический инструмент и т.д., ведет происхождение из Королевского Замка в Варшаве и должна туда вернуться.

В 1970 в Киеве, в ежемесячнике "Український історичний журнал" появилась статья Е.О. Колесника о кременецких собраниях, включенных в библиотеку АН УССР в 1927 г. вместе с прежней университетской библиотекой. Автор статьи пишет, что кременецкая библиотека была "когда-то" привезена с Волыни и теперь считается "одной из самых старинных и самых ценных на Советской Украине". После краткой характеристики библиотеки и хвалы "Collectio Regia" Колесник пишет: "Неотделимую часть королевской библиотеки составляют белые, более чем двухсотлетние шкафы. Украшенные по поверхности художественной резьбой, они представляют исключительную художественную ценность. В 1927 г. эти шкафы вместе со всей библиотекой Киевского университета перешли к ЦНБ АН УССР. Тогда же было установлено, что речь идет о мебели, имеющей музейную ценность".

Книги в настоящее время расставлены на полках так, как разместил их когда-то в Кременце Павел Ярковский. Во время Второй мировой войны они были эвакуированы из Киева в Уфу. Похоже, что после войны их разделили на "Collectio Regia", кото-

рая находится в библиотеке АН УССР и довольно неопределенное "кремenceцкое собрание", которое находится в филиале центральной библиотеки на Подоле.

Ныне, когда стараниями польского народа реконструирован Королевский Замок в Варшаве, музейные власти стремятся обставить залы подлинным оборудованием. Уцелевший от пожара библиотечный зал дожидается шкафов и книг. Но их судьба — служить в лучшем случае украшением, а то и балластом. Король создавал библиотеку и собирал книги с мыслью о "деловой пользе" польского общества. Его волей было, чтобы после его смерти они стали основой Национального музея. Это пожелание не потеряло актуальности, и нужна лишь добрая воля Советского Союза, чтобы его выполнить. То, что происходит с библиотекой, — продолжение царских грабежей. Считать ли, что нынешние кремлевские хозяева его одобряют? Сознание того, что нанесен ущерб, притом — один из немногих — поддающийся исправлению, должно бы широко распространиться среди друзей Польши в Советском Союзе и приобрести формы организованной акции.

В XIX веке, кроме библиотеки, Университет Св. Владимира в Киеве располагал и другими коллекциями Королевского Замка, также прошедшими через Кременец:

1. *Нумизматическая коллекция*, научно обработанная королевским чтецом Джанбапистой Альбертранди, иезуитом, впоследствии епископом и первым президентом варшавского Общества друзей наук. По сведениям В.Б. Антоновича ("Историко-статистические записки ... Императорского университета св. Владимира", Киев, 1884), в 1834 и 1837 гг. в киевские коллекции поступило 20 212 монет и медалей, в большинстве происходивших из королевской коллекции. Самую ценную ее часть составляли ок. 8 тыс. "греческих и римских денег различного возраста, сохранности и стоимости", купленных по поручению Станислава Августа в Италии. Дополнением к коллекции служила библиотека трудов по нумизматике.

2. *Коллекция минералов*. И ее основой была коллекция Станислава Августа, состоявшая из 7 703 экспонатов. Она была дополнена принесенной в дар князем Юзефом Понятовским коллекцией, унаследованной им от Примаса Польши Михала Ежи Понятовского. Коллекция была описана в двух каталогах, полнотой которых восхищался Чацкий, так как при каждом экспонате было указано его происхождение и цена покупки либо имя дарителя.

Коллекцию дополняла небольшая лаборатория, оснащенная микроскопами, точными весами, горелками и т.п.

3. *Коллекция астрономического инструмента*, собранная в Королевском Замке, была небольшой, но очень ценной: в ней были, в частности, два телескопа лондонской фирмы Долланд, пользовавшейся всемирной репутацией, английский астрономический квадрант работы Рэмсдена, трое астрономических часов высшего класса, т.н. "lunette de passage" для измерения "высоты небесных тел, через меридиан проходящих". Из истории астрономических наук в Польше известно, что в Англию ездили на королевский счет о. Почобут, королевский астроном Быстшицкий и ген. Комажевский, и — за свой счет — Примас Понятовский. Они поддерживали постоянные отношения с Royal Society и с выдающимся астрономом их эпохи Гершелем. Под их присмотром лучшие мастера изготовляли дорогой точный инструмент, который и сейчас — если он в Киеве сохранился — обладает огромной исторической ценностью.

* * *

О том, как далеко зашли царские власти в деле вывоза польского культурного достояния, свидетельствует драматическая судьба кременецкого ботанического сада. Это было научное учреждение, руководимое проф. Виллибальдом Бессером, который публиковал каталоги редких растений, комплектовал гербарии, вел обмен семенами с крупнейшими европейскими ботаническими садами. В 1824 г. в саду было 8 350 видов и сортов, 12 053 тепличных растений, 797 названий деревьев и кустов, 3,5 тыс. местных растений, 2 тыс. заграничных многолетников и т.д. Утилитарной стороной сада был питомник фруктовых и декоративных деревьев, влияние которого на подъем садового хозяйства на Волыни и Подолье становилось все более заметным. Ботанический сад был также осужден на вывоз. Трудней всего было отнять его у Волыни, но тут не остановились ни перед чем. Когда Киевский университет получил необходимую территорию, началась (в 1836), пожалуй, единственная в истории садового хозяйства карательная эвакуация сада. Еще раз тронулась в путь длинная вереница фур, груженных на этот раз кременецкими растениями. Невозвратная потеря!

* * *

Мартиролог польских коллекций может рассматриваться с точки зрения их материальной ценности, когда хотя бы теоретически возможно их оплатить или реконструировать, или же ценности неповторимой и неоплатной: исторической, научной, художественной и даже эмоциональной. Живую мастерскую науки можно превратить в мертвый склад книг или инструмента, отрезав ее от людей, ее создававших, пустивших в ход или пользовавшихся ею в определенном окружении.

В эти категории входят потери двух варшавских учреждений: Общества друзей наук и библиотеки Варшавского университета.

Первое из них занимает особенно важное место в истории польской культуры. Оно было создано в 1800 г., когда три государства-захватчика грубо включали доставшиеся им территории в административно и культурно чуждые государственные организмы, и было первым защитным рефлексом побежденной нации. Из осторожно намеченной программы, из начинаний, которые сегодня могут показаться чересчур утилитарными, выросло учреждение, которое в течение тридцати лет задавало тон польской жизни, распространяя свое влияние на все земли прежней Речи Посполитой из Варшавы, поочередно входившей в состав Пруссии, Княжества Варшавского и Царства Польского.

Деятельность его начиналась в Варшаве, уже потерявшей библиотеку Залуских и королевские коллекции Замка. Создание новой библиотеки было очевидной необходимостью. Поэтому библиотека Общества друзей наук выполняла две роли: "сокровищницы прошлого", куда входили старопечатные издания, рукописи, "отборные" (т.е. библиофильские) издания, и библиотеки текущего пользования, которая была для членов Общества помощью в масштабных трудах Общества и его издательской деятельности. Члены Общества передавали ему в дар свои и доставшиеся им по наследству коллекции. Лучшие тому примеры — т.н. "Папки Домбровского", содержащие документы по истории Польских легионов в Италии, переданные по завещанию ген. Яна Генрика Сташица, на чьи средства было построено здание, где были размещены кабинеты и коллекции Общества. В исторический раздел библиотеки входило собрание кн. Александра Сапеги и его имения в Кодне, материалы по истории Барской конфедера-

ции, Четырехлетнего сейма, средневековые рукописи древних польских летописей, трудов Винценты Кадлубка, Дзежвы и др. В части библиотеки, предназначенной для пользования, шло систематическое собирание копий исторических документов, принятое с мыслью о готовящемся коллективном труде по истории Польши, который должен был стать продолжением сочинения Нарушевича. Широкая издательская деятельность также требовала вспомогательной библиотеки, находившейся на попечении профессионалов-библиотекарей. Среди них были специалисты такого уровня, как бывший королевский библиотекарь Альбертранди или Лукаш Голэмбевский, имя которого связано также с коллекциями князей Чарторыхских в Пулавах, уничтоженными после восстания 1831 г.

Это восстание (известное под именем "ноябрьского") послужило самодержавию поводом для широчайших конфискаций. Одной из первых жертв была библиотека Общества друзей наук, вывезенная в Петербург в 1832 году: 26 тыс. книг и рукописей, из которых лишь малая часть вернулась в Польшу в силу Рижского договора. Они были включены в архив Главного Штаба.

Вместе с коллекциями дворца Сташица из Польши была вывезена более поздняя, но еще более богатая библиотека Варшавского университета. В ее собраниях в 1832 г. насчитывалось ок. 150 тыс. томов, из которых в Варшаве оставалось только 28 тыс. Трудно найти пример библиотеки, которая так быстро росла бы и по ценности, и по значению. Университет официально начал свою деятельность только в 1816 году! Библиотека была названа Публичной и служила не только нуждам университета, но всему обществу. В ее состав входили, в частности, библиотека бывшей Рыцарской школы (Кадетского корпуса), собрание книг Варшавского лицея, коллекции еп. Игнация Красицкого, монастырские библиотеки из Любеня, Парадыжа, Тшемесна, обладавшие многими старопечатными изданиями. Гордостью библиотеки был Гравюрный кабинет, хранителем которого был художник-литограф Ян Пиварский, окруживший профессиональной опекой огромную коллекцию графики, купленную в 1818 г. у наследников Станислава Августа (78 тыс. рисунков и гравюр). Ее дополняла коллекция, принесенная в дар Станиславом Косткой Потоцким, — свыше 5 тыс. рисунков. И снова можно повторить формулу: лишь часть вывезенных в Россию сокровищ библиотеки вернулась в Польшу.

С ними обошлись особенно безобразно, разделив на группы по разнообразным критериям: формат, переплет, содержание. В июле 1832 г. в Петербург было отправлено 389 ящиков. Там библиотека расчленялась дальше. Гравюрный кабинет, к которому присоединили коллекцию кн. Евстахия Сапеги из Деречина и собрание графики Общества друзей наук, включили в собрание тогдашней Академии Художеств, в 1918 г. переданное в государственные собрания. Не возвращенные Польше предметы — а их было много — по окончании разбора претензий советские власти передали в Эрмитаж, что указывает на их большую ценность.

Так Варшаве был нанесен удар, сравнимый с потерей библиотеки Залуских, а в утилитарном смысле даже более болезненный, поскольку обе библиотеки служили широкому кругу читателей. Одновременно с вывозом были изданы указы, которыми прекратилась деятельность обоих учреждений, что лишило Варшаву двух основных центров научной жизни и серьезно повлияло на судьбу польской науки в XIX в. в пределах Российской Империи.

Знаменитый историк культуры проф. Александр Брюкнер, оценивая деятельность Общества друзей наук, пишет, что оно было "уже по разнообразию своих начинаний чем-то совершенно исключительным, беспримерным в национальной истории". "Иностранные научные общества, возможно, превосходили варшавское составом и трудами своих членов, но ни одно в таких исключительных условиях не выполнило столь обширной программы, главным образом патриотической. Университет, открытый в период "медового месяца" по милости Александра I, быстро стал подлинным высшим учебным заведением, а также — это была эпоха декабристов — очагом патриотической деятельности студенческой молодежи. Конфискация культурного достояния, таким образом, не ограничивается материальными потерями — это было средство физического обессиливания нации, повлекшее за собой сложные последствия.

* * *

Еще один аспект конфискаций и вывоза мы находим в Вильно. В истории этого города блистательные периоды чередуются с катаклизмами, которые могли бы бесследно уничтожить культурный центр с меньшей волей к сопротивлению. Так, напри-

мер, университет, формально идущий от иезуитской Академии XVI в., от времен короля Стефана Батория, ожил в 1803 г., чтобы снова впасть в летаргию после восстания 1831 г. и в полном блеске пробудиться от этой летаргии в период между Первой и Второй мировыми войнами.

Университетская библиотека должна была восстанавливать свои запасы почти с нуля. Один из примеров жизнеспособности польской культуры — тот факт, что в 1939 г. она насчитывала свыше 350 тыс. томов и пользовалась репутацией одной из лучших по своей организации и работе научных библиотек в Польше.

Что стало с ее старыми собраниями? Чтобы разобраться в их характере и богатстве, нам следует обратиться к отчетам библиотеки римско-католической Духовной Академии в Петербурге, которая была в числе российских учреждений, "одаренных" виленскими собраниями, вывезенными в 1832 году. И сразу отметим: собраниями, которые после Рижского трактата в Вильно не вернулись.

Самые ранние, ставшие основой библиотеки коллекции шли из иезуитской Академии, которая в 1578 г. получила статус университета. (Теперь говорится, что это 400-летний российский университет.) Академия получила в приданое книжные собрания основателя библиотеки еп. Валериана Протасевича, еп. Миколая Паца, еп. Евстахия Волловича и др. Жемчужиной библиотеки был дар кн. Льва Сапеги, который в 1655 г. преподнес библиотеке Академии т.н. "ружанскую коллекцию", включавшую свыше 3 тыс. старопечатных изданий, в т.ч. Нюрнбергскую летопись 1490 г., т.н. Коран Медичи и т.п. В XVII в., во время польско-шведских войн, часть коллекций уплыла за море, но приток даров не прекратился. После упразднения иезуитского ордена Академия получила монастырские библиотеки из Гродно, Ковно и Крож. Приток даров в то время был так велик, что штаты библиотеки неоднократно расширялись. В 1802-1832 гг. университет переживал свой "золотой век". Его воспитанником был Адам Мицкевич, а профессорами — такие просветители, как Ян Сьнядецкий и Иоахим Лелевель.

Когда в 1832 г. университет был закрыт, библиотеку разделили на несколько частей, одаряя ее коллекциями университетские библиотеки в Харькове и Киеве — после включения самых ценных трудов в Публичную библиотеку в Петербурге. Часть собрания — в частности, богословские и медицинские тру-

ды — оставили в Вильно, где они стали основой виленской Духовной Академии и Медико-хирургической Академии. Это мероприятие лишь отсрочило ликвидацию, поскольку Духовная Академия продержалась в Вильно всего до 1842 г., когда была переведена в Петербург. Самым опасным для сохранения библиотеки оказался период перевозки. Упаковка продолжалась больше года под руководством товарища прокурора, некоего Рокицкого, который приказал свалить все книги во влажные, полные крыс помещения и без зазрения совести раздавал ценные фолианты "на память" либо как "угощение" или взятку. Когда его мучил холод, он жег книги одну за другой, используя на растопку копии актов из ватиканских архивов или официальную переписку кн. Адама Ежи Чарторыского. Но и то, что добралось до Петербурга, представляло собой огромную ценность. Там было, например, несколько десятков томов из библиотеки короля Сигизмунда Августа, относившихся к XVI в.; ценные полемические труды эпохи Реформации и Контрреформации; почитаемые еретическими, но собиравшиеся и сохранявшиеся издания ариан (социниан); редкие издания Библии — напр., знаменитая Литовская Библия Хылинского, изданная в Лондоне (!) в 1600 г., экземпляр более полный, чем находящийся в Британском Музее.

Из сведений, собранных Претензионной комиссией около 1926 г., следует, что часть виленских университетских собраний попала в библиотеку Главного Штаба и соседствовала там с книгами и рукописями, вывезенными из Несвяжи, Пулав, Кодня и Порыцка — из библиотек Радзивиллов, Чарторыских, Сапег и Чацких.

Из отчетов библиотеки Харьковского университета следует, что после 1832 г. в нее было передано 4 374 дублета, выделенных из виленской библиотеки, а затем еще 4 321 том, но уже не дублетов, — после окончательной ликвидации университета. Значительно большая часть ушла в Киев, где и находится до сих пор. В 1832 г. создававшийся тогда Университет Св. Владимира получил, кроме королевских собраний из Кременца и многочисленных волынских частных библиотек, 5 404 трудов в 7 563 томах. Десятью годами позже, когда в свою очередь была ликвидирована Медико-хирургическая академия в Вильно, в Киев была отправлена ее весьма ценная библиотека — 12 262 труда в 17 566 томах. В ее состав входило, в частности, купленное Комиссией образования в 1777 г. собрание медицинских трудов доктора Стефана

Бисе, а также многочисленные книги, принесенные в дар королем Станиславом Августом.

Среди книг и рукописей, которые в конце XVIII в. вошли в университетскую библиотеку в Вильно и также переехали в Киев, были, в частности, Устав Мазовецкий 1541 г., русская рукопись первого Устава Литовского, рукописи Петра Скарги и т.д.

Другая "сокровищница" виленских "полоников" — московский Музей Изобразительных Искусств, в собраниях которого находятся многие предметы из виленской ратуши, университета и астрономической обсерватории.

Вильно ныне переживает очередной период своей бурной истории, а отношения Литовской ССР с Киевом, видимо, не настолько братские, чтобы привели к возврату собраний, вывезенных из Вильно. Но — как воскликнул в лицо Густаву Адольфу Шимон Старовольский в годы шведского "потопа": *Deus mirabilis, fortuna variabilis* — Бог творит чудеса, колесо Фортуны поворачивается.

* * *

В безумии, с которым проходили конфискации польского культурного достояния на прежних восточных землях Речи Посполитой, можно усмотреть известную методичность. Царские власти направляли большие обозы с библиотечными собраниями и архивами из Варшавы в Петербург и Москву. Собрания, так сказать, "пограничные" шли в Киев, Одессу и Харьков.

Кроме кременецких коллекций, в Киев были отправлены многочисленные библиотеки из имений и усадеб, конфискованных за активное участие их владельцев в восстаниях или тайных обществах — таких, как Товарищество Польского Народа ("конарщина"). Аналогичная процедура повторилась во время революции. Так, например, весьма ценная библиотека в Городце, которая после смерти ее основателя Ант. Урбановского перешла к Стажинским, а затем к Браницким и Радзивиллам и помещалась в Загинцах на Подолье, в 1917 г. была перевезена в Киев, где ее разделили между Всеукраинской библиотекой и б. Терещенковским музеем. Этот пример — один из многих.

Медицинский отдел университетской библиотеки в Киеве после 1863 г. получил богатую польскими старопечатными изданиями библиотеку Польского Общества врачей в Каменце-Подоль-

ском. В 1891 г. из того же города вывезли библиотеку армянской церкви, содержащую также много польских старопечатных изданий.

В 1914 г. в состав библиотеки Киевского университета на правах переданной на хранение входила часть замечательной библиотеки, собранной великим литовским канцлером Иоахимом Хрептовичем и его сыном Адамом в имении Щорсы Новоградского уезда. Каталог этой библиотеки находится теперь в Библиотеке им. Ленина. Для польской культуры библиотека Хрептовичей имела особое значение: ею пользовался Мицкевич, и там, на основе богатых исторических материалов, возникла его поэма "Гражина". Ее читателями были Иоахим Лелевель, братья Ян и Енджей Сьнядецкие, Миколай Малиновский, Антоний Эдвард Одынец, а филomat Ян Чехот, вернувшийся в 1841 г. из ссылки, получил в Щорсах работу и средства к существованию. Судьбы этой библиотеки отходят от шаблона конфискаций и вывозов. Она по наследству перешла в русские руки, к Хрептовичам-Бутеневым. Когда в 1910 г. Константин Бутенев передавал ее на хранение в Киев, он поставил условием передачу ее Виленскому университету, как только он будет возрожден. На это условие ссылалась Претензионная комиссия — тщетно.

* * *

Из немногочисленных опубликованных отчетов о научных поездках польских научных работников и историков литературы следует, что к "полоникам", находящимся в Киеве, их допускают редко и с большими затруднениями. Эти трудности еще больше, когда речь идет о поисках коллекций, которые находились до революции в польских руках и уцелевшие остатки которых хранятся в учреждениях АН УССР в Каменце Подольском, Бердичеве или Виннице. В этой последней, например, находится (в Украинском музее) часть ценных собраний Францишка Потоцкого из Печары (Брацлавского уезда). Время от времени доходят сведения о судьбе таких больших и ценных библиотек, как, например, библиотеки Мнишков в Вишневце, Чарторыских и Сангушко в Олыке, Карвицких в Мизоче, Олизаров в Рафаловке. До сих пор не удалось установить, следует ли занести в список военных потерь письмо Джозефа Конрада-Коженевского его дяде Тадеушу Бобровскому в Казимеровку (Киевской губ.). Можно питать ил-

люзии, что однажды какой-нибудь библиотекарь или архивист обнаружит их в залежах неидентифицированных "помещичьих" материалов.

* * *

Через Восточную Малопольшу, входившую до 1918 г. в земли, захваченные Австрией, прошли две волны уничтожения. Первая мировая война принесла тотальные потери, связанные с военными действиями, — потери невозвратные. Вторая привела к тому, что все, что некогда входило в состав Австрии, оказалось во власти Советов и по праву силы вошло в УССР. Потери, следующие из этого нового положения дел, происходили много лет, а в случае архитектурных памятников продолжаются и по сей день.

Мы стоим перед лицом особого положения. В период разделов т.н. Галиция, особенно после 1860 г., была цветущим центром польской культуры, обладавшим польскими университетами, библиотеками, куда свободно поступали книги со всего мира, школами с польским языком обучения и т.д. Эмигрантские книги и журналы, которые российская или прусская цензура подвергали конфискации, сюда приходили свободно. Сюда направлялись ветераны восстаний и ссыльные после освобождения или побега с каторги. Львовский музей Оссолинских (Оссолинеум) фактически выполнял роль польской национальной библиотеки. Неписанным долгом издателей и авторов была отправка книг во Львов — Оссолинеум был как бы национальной сокровищницей, куда стекались семейные собрания и наследства писателей и ученых.

В начале Второй мировой войны АН УССР получила в свое владение Оссолинеум и соединенный с ним музей Любомирских. Перед этим, в первые недели войны, во Львов массово свозились частные коллекции из близлежащих городов и имений. Вскоре к этим коллекциям, переданным на хранение, прибавились конфискованные коллекции. Во время немецкой оккупации часть коллекций была возвращена владельцам, после чего наступил период хаоса, когда они подвергались перетасовкам и перемещениям. После формального окончания военных действий советские власти решили передать ПНР часть коллекций Оссолинеума, оставляя за собой некоторые категории и некоторые коллекции по

собственным критериям, напоминающим период претензий после Рижского договора.

По доступным в эмиграции статистическим материалам трудно понять, какая часть достояния прежнего Оссолинеума оказалась во Вроцлаве. Библиотека в 1939 г. насчитывала ок. 30 тыс. названий, во время войны в результате конфискаций и передачи на хранение это число возросло до полумиллиона. Во Вроцлав в два приема, в 1946 и 1947 гг., было привезено ок. 210 тыс. томов и ок. 7 тыс. рукописей, т.е. меньше половины... То, что осталось во Львове, подверглось перетасовкам. Дублеты и часть основного собрания перешли ахривам и библиотекам Дрогобыча, Ровно, Острога и т.д. Известно, например, что архив из Роздола под Львовом передан Центральному государственному историческому архиву — он содержит документы семей Жевуских и Ланц-коронских.

В 1965 г. во Львове проходила большая выставка портрета XVI-XVIII вв., организованная Государственной картинной галереей. Каталог выставки составил хранитель галереи В.А.Овсийчук, описав в нем больше, чем было показано на выставке, — не 140 ее экспонатов, а 300. Экспонаты были взяты из многочисленных местных краеведческих музеев, в т.ч. из Дрогобыча, Ровно и Острога, т.е. из пунктов сбора конфискованных частных собраний.

Информация о ценных объектах из львовских собраний обнаруживается иногда самым неожиданным образом. Так, "Правда" (1974, 27 апр.) приносит сенсационное известие об отправке на парижскую выставку картины Жоржа де Латура, знаменитого французского художника XVII в., мастера светотени. Единственная его картина в Советском Союзе, — захлебывалась от восторга "Правда". А откуда она взялась? Из музея Любомирских, составлявшего часть прежнего Оссолинеума.

Другой пример. Один из выдающихся архитектурных памятников Львова — часовня Боимов, построенная на средства львовских горожан в 1609-1617 гг. "Новый мир" (1966, №10), статья Л.Волынского: описано нынешнее состояние здания, названного в советском путеводителе по Львову (1965) необычным, не имеющим себе равных в архитектуре Львова. Автор статьи пошел, увидел забитые фанерой, зарешеченные окна, а на дверях вездесущий амбарный замок. Интерьер, в том же путеводителе названный высшим достижением львовской скульптуры эпохи

Возрождения, был заполнен стояками, сундуками, мешками, кучами полушерстяных одеял и другими сокровищами промпредприятия "Малыш". Яркий дневной свет проникал через выбитые окна башенки под куполом — тем же путем на изукрашенные резьбой арки льются потоки дождя. Старинную архитектуру дополняет огромный распределительный щиток, от которого тянутся разноцветные провода. Автор статьи сравнивает описанное им с подобными же разрушениями в костеле Бернардинцев, интерьер которого превращен в склад церковной мебели и скульптуры, свезенной сюда из закрытых церквей и костелов. Другой знаменитый костел — Доминиканцев — стал ныне Музеем атеизма. Недавно, потому что до 1965 г. его использовали как склад сахара и даже после переименования в музей в нем по-прежнему хранятся бочки с соленьями. Бродя по городу, Волынский добрался до армянского собора: снова замок, а в сыром интерьере свалены в кучу 10 тыс. экспонатов украинского искусства — коллекция икон, барельефов и скульптуры за пять веков, разделившая судьбу коллекций польского искусства. Трудно надеяться, что за прошедшие годы это состояние дел улучшилось, — поэтому не приходится говорить об ущербе и позоре, наносимом коллекциям и храмам, в прошедшем времени. Оставленные на месте, но рассматриваемые как ненужный груз прошлого, они постепенно разрушаются.

* * *

После 1945 г. варшавское Бюро претензий и возмещения ущерба издало несколько томов материалов "Военные потери польских коллекций". Они относятся к грабегам, совершавшимся гитлеровскими оккупантами. В редких упоминаниях о Красной Армии она выступает в роли благодетельницы, возвращающей исчезнувшие сокровища. В 1948 г. в Варшаве даже состоялась выставка рукописей и книг, "вывезенных гитлеровцами в Германию, спасенных Красной Армией и переданных Польше советским правительством". Существуют подтверждения того, что позднее в ПНР возвращались некоторые другие объекты, идентифицированные с опозданием либо задержанные по неизвестным причинам. Так, к празднованию сотой годовщины восстания 1863 г. советское правительство передало т.н. "Папки семьи Мелешко" из рапперсвильской коллекции, о которых полагали, что они

сожжены гитлеровцами. Эти возвраты, или т.н. "дары", однако, не затрагивают достояния, вывезенного из Польши царскими властями. Поэтому настоятельным пожеланием остается возврат коллекций, по счастью не тронутых военными разрушениями и имеющих для поляков столь огромное историческое и символическое значение, как библиотека Станислава Августа из Королевского Замка в Варшаве, ныне реконструированного на средства, собранные польским обществом. Другое, также реалистическое требование — шире предоставлять доступ к "полоникам" польским исследователям, которые в настоящее время лишь в исключительных случаях, на короткое время и с помехами могут пользоваться историческими источниками фундаментального значения. Выразительный пример из этой области: в подробной летописи жизни и творчества Адама Мицкевича есть пробел, относящийся к годам его пребывания в России, — вышли тома за 1798-1824 и 1832-1834 годы, а средний том более десятка лет все еще "готовится".

Среди потерь культурного достояния следует выделить несколько категорий: 1. *Безвозвратные потери* — результат пожаров, бомбежек, военных действий и связанных с ними разрушений. 2. *Потери как результат репрессий* — конфискации и сознательного уничтожения конфискованного имущества, например, отправки книг в макулатуру или в огонь, в чем специализировались немецкие брандкоманды. 3. *Потери как результат конфискации и вывоза* в определенные места и учреждения либо — что уже переходит в безвозвратные потери — неизвестно куда. 4. *Потери как результат перемещений и перегруппировки*. Две последние категории таят в себе возможности исправления нанесенного ущерба, а в масштабе Советского Союза дают ему возможность исправить ошибки антипольской политики царизма.

* * *

Эта работа основана на двухтомном труде Эдварда Хвалевика "Польские коллекции. Архивы, библиотеки, кабинеты, галереи, музеи и другие собрания памятников прошлого на родине и за границей в алфавитном порядке местностей" (изд. 2-е, Варшава, 1926-27). Другие источники: Эдвард Кунце. Возврат польских библиотечных собраний из России. Краков, 1937; Каталог выставки исторических коллекций Национальной библиотеки в Варшаве. Варшава, 1933 (раздел "Возврат достояния" во введе-

нии); Документы относительно польских делегаций в смешанных комиссиях в Москве (в особенности т. VIII, Варшава, 1923); Петр Баньковский. Возвращение на родину через сто лет. Возврат рукописей из библиотек Главного Штаба. Варшава, 1930 ("Археон", т. VIII); Словарь деятелей польской книги. Варшава, 1972; Энциклопедия книговедения. Вроцлав, 1971. (Все указанные сочинения изданы на польском языке. — Прим. пер.).

август—сентябрь 1976

Марья ДАНИЛЕВИЧ-ЗЕЛИНСКАЯ

Русско-польские антиномии

В заключительной части своего исследования о "русской идее", сформулированной русскими мыслителями XIX и начала XX вв., Николай Бердяев* противопоставлял ее "скептицизму французов" и "немецкой идее". О "польской идее" в заключении своей книги Бердяев не упоминал, однако в предыдущих разделах (стр. 213-215) обсуждал концепции "величайшего философа польского мессианизма" Чешковского (August Cieszkowski, 1814-1894) и находил в них сходство с русскими идеями:

"Многие его мысли схожи с русскими мыслями, с русскими христианскими упованиями. Чешковского у нас совсем не знали, ни у кого нет ссылок на него, как и он не знал русской мысли. Очевидно, сходство есть сходство общеславянское. В некоторых отношениях я готов поставить мысль Чешковского выше мысли Владимира Соловьева, хотя личность последнего была сложнее и богаче, в ней было больше противоречий..." (стр. 215).

"...Подобно славянофилам и Вл. Соловьеву, Чешковский прошел через германский идеализм и испытал влияние Гегеля. Но мысль его остается самостоятельной и творческой. Он хочет остаться католиком, не порывает с католической церковью, но выходит за пределы исторического католичества..." (стр. 214).

Последовательно идя в этом направлении, можно было бы дойти до не слишком оригинального и даже скорее избитого вывода, что самой серьезной виной (и грехом) поляков был их ортодоксальный католицизм и что если бы не это обстоятельство, то поляки не слишком отличались бы от русских. Бердяев, однако, не приходил к такому заключению; вообще не говоря о

* Н.Бердяев. Русская идея. (Основные проблемы русской мысли XIX — начала XX вв.). 2-е изд. YMCA-Press, Paris, 1971.

"польской идее", он не противопоставлял и не отождествлял ее и "русскую идею".

Не ставя под сомнение их статус оригинальных мыслителей-мессианистов, я все же не думаю, что Бердяева и, тем более, Чешковского можно считать типичными классическими представителями русской или польской мысли и что в их трудах нашла свое проявление какая-либо русская или польская "идея", если таковые вообще существуют. Что же касается различий или даже антиномий между современными "типичными" русскими и поляками, то их существование представляется несомненным, ибо они могут быть выявлены эмпирически или исторически; было бы интересно исследовать, в чем они заключаются и каково их происхождение.

Однако не так-то просто установить, с какого именно момента мы начинаем иметь дело с "современными" русскими или поляками, а также кто может — или не может — считаться "типичным" современным русским или поляком. Действительно, даже Юзеф Пилсудский, сообщая 30 ноября 1930 года о своем уходе в отставку с поста Председателя Совета министров Польской Республики, заявил, что он не является поляком (В.Енджевич. Жизнеописание Ю.Пилсудского /на польск. яз./, т. II, стр. 378), и ни для кого не секрет, что И.В.Сталин был грузином, а не русским. Если в определенные исторические моменты так обстояло дело с фактическими диктаторами Польши и России, то где же тогда искать — и можно ли вообще найти — "типичного" "современного" русского или поляка, чтобы затем прийти к выводу о существовании между ними каких-то определенных различий или антиномий?

В связи с этой трудностью, быть может, стоило бы при обсуждении проблемы русско-польских антиномий говорить не о трудноуловимом русском или польском "современном типе", а о вполне ощутимых результатах их исторической деятельности. В данном случае речь идет о конкретных, существующих в рамках исторической реальности русском и польском государствах, или, точнее, об исторических государственных формированиях, которые сегодня принято считать "русскими" или "польскими". К таким формированиям относились бы с одной стороны изначальные княжества Рюриковичей, Великое Княжество (а затем Царство) Московское, Российская Империя со столицей в Петербурге и теперешний Советский Союз, а с другой — княжества Пястов,

польское королевство (самостоятельное, а затем — объединенное с Великим Княжеством Литовским), Речь Посполита Обоих Народов, затем — не нашедшие своего государственного воплощения, но проявившиеся в рудиментарных формах в период разделов Польши попытки ее воссоздания: Варшавское герцогство (Księstwo Warszawskie), Краковская республика и Царство Польское (Królestwo Kongresowe) — и, наконец, возрожденная Вторая ("национальная") Польская Республика и современная ПНР. Теперь интересующую нас проблему можно сформулировать следующим образом: наблюдались ли между членами этих двух рядов антиномические различия, и если да, то в какой период и в чем именно они выражались?

* * *

Несмотря на то, что ранний период истории славянства остается во многом неясным, можно думать, что в эпоху раннего средневековья антиномические различия между славянскими племенами или народностями не существовали. Не было этих различий и между княжествами Рюриковичей и Пястов (а позднее — Гедиминов), несмотря на безусловно усиливающиеся с течением времени языковые различия, а также на разные культурные влияния (с одной стороны, римско-германские, а с другой — греко-византийские) и — начиная с Великого раскола в 1054 году — различные вероисповедания. Все эти княжества оставались в принципе похожими друг на друга и, несмотря на происходившие иногда вооруженные конфликты, поддерживали между собой дружественные отношения, подтверждавшиеся и укреплявшиеся кровным родством между князьями.

Можно предположить, что появление антиномий было связано с так называемым "татарским игом". Возникшие в тот период различия между "свободными" и "подъяремными" княжествами, несмотря на постепенное ослабление чужеземного гнета, а затем и окончательное освобождение из-под него в 1480г., не только не исчезли, но даже углубились. Особенно отчетливо эти различия проступают между "свободными" литовско-русскими княжествами, уже объединенными в тот период с польским королевством, и, с другой стороны, приступающей к "собиранию воедино земель русских" Москвой. Однако появление определен-

ных антиномических различий между первичными зачаточными формами государственности на территории расселения славян восходит к более раннему периоду: они наметились еще до татаро-монгольского нашествия в 1237-1238 гг.

Стараясь упорядочить имеющиеся у нас скудные сведения о сложном и длительном процессе возникновения государственной власти у древних славян, историки заметили, что в некоторых случаях эта власть вела свое происхождение от местного населения и ему служила, а в других — приходила извне и над ним господствовала. Если в польской исторической науке приверженцы так называемой "теории нашествия" весьма немногочисленны и не пользуются популярностью, то среди русских историков едва ли не безраздельно господствует теория о так называемом "норманском" или "варяжском" происхождении русских княжеств.

Один из ее сторонников, видный современный американский ученый Ричард Пайпс, в опубликованной недавно книге* пишет:

"Киевское государство, основанное варягами и унаследованное их славянскими и ославяненными потомками, не вышло из общества, которым оно правило. Ни князья, ни их дружинники — сырой материал будущего боярского сословия — не были выходцами из славянского общества. /.../ Перед нами тип политического образования, характеризующийся необычайно глубокой пропастью между правителями и управляемыми" (стр. 42).

Если так дело обстоит уже в Киеве, то в образованиях, создаваемых на северных территориях, заселенных не-славянами и колонизируемых киевскими князьями, эта специфическая черта проявилась еще более отчетливо. Пайпс пишет:

"В Киевской Руси и во всех вышедших из нее княжествах, кроме северо-восточных, население появилось прежде князей: сперва образовались поселения и лишь потом — политическая власть. Северо-восток, напротив, был по большей части колонизирован по инициативе и под водительством князей; здесь власть предвосхитила заселение. В результате этого северо-восточные князья обладали такими властью и престижем, на какие сроду не могли

* R. Pipes. Russia under the Old Regime, 1974. (Русский перевод: Р.Пайпс. Россия при старом режиме. Пер. с англ. Вл.Козловского. Кембридж, Масс., 1980).

рассчитывать их собратья в Новгороде и Литве. Земля, по их убеждению, принадлежала им; города, леса, пашни расчищались и эксплуатировались по их повелению. Такое мнение предполагало также, что все живущие на их земле люди были их челядью либо съемщиками; в любом случае, они не могли претендовать на землю и обладать какими-либо неотъемлемыми личными "правами". Так на северо-восточной окраине сложилось некоторое собственническое мировоззрение; пронизав все институты политической власти, оно придало им характер подобия которого было не сыскать ни в других частях России, ни в Европе" (стр. 50).

Эти специфические черты северо-восточных государственных образований, по мнению Пайпса, в период "татарского ига" лишь усугубились:

"Монгольский хан сделался первым бесспорным личным сувереном страны. /.../ Ни один князь не мог вступить на власть, не заручившись предварительно его грамотой-ярлыком. /.../ Ярлыки распределялись буквально с аукциона, где выигрывал тот, кто обещал больше всего денег и людей и лучше других гарантировал, что сможет держать в руках беспокойное население. По сути дела, условием княжения сделалось поведение, противоречащее тому, что можно назвать народным интересом. /.../ В этих обстоятельствах начал действовать некий процесс естественного отбора, при котором выживали самые беспринципные и безжалостные... В те годы основная масса населения впервые усвоила, что такое государство: что оно забирает все, до чего только может дотянуться, и ничего не дает взамен, и что ему надобно подчиняться, потому что за ним сила. Все это подготовило почву для политической власти весьма своеобразного сорта, соединяющей в себе туземные и монгольские элементы и появившейся в Москве, когда Золотая Орда начала отпускать узду, в которой она держала Россию" (стр. 72-73).

Примерно в то же время, когда в Москве складывалось столь специфическое государственное образование, в Польше скончался последний представитель мужской линии королевской ветви рода Пястов и возникла проблема преемственности власти. Вопрос о том, кто займет королевский трон в Кракове, был решен в значительной мере при участии представителей общества. Так называемые "краковские кастеляны"* согласились, чтобы им стал племянник последнего из Пястов, Казимира Великого, назначенный им самим в качестве своего преемника, — Людовик

* Кастелян — при Пястах княжеский чиновник, управляющий замком и прилегающими территориями; с XIV века сановник, заседающий в сенате и командующий ополчением своего округа. — Прим. перев.

Венгерский, но на съезде в Буде в 1355 году выдвинули определенные условия, от выполнения которых зависело это согласие. То же самое произошло в 1374 году в Кошицах, когда потребовалось их согласие на то, чтобы оставшийся после Людовика трон заняла одна из его дочерей. Принцип выбора короля закрепился в период правления династии Ягеллонов, а в Речи Посполитой Обоих Народов в дополнение к этому сформировалась система так называемых "раста conventa", то есть формальных соглашений, которые избранный королем кандидат заключал перед занятием трона с Речью Посполитой, или, иными словами, с "народом-обществом".

Постепенно расширялся также круг избирающих короля представителей общества, чтобы в конце концов, после принятия принципа выбора "viritim"* , охватить "весь народ шляхетский", то есть всех обладающих гражданскими правами лиц. Тот факт, что огромное большинство населения: крестьяне и мещанство (горожане) — этими правами не обладало, соответствовал духу того времени и не противоречил теоретическому принципу, что политическими правами обладали все "граждане" Речи Посполитой. Добавим, что численность этих граждан была сравнительно весьма высокой, превышая 10% населения, тогда как во Франции или в Англии вплоть до XIX века политическими правами обладало менее 5% населения.

* * *

Начиная с того момента, когда Россию начала представлять Москва, где государство считалось "вотчиной" — собственностью правителя-самодержца, а Польшу — Речь Посполита, где государство являлось "общей вещью" всех ее граждан ("Rzecz Pospolita" есть просто дословный перевод латинского "res publica" — "общая вещь, общее достояние" — Прим. перев.), возникла русско-польская антиномия. Впрочем, антиномичной по отношению к Московии была не только Польша, но также и другие, расположенные не на северо-востоке русские государства, как, например, Новгород Великий или казацкая Сечь.

* Viritim (лат). — относящийся к каждому человеку. — Прим. пер.

Между политическим устройством Новгорода и Речи Посполитой имелось определенное сходство: в Новгороде государство также считалось "общей вещью" всех граждан, которые решали общественные дела на всеобщем вече, выбиравшем "владыку" (архиепископа), а также государственных чиновников во главе с посадником и князем (предводителем новгородских вооруженных сил). Подобные принципы государственного устройства были антагонистическими по отношению к московским, так что конфликт был неизбежен, а исход его — ввиду неравенства сил — заранее предрешен. Осознавая это, новгородские правители намеревались искать помощи у литовско-польской Унии, что и послужило предлогом для организации двух военных походов против Новгорода в 1470-х гг. В результате город был разрушен, его жители перебиты или вывезены на Восток, а земли присоединены к Княжеству Московскому.

Восставшая против Речи Посполитой казацкая Запорожская Сечь в 1654 году на Переяславской Раде приняла решение присоединиться к России на условиях, установленных в заключенном тогда же Переяславском договоре. Казачьи старшины при этом настаивали, чтобы представлявший царя боярин Бутурлин от его имени скрепил этот договор присягой. Бутурлин ответил решительным отказом, а когда растерявшиеся казаки начали ссылаться на пример польского короля, представлявший Москву боярин заявил, что это-де "король неверный и не самодержец".

Здесь имело место столкновение двух принципиально отличных друг от друга концепций, различных взглядов на сущность власти, государства и даже самой религии. Для казаков и бывших до этого их партнерами по соглашениям поляков не существовало в принципе непреодолимой пропасти, разделявшей заключавшие договор стороны, и, скрепляя его присягой, они как бы ссылались на его высшего Гаранта — трансцендентного Бога. Для московитов царь-самодержец в каком-то смысле отождествлялся с самим этим Гарантом и, по сути дела, не мог считаться "стороной", связанной условиями соглашения. Соблюдение (или несоблюдение) этих условий целиком и полностью зависело от его доброй воли. В такой ситуации исчезало различие между завоеванием (например, Новгорода) и добровольным присоединением к Москве (например, Малороссии). И в том, и в другом случае территории, входившие в состав московского государства, становились вотчинной собственностью самодержца.

Он приобретал над ними и их жителями неограниченные права как *impregium* (правления), так и *dominium* (собственности), тогда как последние никаких прав по отношению к нему не имели и не могли также ссылаться на условия заключенного договора в случае его несоблюдения. В том, что дело на практике обстояло именно так, казаки или украинцы вскоре убедились непосредственно, когда после смерти Богдана Хмельницкого они оказались поставлены перед фактом невыполнения Переяславского договора и по этой причине решили его расторгнуть и заключить новый — на этот раз с Речью Посполитой в 1658 году.

* *
*

В Переяславле как Хмельницкий, так и Бутурлин всячески подчеркивали притеснения, которым подвергалась православная церковь со стороны поляков, и делали при этом особый упор на единство веры казаков и Москвы. Представляется, однако, что сущность православия иначе понималась в Москве, чем в Новгороде или Киеве.

Так, например, узнав о намерении новгородцев заключить союзнический договор с Великим Княжеством Литовским, Иван Грозный счел этот факт за "отступничество от православия". Как писал летописец того времени: "Великий князь пошел на них не как на христиан, но как на неверных отступников от православия". Затем, учинив в городе чудовищную резню, Иван обратился к оставшимся в живых новгородцам с призывом молиться за победу данного им Богом правителя над всеми его врагами, как уже выявленными, так и скрытыми.

О различиях между православием московским и казацким говорил на переговорах в Гадяче в 1658 г. кастелян черниговский Станислав Казимир Беневский:

"Увлекли вас старшины ваши в неволю московскую, твердя, что одной они с вами веры, и в том ошиблись, ибо вы греческой религии держитесь, а Москва — московской, а по правде говоря, так верят, как царь велит. Святые отцы четырех патриархов установили, царь же московский пятого поставил, а сам и над ним старший; вы своих церковнослужителей почитаете, а Москаль митрополитов чина лишает, а на их место других ставит, как с Никоном недавно обошелся; владык в темнице держит и лиц монашеского звания, как давеча над Ипатием, игуменом киевским расправу учинил; а как имущество церковное увидит, немедля себе в казну берет..."

* *
*

В московском варианте православия царь-самодержец был верховным авторитетом также и в делах религии, и православные духовные лица, вплоть до митрополита или патриарха, зависели от него и ему подчинялись. В Новгороде и Киеве "владыка" был по меньшей мере равен князю, а в католической Польше авторитет епископа римского, то есть Папы, был намного выше, чем авторитет короля.

В ходе дальнейшего исторического развития эти фундаментальные принципы не претерпели никаких изменений. В императорской России Петр I упразднил пост патриарха и заменил его "Духовной Коллегией", впоследствии переименованной в "Святейший Правительствующий Синод". Синод был ничем иным, как просто административным органом, чем-то вроде Министерства по делам религии, причем во главе его необязательно должно было стоять лицо духовного звания. Петр, как правило, назначал на этот пост военных, которые должны были действовать как "глаза и уши государевы". Члены же указанной Коллегии, а позднее Синода, были обязаны приносить присягу, в которой клялись именем "Бога живаго" быть самодержавному царю "верными и послушными рабами и подданными". Раздел книги Ричарда Пайпса, посвященный вопросам религиозной догматики и историческому развитию русского православия, носит название "Церковь как служанка государства": в отличие от других европейских систем государственного устройства в России не было ни одной сферы деятельности, где церковь была бы свободна и обладала исключительными компетенциями. Все ее представители, включая сюда высшие церковные чины, были, как и все остальные жители страны, бесправными рабами самодержца.

В польской традиции государство никогда не считало церковь своей служанкой. Последний из королей династии Ягеллонов, Сигизмунд Август, отказывался даже от мысли обладать каким бы то ни было влиянием в делах религии, говоря, что он не властен над совестью человеческой. В более поздний период можно было бы даже утверждать, что государство стало "служанкой церкви" ("Рима"): будь то при Батории, когда оно оказалось под влиянием иезуита Поссевина во время войны с Иваном Грозным, или во времена династии Вазов, ведя длительные и ненуж-

ные для Польши войны за реставрацию католицизма в Швеции, или, наконец, при короле Яне Собеском, защищая христианство в битве под Веной. Подводя итог такой политике, Юлиуш Словацкий с горечью заявил, что "погибель Польши была в Риме".

Что касается внутренней политики, то можно утверждать, что и здесь скорее государственная власть была прислужницей Рима, нежели наоборот. Это относилось в особенности к делам, связанным с Сечью и, в последние годы существования Речи Посполитой, с "диссидентами" (лицами христианского, но не католического вероисповедания).

* *
*

Хотя в XX веке мистико-мессианистические теории не пользовались особой популярностью, по крайней мере среди поляков, стоит обратить внимание на существенное различие между концепциями польских и русских мессианистов. В XIX веке польские мессианисты называли Польшу "Христом народов" и стремились видеть в ней образ Спасителя, который, пройдя через муки и смерть, своим Воскресением попожил начало новой эпохе в жизни человечества. Точно так же воскресение замученной и растерзанной Польши должно было ознаменовать собой новую эпоху в жизни народов. В рамках такой концепции понятие Бога оставалось трансцендентным по отношению к польскому народу.

Русские же мессианисты развивали концепцию "народа-Богоносца", то есть народа, который несет в себе Бога — другими словами, в котором имманентно содержится Бог. По их мнению, это был народ русский, именно благодаря этому факту отличающийся от остальных народов. Бердяев писал об этом так:

"Русский народ — религиозный по своему типу и по своей душевной структуре. Религиозное беспокойство свойственно и неверующим. Русские атеизм, нигилизм, материализм приобретали религиозную окраску. /.../ Русским чужд рафинированный скептицизм французов, они — верующие и тогда, когда исповедуют материалистический коммунизм. Даже у тех русских, которые не только не имеют православной веры, но даже воздвигают гонения на православную церковь, остается в глубине души слой, сформированный православием..." (стр. 253).

Это содержащееся в "глубине души" начало, сформированное православием, и должно было делать русский народ совершенно отличным от всех других народов мира. В заключительной части своей книги Бердяев пишет:

"Русский народ, по своей вечной идее, не любит устройства этого земного града и устремлен к Граду Грядущему, к Новому Иерусалиму, но Новый Иерусалим не оторван от огромной русской земли, он с ней связан, и она в него войдет..." (стр. 255).

* *
*

По мнению русских мистиков-мессианистов, русский народ даже в рамках советской системы остается "народом-богоносцем". Эмпирики не могут не обратить внимания на аналогию между царской и советской Россией в том, что касается общей концепции власти, ее характера и сферы влияния. К Ленину и Сталину можно полностью отнести мысль, сформулированную в начале XVI века Иосифом Волоцким*:

"Хотя Император в своем физическом бытии подобен другим людям, во власти /или должности/ своей он подобен Богу" (стр. 310).

В государстве диктатуры пролетариата и Ленин, и Сталин были почти ничем не ограниченными самодержцами, "вотчинниками", "хозяевами" русско-советской земли и проживающего на ней населения. К ним также, лишь с минимальными изменениями, можно было применить один из принципов, выработанных православными богословами-догматиками, который в формулировке Р.Пайпса выглядит следующим образом:

"Русские властители являются вселенскими государями, императорами всех православных мира, то есть обладают правом править ими и защищать их, а также, надо разуметь, правом ставить их под русскую власть. Об этом заявлялось не раз, в том числе на церковном Соборе 1561 г. В иных сочинениях утверждали, что русский царь является государем всех христиан, а не только тех, кто исповедует православную веру" (стр. 312).

* Цит. по указанной книге Р.Пайпса.

И действительно, ведь Советский Союз должен был быть "родиной всех пролетариев" всего мира, претендуя таким образом на охват своим влиянием всего человечества, и до настоящего времени от этих претензий явно не отказался.

О существовании русско-польской антиномии свидетельствует также провал попыток перенесения в условия сегодняшней ПНР принципов, сформированных на русской почве, как, например, понятия "Хозяина", которое поляки с присущим им сарказмом заменили на "клуб владельцев Народной Польши". Свидетельствует об этом и их упорное стремление придерживаться традиционных польских принципов, гласящих, что отношения между властью и обществом должны регулироваться заключаемыми между ними добровольными соглашениями и что во главе народа может стать каждый его гражданин, как, например, никому прежде не известный Лех Валэнса.

Лондон, январь 1981 г.

Виктор СУКЕННИЦКИЙ

Как я понимаю Письмо Солженицына вождям Советского Союза

Передо мной тонкая брошюрка — изданное в Париже на русском языке письмо Солженицына вождям Советского Союза. Письмо датировано 5 сентября 1973 г., т.е. за несколько месяцев до изгнания писателя из родной страны, до того, как вышел в свет "Архипелаг ГУЛаг" и, наконец, — как мы узнаем из приложения ныне к письму краткого авторского вступления — до того, как экземпляр "Архипелага" попал в руки КГБ.

Прежде, чем до меня дошел полный текст письма Солженицына в подлиннике, я много о нем слышал, читал в западных газетах разные изложения и комментарии. На основе этих изложений мне не удалось составить себе мнения о документе, который — принимая во внимание его автора — необычайно меня интересовал. Еще меньше можно было извлечь из разговоров с людьми, знавшими — даже только что приехав с Запада — в лучшем случае только резюме во французской или английской печати. Мне бросился, однако, в глаза факт, что, как правило, письмо Солженицына — в той форме, в какой его знали, — неприятно всех удивило. Я слышал высказывания, что писатель скомпрометировал себя этим текстом. Солженицын — говорилось — братается в своем письме с Брежневым и К^О, предлагает им соглашение на почве русского национального объединения, предостерегает перед китайской опасностью. Автор книг о бесчеловечности господствующей в СССР системы разоблачил свою сущность русского националиста.

Что ж, известно, что националистские течения среди русских довольно сильны. Некоторые группы этой окраски пользуются в Москве официальной поддержкой, имеют возможность гласить свою идеологию в печати (напр., в журнале "Молодая гвардия") и влияют на формирование в податливой к этому части общества своеобразного конгломерата шовинистско-комму-

нистических взглядов. Другие группы находятся в оппозиции к коммунизму и поэтому преследуются, но лозунги русофильского мессианизма, ими провозглашаемые (часто с помощью самиздата), не будят среди нас, поляков, симпатии к этой части диссидентов. И вот Солженицын своим письмом властителям Кремля якобы поставил себя где-то между русскими националистами, "почвенниками" и приверженцами великодержавной доктрины.

Центры формирования общественного мнения, которым мы обязаны этим толкованием, продолжают это толкование поддерживать — и уже не в форме намеков, а с помощью однозначных ярлыков. Московский корреспондент "Ле Монд" в номере от 17 апреля с.г. определяет дух письма Солженицына как "в основе своей реакционный, целиком обращенный к прошлому и решительно националистический". При этом он ссылается не только на разочарование западных левых, которые до того "плохо знали Солженицына", но и на критику тезисов Солженицына представителями оппозиции в СССР, а в особенности — профессором Сахаровым. Профессор Сахаров, как можно предполагать, знает обращение своего друга в его подлинной форме и, вероятно, свое суждение сформулировал не только под влиянием разочарованных парижских левых и полулевых, а значит... Все это вместе взятое начинало меня искренне огорчать, поскольку мне хотелось далее сочетать восхищение перед великим писателем и борцом за правду с чувством сердечной солидарности. Но все возможно. Когда один знакомый привез с собой из поездки подлинный текст письма, я брал его в руки, готовый ко всему.

Теперь, после неоднократного и внимательного прочтения изданной в Париже книжечки, я могу с облегчением и полной уверенностью заявить: это не так. Солженицына читали неверно, в западной печати цитировали, не заботясь о передаче сущности его взглядов и стремлений, всячески, однако, стараясь представить дело в самом сенсационном свете. А что касается многочисленных "потребителей" из вторых рук — они слишком доверились плохим посредникам. Про реакцию же профессора Сахарова можно сказать, что не так уж редки случаи, когда внутри группы, борющейся за некую фундаментальную цель — по отношению к которой многие годы существует глубокое согласие, — в какой-то момент обостряются раскрывшиеся второстепенные различия, и начинает казаться, что некоторые детали формулировок товарища по борьбе, не совсем совпадающие с тем, что хотелось бы ска-

зать самому, заслуживают публичного опровержения. Солженицын и Сахаров, кстати, никогда не скрывали неполной тождественности своих взглядов. Не думаю, однако, чтобы это давало кому-либо право вступать между двумя замечательными оппонентами и триумфально раздувать разделяющую их разницу во взглядах. А уж во всяком случае подпирать авторитетом Сахарова (возможно, также произвольно цитируемого) "утраченные иллюзии" очень прогрессивных (но не слишком хорошо разбирающихся в вопросе) западных интеллигентов — занятие, мягко говоря, недостаточно обоснованное. Тем более, что — как признает упомянутый корреспондент "Ле Монд" — Сахаров не опровергает предлагаемые Солженицыным средства...

В возникшей ситуации мне показалось необходимой попытка лучшего посредничества между автором письма и теми польскими читателями, интересующимися Солженицыным, у которых мало шансов непосредственно познакомиться с подлинником письма. Быть может, чрезмерная самоуверенность с моей стороны — заявлять, что именно я — не профессиональный политик и не журналист — хотел бы предпринять эту попытку. Полагаю, однако, что мне удалось понять письмо Солженицына более соответствующим его намерениям образом, чем это смогли сделать (или: хотели сделать) французские и др. авторы. Поэтому я считаю попытку поделиться своим пониманием этого документа с соотечественниками чем-то вроде гражданского долга*.

Солженицын не голландец

В Варшаве рассказывают о беседе двух литераторов в кафе. Первый, презрительно выпячивая губы, сказал о Солженицыне: "Вылез из него русский в конце концов". На что второй

* Во время работы над этими заметками у меня появилась возможность заглянуть в апрельский номер парижской "Культуры". В этом номере Адам Кручек, комментатор всегда добросовестный и компетентный, изложил письмо Солженицына с точки зрения, почти буквально совпадающей с моей собственной. Если несмотря на это я не отказываюсь — как намеревался поначалу сделать — от начатого объяснения взглядов русского писателя, то причиной тому уверенность, что в таком серьезном и обросшем недоразумениями вопросе всегда есть место для новых объяснений, а кроме того — мне хотелось бы посвятить ему больше места, чем мог это сделать Кручек в своем обзоре.

(как будто Антоний Слонимский) ответил: "А разве он когда-либо выдавал себя за голландца?"

В начале письма вождям СССР Солженицын определяет его тему: "что я считаю спасением и добром для нашего народа" — и сразу же добавляет: "я желаю добра всем народам и чем ближе к нам живут, чем в большей зависимости от нас — тем более горячо. Но преимущественно озабочен я судьбой именно русского и украинского народов, по пословице — где уродился, там и пригодился, а глубже тоже — из-за несравненных страданий, перенесенных нами".

Этот мотив повторяется во многих местах письма, и когда, например, писатель выдвигает программу своеобразного *изоляционизма* русского народа в бьющемся со множеством трудностей мире, он чувствует необходимость объяснить: "я не счел бы нравственным советовать политику обособленного спасения среди всеобщих затруднений, если бы наш народ в XX веке не пострадал бы, я думаю, больше всех народов мира: *помимо* двух мировых войн мы потеряли от одних гражданских раздоров и неурядиц, от одного внутреннего "классового", политического и экономического, уничтожения 66 (шестьдесят шесть) миллионов человек!!! /.../ После *таких* потерь мы можем допустить себе и небольшую льготу, как дают больному отдых после тяжелой болезни. Нам надо излечить свои раны, спасти свое национальное тело и свой национальный дух. Достало бы нам наших сил, ума и сердца на устройство нашего собственного дома, где уж нам заниматься всею планетой. И опять-таки, по счастливому совпадению, весь мир от этого — только выиграет".

Оставим предположение Солженицына, что русский народ пострадал в XX веке больше всех. Нашлось бы, вероятно, еще несколько народов, которые могли бы приступить к соперничеству по количеству жертв и мук — если такое соперничество могло иметь хоть какой-либо смысл.

Правда, однако, что десятилетия, прошедшие со времени большевистской революции, были для русского народа эпохой неизмеримых пыток и потери крови — и трудно удивляться, что русского, русского писателя, долголетнего узника русских лагерей, очевидца коммунистического геноцида в России, больше всего потрясли те страдания, которые пришлось на долю его сородичей.

Лешек Колаковский опубликовал как-то на страницах "Культуры" манифест, который он назвал "Польское дело". Польская литература — и отнюдь не националистского лагеря — непрестанно живет *польским делом*, а мы, читатели, привыкли к тому, что это нормально.

"Что я считаю спасением и добром для нашего народа" в трактовке Солженицына — это его *русское дело*, ничуть не менее очевидное и ничуть не более предосудительное или морально сомнительное.

Не могу в этом обнаружить национализма.

Ведь Солженицын нигде не утверждает, что он считает свой народ *лучше* других, что он предназначен к *господству* над другими, к *верховенству* над другими, не доказывает, что за великие несчастья народ русский получил право на *территориальные возмещения*, он не хочет прибавить славы своему народу военной, политической или экономической *экспансией*. Наоборот: он предостерегает перед экспансией, советует свернуть существующие плацдармы и отказаться от создания новых. Он убеждает: "Вся мировая история показывает, что народы, создавшие империи, всегда несли духовный ущерб. Цели великой империи и нравственное здоровье народа несовместимы". Солженицын усиленно требует перенесения центра внимания "с внешних пространств на внутренние", а также "с внешних задач на внутренние". При этом он говорит буквально следующее: "Конечно, такое перенесение рано или поздно должно привести к тому, чтобы мы сняли свою опеку с Восточной Европы. Также не может быть и речи о насильственном удержании в пределах нашей страны какой-либо окраинной нации". Окраинной нации — т.е. народов, граничащих с внешним миром, географическое положение которых делает реальным их обособление от России: эстонцев, латышей, литовцев, белорусов, украинцев, крымских татар (если они вернутся в Крым), армян, грузин, азербайджанцев, туркмен, таджиков... Возможно, впрочем, что Солженицын предпочел бы, чтобы некоторые из этих народов (напр., украинцы и белорусы) не воспользовались бы шансом разрыва с Россией и остались бы с ней в некоем добровольном союзе. Но достаточно того, что он исключает возможность удержать какой-либо из этих народов при России силой. Патриотическая (имеющая целью добро своего народа) программа Солженицына не превращается в топчущую надежды, права и достоинство других народов программу.

Этим она, между прочим, и отличается от некоторых национальных движений нашей эпохи, не отступающих перед террором, кровопролитием, войной и, тем не менее, поддерживаемых без оглядки прогрессивной западной интеллигенцией.

Программа эта отличается и от "интересов государства" (принимаемых "Ле Монд"), из-за которых Франция откалывается от союза свободных демократий, не только пасуя перед московско-арабским шантажом, но и активно затрудняя совместную защиту от агрессии коммунизма и нефтяного империализма.

Возвращаясь в этой связи к польскому делу, как не прибавить, что русский патриот, провозглашающий ликвидацию империи — хотя побуждают его к этому не столько наши интересы, сколько собственное понимание добра своего народа, — лучший союзник польского дела, и можно только желать, чтобы таких союзников было больше!

Да, есть в России народы, независимость которых кажется Солженицыну просто нереальной. Речь идет о сибирских народностях, по отношению к которым, как говорит Солженицын, на России лежит "исторический грех": во время колонизации Сибири многие ее коренные обитатели были истреблены, других прогнали с принадлежащих им территорий. "Да, это было — продолжает Солженицын, — было в XVI веке, но *этого* исправить уже никаким образом нельзя. С тех пор малолюдными, даже безлюдными лежат эти раскинутые просторы. По перенеси всех народностей Севера — 128 тысяч, они редкой цепочкой разбросаны по огромным пространствам, освоением Севера мы нисколько их не тесним. Напротив, сегодня мы естественно поддерживаем их быт и существование, они не ищут себе обособленной судьбы и не могли бы найти ее. Из всех национальных проблем, стоящих перед нашей страной, эта — самая мягкая, ее и нет почти".

То есть: по отношению к свершившимся фактам — и свершившимся в далеком прошлом — трудно найти альтернативные решения, ибо они, к сожалению, уже не имеют объекта. (Разве иначе выглядит, например, вопрос американских индейцев?) Мнение Солженицына, что исторического греха России перед сибирскими туземцами не исправить, принадлежит к утверждениям, важным для его образа настоящего и будущего России, но не влияет на систему этических взглядов, не является поправкой к системе, которая подрывает суждение о Солженицыне, как о патриоте, а не русском националисте.

И вот это — то, что он чувствует себя русским и горячим, страстным поборником своего замученного коммунизмом народа, — можно прочесть в письме вождям об Александре Солженицыне.

Но это и не новость: каждый в меру проницательный читатель его произведений от "Одного дня Ивана Денисовича" и "Матрениного двора" до "Архипелага ГУЛага" — мог и должен был уже давно представить себе именно таким облик великого писателя.

Никогда, ни прямо, ни косвенно — через свои темы, образы, сюжеты, навязчивые идеи — Солженицын не выдавал себя за голландца.

Предпосылки письма вождям СССР

Предпосылка первая: жизнь в СССР невыносима, страна погибает от нищеты, неисправимо порочной экономики (особенно разрушенного коллективизацией и далее разрушаемого сельского хозяйства), отсутствия перспектив, всеобщего воровства, лжи, пьянства, падения культуры, развращения молодежи, эксплуатации женщин, бездумного истребления природы. "Неужели это и есть тот манящий социализм-коммунизм, для которого и клалась все жертвы и гибли 60-90 миллионов?"

Но вторая предпосылка: "...из русской истории стал я противником всяких вообще революций и вооруженных потрясений, значит, и в будущем тоже: и тех, которых вы жаждете (*не у нас*), и тех, которых вы опасаетесь (*у нас*). Изучением я убедился, что массовые кровавые революции всегда губительны для народов, среди которых они происходят. И среди нашего нынешнего общества я совсем не одинок в этом убеждении".

Первая предпосылка — это осознание неопровержимого факта, вторая — вывод из ряда фактов, к которому следует отнестись с уважением, хотя можно с ним согласиться не полностью или же совсем не соглашаться. Меня лично раздирает противоречие: зло революции мне хорошо известно, вот уже по меньшей мере более десятка лет я постоянно о нем размышляю и, в принципе, прихожу к тому же заключению, что и Солженицын. Но в то же время мне трудно поверить в добровольную эволюцию какого-либо зла к добру, и я знаю, что теми небольшими уступками правителей управляемым, какие случались в Польше, теми частичны-

ми торможениями процесса зла, какие мы наблюдали в 1956 и 1970 гг., мы были обязаны все-таки бурным проявлениям народного протеста, каким-то, скажем прямо, микрореволюциям. И если я жду, вместе с другими, падения советской империи, то, честно говоря, надежда моя лишь на потрясения внешние и внутренние. Но вместе с тем я прекрасно понимаю и уважаю принципиальный отказ Солженицына от революции. А если так, то я должен серьезно отнестись к вытекающим отсюда очередным предпосылкам письма, а прежде всего к тому — третья предпосылка, — что имеет смысл обращение к властителям Кремля, попытка представления им своих взглядов, оценок и предложений, направленных на улучшение жизни русского народа.

В авторском вступлении Солженицын признается, что написал свое письмо с минимальной надеждой на его эффективность, но и не без всякой надежды. Эта надежда опиралась на исторический прецедент: "хрущевское чудо" 1955-1956 гг., состоявшее в неожиданном и неправдоподобном освобождении миллионов невинных заключенных. "Этот порыв деятельности Хрущева перехлестнул необходимые ему политические шаги, был несомненным сердечным движением, по сути своей — враждебен коммунистической идеологии, несовместим с нею (отчего так поспешно от него отшатнулись и методически отошли). Запретить себе допущение, что нечто подобное может и повториться, значит полностью захлопнуть надежду на мирную эволюцию нашей страны".

Если отбросить антикоммунистическую революцию как несомненное зло (не потому, что антикоммунистическая, а потому, что революция), предпосылка о возможности "сердечного движения" со стороны Брежнева и присных хотя и проблематична, но защищает от абсолютного отчаяния и безнадежности.

В поисках надежды в разговоре с вождями Солженицын, однако, не впадает в крайнюю наивность.

Он отлично знает — и это очередная предпосылка письма, — что его адресаты не выпустят добровольно из рук власти. "...Я не забыл ни на минуту, что вы — крайние реалисты, на том и начат разговор. Вы — исключительные реалисты и не допустите, чтобы власть ушла из ваших рук. Оттого вы не допустите доброю волей двух- или многопартийную парламентскую систему у нас, вы не допустите реальных *выборов*, при которых вас могли бы не выбрать. И на основании реализма приходится признать, что это еще долго будет в ваших силах. Долго, но — не вечно".

Если реализм учит, что об отказе от власти не может быть и речи, то Солженицын волей-неволей соглашается на ее сохранение адресатами письма. Он предлагает лишь некоторые изменения, которые сделают эту власть менее страшной, менее гнетущей, менее абсурдной для подданных. Он взывает к ограничению беззакония, произвола партийных царьков в пользу *законности*, которая даже в авторитарном строе не обязана и не должна быть бумажной. Восстановление реальности законов, пусть даже в виде возобновления некогда объявленной "власти советов", пусть даже в форме применения конституции 1936 г., которая "не выполнялась ни одного дня и потому не кажется способной жить", — было бы благословенной переменой для жителей СССР. "Авторитарный строй, — напоминает тут Солженицын, — не значит еще, что законодательная, исполнительная и судебная власти не самостоятельны ни одна и даже вообще не власти, но все подчиняются телефонному звонку от единственной истинной власти, утвердившей сама себя". Помня, что он замкнул себя в "рамках жесткого реализма", писатель с ироническим смирением говорит: "Вы, конечно, не упустите сохранить свою партию как крепкую организацию единопособников и конспиративные от масс ("закрытые") свои отдельные совещания". Но впредь — все ли еще это реализм и минимализм? — "любой государственный пост пусть не будет прямым следствием партийной принадлежности, как сейчас". И пусть изменятся задачи, которые ставит перед собой партия: пусть она откажется от ненужной и неосуществимой миссии господства над миром в пользу основных национальных целей: спасения от войны с Китаем и от технологической гибели. "Руководить нашей страной должны соображения внутреннего, нравственного здорового развития народа, освобождения женщины от каторги заработков, особенно от лома и лопаты, исправления школы, детского воспитания, спасения почвы, вод, всей русской природы, восстановления здоровых городов, освоения Северо-Востока..."

Распространено недоразумение: Солженицыну приписывают охотное согласие на авторитарный строй и сочетающуюся с этим антипатию к демократии. В действительности, после изложения таких принципов, как отказ от возможной революции и неверие в добровольное отречение от власти коммунистических вождей, писатель иронизирует (кстати, никто, как будто, не заметил, что адски серьезный Солженицын *бывает* и насмешником и

иронистом): "В таком положении что ж остается *нам*? Приводить утешительные соображения о зелености винограда". И в *этом* контексте следует критика несовершенства демократии, верная, впрочем, и близкая многим из нас — издалека наблюдающим, как, например, "любая профессиональная группа научилась вырывать себе лучший кусок в любой тяжелый момент для своей нации" или как "вовсе оказались беспомощными самые уважаемые демократии перед кучкою сопливых террористов". Они верны, повторим, эти грустные наблюдения, но, хотя труднее всего судить, верно или неверно следующее за ними предположение об исторической незрелости России для иного, чем авторитарный, строя, — остается фактом, что все эти замечания предварены сигналом о зелености винограда, т.е. (кто же не помнит Лафонтена) — о чем-то желанном и недостижимом...

Не защищая далее Солженицына перед упреком не по адресу — о поддержке авторитарного строя, — вернемся еще раз к предположениям, которые писатель выдвигает по отношению к этому строю, пока — по его мнению — является он единственной реальностью в России. Милосердия к узникам! — восклицает писатель и говорит: "уж конечно придется отказаться навек от психиатрического насилия и от негласных судов, и от того жестокого безнравственного мешка лагерей, где провинившихся и оступившихся калечат дальше и уничтожают".

И еще: "Чтобы не задохнулись страна и народ, чтобы они имели возможность развиваться и обогащать нас же идеями, свободно допустите к честному соревнованию — не за власть! за истину! — все идеологические и все нравственные течения, в частности все религии. /.../ Допустите свободное искусство, литературу, свободное книгопечатание не политических книг, Боже упаси! ни воззваний! ни предвыборных листовок — но философских, нравственных, экономических и социальных исследований, ведь это будет давать богатый урожай, плодоносить — в пользу России".

Признаюсь, что это положение Солженицына: что при сохранении авторитарного строя и теперешнего состава на руководящих постах в России возможны такие реформы, как введение честного судопроизводства, свобода совести, печати и т.д., — мне кажется самым утопическим. Писатель подкрепляет его многократно повторяемой мыслью о том, что те, к кому он обращается, такие же русские, как и он, а значит — по всей вероятности, патри-

оты, связанные со своей землей, народом, историей, не совсем глухие к идее принесения счастья этому народу, быть может, наконец, чувствующие скрытую потребность искупить роковое прошлое, к которому они приложили и свою руку... В какой степени писатель сам в это верит, а в какой — хочет внушить все это своим "партнерам", чтобы получить хотя бы такую отправную точку (ибо какую другую мог бы он им предложить!) для дальнейшего диалога? Позднейшее по времени вступление к письму включает и такой комментарий: "Это письмо родилось, развилось из единственной мысли: как избежать грозящей нам национальной катастрофы? Могут удивить некоторые практические предложения его. Я готов тотчас и снять их, если кем-нибудь будет выдвинута не критика остроумная, но путь конструктивный, выход лучший и, главное, вполне реальный, с ясными путями. Наша интеллигенция равнодушна в представлении о желанном будущем нашей страны (самые широкие свободы), но так же равнодушна она и в полном бездействии для этого будущего. Все замороженно ждут, не случится ли что *само*. Нет, не случится".

Таковы основные предпосылки письма Солженицына вождям СССР и принципы изложенных в этом письме предложений.

Две главные опасности

Угроза национальной катастрофы для России, о которой говорит писатель, вызвана, на его взгляд, прежде всего двумя опасностями. Это "война с Китаем и общая с Западной цивилизацией гибель в тесноте и смраде изгаженной Земли".

Войны с Китаем выиграть нельзя, ибо Россия встретится с противником так многочисленным (почти миллиард населения), как никогда в своей истории, с противником, обладающим чертами, отнюдь не благоприятствующими разложению армии и тыла (трудолюбие, упорство, самопожертвование, тоталитарная дисциплина "нисколько не уступительнее нашей"). Нельзя питать обманчивой надежды на победоносный блицкриг, война будет долгой и трудной, будет напоминать проигранную американцами войну во Вьетнаме. Россия потеряет в ней еще 60 миллионов голов, а это будет означать практическое истребление русского народа вообще. "И уже только одно это, — убеждает Солженицын, — будет означать *полный* проигрыш той войны, независимо ото всех

остальных ее исходов (во многом безрадостных, в том числе и для вашей власти, как вы понимаете). Разрывается сердце: представить, как наша молодежь и весь лучший средний возраст по-шагает и поколесит погибать на войне, да какой? — ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ, за что? — главным образом за мертвую идеологию. Я думаю, даже и *вы* не способны взять на себя такую ужасную ответственность! Щемящее сочувствие вызывают и рядовые китайцы — потому что они будут самыми беспомощными жертвами той войны...”

А вот и вывод: “Все это гибельное будущее, по темпам приближения совсем уже недалекое, ложится бременем на нас сегодняшних — и на тех, кто имеет власть, и кто силу имеет повлиять, или кто только голос имеет, чтобы произнести: этой войны не должно быть вообще, ЭТА ВОЙНА ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНА СОСТОЯТЬСЯ!”

Как кажется, никому из читателей сенсационных титров: “Солженицын предостерегает Брежнева перед китайской опасностью” и пр. не пришло в голову, перед чем в действительности предостерегает Солженицын и к чему он призывает. Он предостерегает просто перед войной, а зовет не к победе над китайцами, а к уклонению от столкновения с ними!

Писатель считает, что есть две причины, ведущие к советско-китайской войне. Он ставит на *втором* месте жадное поглядывание перенаселенного Китая на все еще не освоенную, все еще пустую Сибирь. На *первом* же месте — стоит у него идеологическое соперничество: “Вот уже 15 лет между вами и вождями Китая идет спор о том, кто вернее понимает, толкует и продолжает Отцов Передового Мировоззрения. И помимо и острее государственного столкновения между нами вырастает это глобальное соперничество, претензия единосмысленно толковать коммунистическое учение и в нем вести именно за собою все народы мира”. При таком понимании главной причины конфликта тем более абсурдным кажется Солженицыну, что 60 миллионов русских должны сложить головы “за то, что именно на 533 странице ленинского тома написана заветная истина, а не на 355-й, как утверждает наш противник”. К тому же, для проведения этой войны обе воюющие стороны в собственных рядах должны будут сделать множество идеологических уступок, как должен был сделать в свое время Сталин, мобилизуя людей против Гитлера не под недостаточно притягательными, как оказалось, коммунистически-

ми лозунгами, а под старыми знаменами русского духа и православия. Русско-китайская война вызовет точно такое же изменение курса, и не лучше ли провести его раньше, и тем самым — по мнению автора — избежать войны?

“Отдайте им эту идеологию! — уговаривает Солженицын. — Пусть китайские вожди погордятся этим короткое время. И за это взвалят на себя весь мешок неисполнимых международных обязательств, и кряхтят, и тащат, и воспитывают человечество, и оплачивают все несуразные экономики, по миллиону в день одной Кубе, и содержат террористов и партизан южных континентов. Отпадет главная лютая рознь между нами и ими, отпадет множество пунктов нынешнего состязания и столкновения во всем мире, — и военный конфликт отодвинется намного, а может быть — и не состоится *вовсе никогда*”.

Трудно устоять перед впечатлением, что Солженицын сильно переоценивает роль доктринальной дискуссии в советско-китайском конфликте. К вопросу о преувеличении Солженицыным идеологических мотивировок в сегодняшнем коммунизме вообще предстоит вернуться несколько ниже. Но суть дела в другом: письмо — это попытка убедить вождей Кремля делать ставку не на войну, а на мир с Китаем, добровольно отдать китайцам территории деятельности своих явных и тайных агентов в мире, так или иначе засыпать пеплом доброй воли многие годы тлеющий на Востоке очаг грозного конфликта...

Кроме Китая, с которым “лучше не воевать вообще”, никто больше, по Солженицыну, не угрожает в военном отношении Советскому Союзу. Отсюда — требование основательного ограничения вооружения и военных приготовлений, а при этом — очистки неба от рева реактивных самолетов на бесконечных учениях, возвращения стране *тишины*. “Пришла пора, — говорит писатель (и здесь вспоминается “Открытое письмо ПОРП” Курона и Модзалевского), — и освободить русскую юность от обязательной всеобщей воинской повинности, которой нет ни в Китае, ни в Соединенных Штатах, ни в одной большой стране мира. Мы эту армию держим все из той же генеральской и дипломатической суеты — для престижа, из чванства; для внешнего расширения, от которого надо отказаться, физически и душевно спасая самих же себя; и еще — от ложного представления, что мужскую молодежь нельзя воспитать государственно полезной иначе, как пропуская ее через армейский котел долгими годами”. Так Солжени-

цын восстает не только против ориентировки на войну с Китаем, но и вообще против советского милитаризма, всех его проявлений и последствий.

Вторая опасность, угрожающая в перспективе нескольких десятилетий почти неизбежной (если ей не противодействовать сейчас же) катастрофой, связана с проблематикой, вот уже некоторое время известной западному обществу и не окруженной особым табу и в Польше. Речь идет о вызванном ускоренным развитием цивилизации и приближающемся со все страшнее растущей быстротой (по принципу экспоненциальной кривой) пределе возможности сохранения жизни на Земле. Комплекс этих проблем включает, между прочим, резко возрастающее количество населения и ограниченную возможность обеспечения его питанием, затем — прогрессирующее истощение различных естественных богатств (например, топлива), наконец — растущее вместе с развитием индустриального производства загрязнение земли, воздуха, воды, которое ведет к такому полному отравлению естественной среды, что биологическая жизнь перестанет в ней существовать. Авторы так называемого "Римского доклада" — самой известной публикации группы ученых, исследующих эту проблематику, — после изучения разных ее аспектов и проведения необходимых расчетов с помощью ЭВМ, пришли к заключению, что дальнейший "слепой прогресс" меньше, чем за сто лет, приведет человечество к катастрофе, от которой не будет спасения. Во избежание этого они предлагают, пока не поздно, применение "политики сознательного ограничения роста". Необходимые технические решения, утверждают ученые, — "регенерация запасов, устройства, ограничивающие загрязнение среды, противозачаточные средства — будут абсолютно решающими факторами для будущего человеческого общества, но *при условии сочетания с сознательным ограничением роста*". (Цит. по польскому изданию: Донелла Х.Мидоуз, Деннис Л.Мидоуз, Йорген Рандерс, Уильям У.Беренс III — "Границы роста", пер. В.Рончковской и С.Рончковского, Варшава, ПВЭ, 1973). Спасти можно будет лишь мир в состоянии равновесия, которое определяется так: *"количество населения и капитал в принципе постоянны, а силы, которые могли бы их уменьшить или увеличить, находятся в старательно контролируемом равновесии"*. И далее: "Состояние равновесия не будет свободно от напряжений, ибо никакое общество не может быть от них свободно. Для этого равновесия потребуется жертвовать некоторыми

человеческими свободами — как право иметь неограниченное количество детей или неограниченно пользоваться естественными запасами — в пользу других свобод, таких, как освобождение от загрязнения среды и тесноты, а также от угрозы разрушения мировой системы". Я не буду делать подробного разбора Римского доклада, который доступен читателям в Польше, и который популяризуется также (иногда в порядке борьбы с ним) армией квалифицированных журналистов. Иначе, насколько мне известно, дело обстоит у наших восточных соседей, где на страницы газет не проникает ничто, нарушающее обязательный и всеобъемлющий оптимизм, — замалчиваются даже большие землетрясения и авиационные катастрофы. Поэтому слова Солженицына о "тупике цивилизации" и о том, что "не может дюжина червей *бесконечно* изгрызть одно и то же яблоко", должны там казаться откровением или ересью. Открыто ссылаясь на труды Римского Клуба и Общества Тейяра де Шардена, Солженицын формулирует на своем образном языке по сути дела те же предостережения, что и западные исследователи, но не по адресу всего человечества, а единственно — своей страны и ее властителей.

К этому присоединяется особый момент: уходящая в историю насмешка над русскими фанатиками "бесконечного, безграничного прогресса" и упрек социализму, который не сумел использовать шанса создать свою, оригинальную модель цивилизации, перенимая все наихудшее из осуждаемой на словах капиталистической модели: "казалось бы, — издевается Солженицын, — "первая в мире социалистическая страна", которая показывает образец другим народам Запада и Востока, и такая "оригинальная" в следовании некоторым уродливым доктринам — о крестьянстве, о мелком ремесле, — почему же были так уныло неоригинальны в технологии, так безмысли и слепо шли за западной цивилизацией? /.../ При центральном плане, которым мы гордимся, уж у нас-то была, кажется, возможность *не* испортить русской природы, *не* создавать противочеловеческих многомиллионных скоплений. Мы же сделали все наоборот..."

"Тупик" прогресса — общий для всех, но писатель считает "все же, что западная цивилизация не погибнет. Она столь динамична, столь изобретательна, что изживет и этот нависающий кризис, переломает вековые ложные представления и в несколько лет приступит к необходимой перестройке". Что же касается неразвитых стран Африки и Азии, те своевременно выслушают предосте-

режение и "вообще не пойдут по западному пути". Хуже всего дело обстоит в коммунистической сверхдержаве: "Но — мы?? С нашей неповоротливостью, косностью, с нашей неспособностью и робостью менять хоть единую букву, хоть штрих один в том, что сказал Маркс о промышленном развитии к 1848 году. Экономически, физически — мы вполне можем спастись. Но на пути нашего спасения стоит, перегораживает — Единственно Передовое Мировоззрение: если отказаться от промышленного развития, то как же тогда рабочий класс, социализм, коммунизм, безграничный рост производительности труда и т.д.?"

Солженицын пытается убедить вождей, чтобы те не боялись ярлыка "ревизионистов" и, решительно пересматривая существующие в этой области догмы, приступили немедленно к построению новой модели цивилизации, опирающейся на принципы *стабильности, равновесия, а не неразумного, жадного "прогресса"*.

Именно у России, наряду с тремя другими странами: Австралией, Канадой и Бразилией, — исключительные шансы успеха в связи с изобилием еще не освоенных, целинных земель. На этих землях, т.е. в Сибири, можно начать новую жизнь, разумную и более безопасную, чем до сих пор... "Скажут, что мы и там много делали, строили — но не столько строили, сколько людей губили, как на "мертвой дороге" Салехард—Игарка, да уж не будем тут все лагерные истории перебирать. Так строить, чтоб затоплять Кругобайкальскую железную дорогу, а обходную бессмысленно гнать горами, сжигая тормоза; так строить, как целлюлозные комбинаты на Байкале и Селенге, поскорей к выручке и к отраве, — так лучше бы и повременить. По темпам века мы сделали на Северо-Востоке очень мало. Но сегодня можно сказать — и к счастью, что так мало: зато теперь можем делать все разумно с самого начала, по принципам стабильной экономики. /.../ Итак, наш выход один: чем быстрее, тем спасительнее — перенести центр государственного внимания и центр национальной деятельности... с далеких континентов, и даже из Европы, и даже с юга нашей страны — на ее Северо-Восток. /.../ Экономика *не-гигантизма*, с дробной, хотя и высокой, технологией, не только позволит, но даже потребует построения рассредоточенных городов, мягких для человека". И т.п. и т.д. — не нужно приводить здесь все детали солженицынского видения будущего. Его направление, однако, ясно: убежать от угрозы гибели цивилизации к созданной на девственных землях Сибири экономике равновесия. В этих вымеч-

танных писателем условиях новой жизни люди станут лучше, чище, духовно богаче...

Призрак идеологии

"Идеология" — т.е. марксистско-ленинская доктрина — считается Солженицыным не только главным препятствием на пути мирного решения советско-китайского раздора, он видит в ней также главный тормоз, препятствующий необходимому изменению модели цивилизации, а впрочем, и вообще главного виновника всего зла в функционировании государства и коммунистической системы. Все свои предложения он определяет, как выражение "патриотизма — и *значит* отрицания марксизма". Марксизм же — кратко определяя — "велит не осваивать Северо-Востока и оставить наших женщин с ломами и лопатами, но торопить и финансировать мировую революцию".

Я согласен с Солженицыным, когда он насмехается над примитивными марксистскими общественно-экономическими шаблончиками, когда припоминает доктрине все ее неисполнившиеся пророчества, ошибочные диагнозы, немощные идеи устройства мира.

Я думаю, однако, что Солженицын ошибается, демонизируя роль доктрины в качестве предполагаемой руководящей линии в действиях коммунистических политиков. Может быть, когда-то так и было, не знаю. Но с уверенностью можно сказать, что давно это перестало быть правдой. Не потому СССР финансирует и подстрекает к диверсионным действиям разных арабов и латиноамериканцев, что требует того марксистский "интернационализм", а потому, что нужно это с точки зрения имперских интересов сверхдержавы. "Интернационализм" не движет никакими начинаниями, он является лишь их лицемерным обоснованием, маскировкой их внеидеологической сущности.

Анафемы, которым в разное время марксистская церковь предавала мнимых отступников от неизменной доктрины (Троцкий, Тито, Гомулка и др.), всегда были производными политических решений и ситуаций — были связаны со стремлением Сталина к полноте власти в партии и Коминтерне, с борьбой за стратегические позиции на Балканах, с ликвидацией сопротивления ускоренной советизации Польши. Если заклеяменному отступнику не успевали заблаговременно отсечь голову, он мог на следующий

день — в несколько ином контексте — выплыть в роли признанного ортодокса марксизма-ленинизма.

Сила доктрины состоит в том, что с ее помощью можно доказать любой тезис, приклеить противнику любой ярлык, а прежде всего — *шантажировать его* этой возможностью.

Думаю, например, что усердные мероприятия в странах-сателлитах "народной демократии" — такие, как ликвидация ремесла или коллективизация сельского хозяйства, — вытекали не столько из доктринальной непоколебимости местных вождей, уже сознававших, какие последствия вызвали подобные операции в "первом социалистическом государстве", сколько из их страха попасть под обвинение в неверности доктрине. Проводя свой шантаж, Москва стремилась, в первую очередь, как можно более уподобить страны-сателлиты центру, добиться "социалистической интеграции". Там, однако, где ситуация формировалась специфическим образом — как в польском сельском хозяйстве после 1956 г., — очень скоро отказались от доктринальных обвинений, что не значит, разумеется, что отказывались от проведения своих далеко идущих планов.

Возможно, что если бы дошло до дискуссии о предложениях письма Солженицына, пустились бы в ход и идеологические аргументы. Но и в этом случае речь, по существу, шла бы не об идеологии, а о заклеивании мыслителя, осмелившегося противопоставить политике КПСС свою альтернативу.

И наоборот, если бы мировая и внутренняя обстановка заставила Брежнева и К^о серьезно подойти к этой альтернативе, думается, что мощь доктрины оказалась бы весьма жалкой и была бы слабым препятствием на пути реформ.

Другое дело, что я прекрасно понимаю антидоктринальную фобию человека, которого на протяжении 55 лет жизни в СССР на каждом шагу осаждали идеологические фразы, самым головомным способом приклеиваемые к каждой жизненной ситуации.

Горох о стенку

Брежнев с коллегами не реагировал, однако, на утопию Солженицына. Диалог на тему об устройстве России не получился, зато была реакция — мы знаем, какая — на другие высказывания великого писателя, высказывания, которые не проектами и

попытками убедить, а раскрытием исторических фактов, казалось, потрясали основы государства. 12 февраля 1974 г., накануне изгнания, Солженицын написал очередное воззвание, на этот раз уже не коммунистическим диктаторам. О них он говорит в этом новом тексте только:

"Переубедить их — невозможно.

Естественно было бы их переизбрать! — но перевыборов не бывает в нашей стране.

На Западе люди знают забастовки, демонстрации протеста — но мы слишком забиты, нам это страшно: как это вдруг — отказать от работы, как это вдруг — выйти на улицу?"

Так как письмо властителям оказалось — чего можно было ожидать, чего и ожидал ведь сам Солженицын — швырянием гороха в стенку, писатель снова обращается к своей истинной аудитории: к соотечественникам, современникам, прежде всего — русской интеллигенции.

Программа, которую он предлагает этим адресатам, гораздо проще той, представленной им — не без своего рода отчаяния — вождям. Вот она: НЕ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЯ ВО ЛЖИ, НЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ СОЗНАТЕЛЬНО ЛЖИ, которая в СССР является главным союзником насилия. Каждый, кто выберет этот путь:

" — впредь не напишет, не подпишет, не напечатает никаким способом ни единой фразы, искривляющей, по его мнению, правду;

— такой фразы ни в частной беседе, ни многолюдно не выскажет ни от себя, ни по шпаргалке, ни в роли агитатора, учителя, воспитателя, ни по театральной роли; /... /

— не даст принудить себя идти на демонстрацию или митинг, если это против его желания и воли. Не возьмет в руки, не подымет транспаранта, лозунга, которого не разделяет полностью;

— не поднимает голосующей руки за предложение, которому не сочувствует искренне; не проголосует ни явно, ни тайно за лицо, которое считает недостойным или сомнительным;

— не даст загнать себя на собрание, где ожидается принудительное, искаженное обсуждение вопроса;

— тотчас покинет заседание, собрание, лекцию, спектакль, киносеанс, как только услышит от оратора ложь, идеологический вздор или беззастенчивую пропаганду;

— не подпишется и не купит в рознице такую газету или журнал, где информация искажается, первосущные факты скрываются...”

Это все тот же Солженицын, который несколькими месяцами раньше пытался побудить авторитарных властителей СССР к реформам. Теперь он обращается к своим “нормальным” соотечественникам и учит их первым, основным шагам на пути сопротивления. Облик оратора не изменился — вопреки всем, кто ругает первый, а хвалит второй текст, между тем и другим нет противоречия, — есть только разница в адресе и есть своего рода поочередность в обращении к разным шансам воздействия на действительность.

Если попытка диалога с вождями была утопией, будет ли более реальной попытка соглашения с согражданами, предложение им образа жизни в коммунистическом государстве против этого государства? Время, конечно, покажет, но, по-видимому, трудно надеяться, что призыв Солженицына сразу же подхватят широкие массы.

Не бесплодны ли и безнадежны поэтому усилия русского писателя? С таким заключением тоже трудно согласиться тому, кто, как я — хотя и не соотечественник Солженицына, — в каждом тексте этого автора, пусть и не в каждой детали с ним соглашаясь, находит источник надежды и урок для себя и своих сородичей.

Н.Н. из Варшавы

Написано в апреле 1974 г.

/Оригинал текста написан по-русски./

Ошибка Солженицына

Не прошло еще десяти лет с момента высылки Солженицына (слову “высылка” он придает большое значение, отличая себя таким образом от более или менее добровольных русских эмигрантов) с родины на Запад. Очень скоро он затворился в своей вермонтской пустыни и посвятил все силы работе над многотомным романом, редко откладывая перо прозаика ради выступлений в роли “пророка” или “проповедника”, как обычно это определяют (иногда с уважением и даже восхищением, чаще, однако, с оттенком иронии). Все настойчивее слышится в последнее время среди соотечественников Солженицына и его западных критиков вопрос: кто же он такой, кроме того, что он, вне сомнения, выдающийся писатель? Русский националист или прямо шовинист? Реакционер, враг прогресса, вздыхающий по доиндустриальному обществу? Переодетый фанатический православный поп? Апологет царизма? Славянофил, наслаждающийся бичеванием Запада? Нарастающую травлю Солженицына со стороны его эмигрантских соотечественников — главным образом, как и он, писателей — можно объяснить неконтролируемыми рефлексамися зависти, иногда перерождающимися в слепую, истерическую ненависть. Малодушные, полемическая злоба, а иногда и простое невежество ощутили у его западных критиков. Но буря страстей вокруг Солженицына склоняет к тому, чтобы задуматься: не совершает ли и он какой-то серьезной ошибки в своей деятельности “пророка” и “проповедника”.

Перечитывая три эссе Солженицына в коллективном сборнике “Из-под глыб”, подготовленном в Москве и изданном в 1974 году в Париже, осознаешь, что его взгляды и мнения сформировались и созрели еще до высылки, что на Западе он постоянно к ним возвращается и что поэтому нелепо изображать по его адресу удивленное огорчение или возмущение. Эти взгляды и мнения могут нравиться или не нравиться, у одних вызывать одобрение, других побуждать к спору (фрагментарным примером этого должна служить настоящая заметка), однако нельзя нацеп-

лять на великого писателя, книги которого сыграли огромную, а то и переломную роль, глупые, мелочные этикетки. Солженицын — русский патриот, одержимый верховной, главенствующей над всем остальным мыслью о смертельной опасности коммунизма. Он ставит ударение на "нравственную революцию", "духовное освобождение" своего народа, указывая ему путь "раскаяния и самоограничения". Глубоко верующий человек, он видит в возврате русских к религии единственный способ задержать процесс постепенного превращения народа в бесформенную массу. Он призывает интеллигенцию, из которой советские порядки сделали "образованщину", подхватить традицию "жертвенной элиты". Он категорически отвергает приписываемые советской системе черты явления российского, укорененного в прошлом и в истории России, — он считает эту систему плодом универсального зла — коммунизма, который уже поработил многие народы и готовится поработить весь мир. Он не допускает различия между сталинизмом и ленинизмом: "НИКАКОГО СТАЛИНИЗМА... НЕ БЫЛО... Сталин был хотя и очень бездарный, но очень последовательный и верный продолжатель духа ленинского учения". Он вовсе не убежден в абсолютном превосходстве парламентарной демократии западного типа — во всяком случае, он скептически относится к возможности введения ее в России, освобожденной от советского строя. Он, в принципе, не против устремления народов, входящих в состав СССР, к независимости, однако, похоже, ожидает от них, что временно они отодвинут эти устремления на второй план во имя общей борьбы с Архиврагом, которым является не русский империализм, но коммунистический экспансионизм (русские, не устает он повторять при первой возможности, такие же жертвы коммунизма, как остальные народы Советского Союза).

Несколько новая нота звучит в эссе "Чем грозит Западу плохое понимание России", опубликованном в 1980 г. в "Форин Аффэрс" (русский текст — "Вестник РХД", №131) и теперь перепечатанном в сборнике "Смертельная опасность" ("The Mortal Danger") с репликами нескольких американских "советологов" и заключительной репликой Солженицына ("Иметь мужество видеть" — русский текст: "Вестник РХД", №132). Нота, частично новая, поскольку, сориентировавшись, сколь распространена на Западе ошибка, в силу которой "мировую болезнь коммунизма неразделимо смешивают с той страной, которой он овладел первой — Россией", Солженицын, по существу, лишь шире развивает свой

давний страстный протест против тезиса о советской системе как российском явлении. Он прав, клеймя опасную тенденциозность этого тезиса, доведенного до преувеличения, — но и сам грешит преувеличением. Резко предостерегая перед универсальным злом коммунизма, он теряет чувство меры, обеляя, идеализируя старую Россию; он заходит так далеко, что из ее образа мы выносим впечатление в принципе здорового организма, ни с того, ни с сего пораженного революционно-коммунистическим раком, а отнюдь не уже исторически гниющего ствола "русской традиции", на котором прививка советской системы, в конце концов, смогла приняться. Неколебимый в своей патриотической вере в полнейшее отсутствие каких бы то ни было родственных связей между старым режимом и новым, Солженицын исключает даже возможность своеобразного подсознательного симбиоза вчерашнего царизма и сегодняшнего советского тоталитаризма. Хотелось бы в ответ обратить его внимание на одну фразу в книге Джорджа Кеннана "Маркиз де Кюстин и его «Россия в 1839»": "Даже если мы должны признать, что книга французского путешественника не была наилучшим произведением о России 1839 года, остается тревожным тот факт, что она оказалась замечательным, лучше многих других, произведением о России Сталина и вполне неплохим — о России Брежнева и Косыгина".

Подслащенный образ царского государства, вероятно, предполагает у Солженицына столь же подслащенный образ многонациональной царской империи. Быть может, этим в некоторой степени объясняется тон недавно опубликованного письма Солженицына участникам конференции о русско-украинских отношениях в Торонто и Украинскому институту в Гарварде. Здесь вновь появляется призыв не ставить национальные требования и сепаратистские устремления к независимости впереди главной цели общей борьбы с универсальным злом коммунизма, не предрешать в эмиграции того, что думают и чувствуют украинцы на родной земле. Но ни один народ с развитым национальным сознанием и хорошей исторической памятью не поддастся на убеждения, что самые благородные "универсальные" цели важнее текущих "локальных" устремлений. И ни один народ — как в СССР, так и в зоне "народных демократий" — не сумеет глядеть на русских так, как рекомендует Солженицын: не сумеет смотреть на них *исключительно* как на подобные другим жертвы коммунизма, не видя в них *также* народа с имперскими и колониальными

традициями. Уважать и понимать чужой патриотизм — высшее испытание для своего собственного. А ведь не кто иной, как Солженицын, описывая в "Архипелаге ГУЛаг" украинских заключенных, взял их под защиту от упрека в национализме и назвал их попросту патриотами.

РЕДАКЦИЯ

**«Броня крепка,
и танки наши быстры...»**

Так начинается популярная у нас перед Второй мировой войной песня, и мы — босоногие мальчишки той поры, бодро распевали ее в школьном строю, у пионерских костров, среди уличных игр, и даже дома. В особенности нам нравился лейтмотив:

...Гремя броней, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин
И Первый маршал в бой нас поведет...

И песня вполне соответствовала действительности, когда нашим танкам никто не препятствовал утюжить беззащитные дороги Восточной Польши, Бессарабии и Прибалтийских стран. В те поры они действительно "гremели броней", "сверкали блеском стали", победно шли "в яростный поход", и "товарищ Сталин" воинственно напутствовал их, а "Первый маршал" призывно вел в бой.

Но стоило грянуть первому настоящему бою, с настоящим, а не мнимым противником, как от мажорной агрессивности этого шлягера не осталось и следа, ибо застигнутые врасплох советские танки просто-напросто не успевали погremеть броней и чем-то там посверкать, товарищ Сталин, в свою очередь, вместо того, чтобы куда-то там их послать, на целую неделю ушел в темный запой, а Первого маршала (им тогда был печальной памяти герой бессарабского похода Семен Тимошенко) специальная моточасть еле-еле выловила, вместе с его обезумевшим от паники штабом, где-то в лесах под Смоленском.

И все предыдущие пророчества западных специалистов и расхожей прессы о "потенциальной мощи и реальной оснащенности Красной армии" немедленно рассыпались в прах.

Стране понадобилось не только невероятное напряжение всех сил и ресурсов, но и огромная поддержка западных союзни-

ков, чтобы в конце концов переломить ход войны в свою пользу. И какой ценой: двадцать миллионов погибших, дымящиеся руины на самой цветущей своей европейской части, миллионы и миллионы вдов и сирот, одним из которых оказался в те поры и я — пятнадцатилетний мальчишка.

Нечто похожее происходит и в наши дни. Приказано захватить Чехословакию, пожалуйста, наши танки и "гремят", и "блестят", их смело "посылают" и еще смелее "ведут". И восхищенная западная печать спешит окрестить этот бандитский захват "операцией экстра-класса". И почему-то никому в голову не приходит обратить внимание на тот факт, что оккупированная страна даже не попыталась сделать хотя бы один ответный выстрел, что игра шла в одни ворота, как на хорошо отрепетированных маневрах, и что восхищаться, собственно, пока нечем.

События последнего времени лишь подтверждают этот мой скептицизм. Едва афганские крестьяне подняли против этой брони свои допотопные дробовики, как ее "гром" и "блеск" тут же поубавились, а в настоящем бою на иракско-иранской границе окончательно слиняли. К удивлению многих западных специалистов, оказалось, что не так уж эта броня крепка и не так уж быстры ее ходовые качества. Прибавьте к этому плачевное психологическое состояние войскового состава (в Афганистане, например, по свидетельствам очевидцев, продается и пропивается все, что можно продать и пропить, от обмундирования до оружия и запчастей включительно), и усиленно распространяемый советский миф "всеподавляющей мощи Советской армии" мгновенно развеется, будто пропагандистская фата-моргана.

Мне вовсе не хотелось бы, чтобы этот мой беглый анализ послужил поводом для излишнего оптимизма. Наоборот. Ибо однажды убедившись в своей тактической уязвимости, Советы окончательно переориентируют (если уже не переориентировали) свою военную доктрину на стратегическую. Система эта по самой своей изначальной сущности нацелена на агрессию, живет агрессией, и, если хотите, может мыслить только в агрессивных категориях.

Поэтому, рано или поздно, слабы они или сильны, подготовлены или нет, они начнут, в этом мы можем не сомневаться, и лишь от нашей готовности к отпору, вне зависимости от вышеуказанных факторов, будет зависеть наш завтрашний день.

И есть только одно, хотя и проблематичное, средство, предотвратить неминуемое: попытаться, всеми имеющимися у нас мирными способами, поддержать слабые ростки Свободы внутри тоталитарной системы. Если с нашей помощью внутреннему Сопротивлению удастся обрести силу, она — эта сила — станет непреодолимым препятствием на пути тех самых танков, у которых, по мнению западных специалистов, так крепка броня.

Владимир МАКСИМОВ

Содержание

«Культура» №1 (1960)

—	<i>От редакции</i>	3
Юлий Меровский:	<i>К вопросу о польско-русских отношениях</i>	5
Чеслав Милош:	<i>Россия</i>	14
Иосиф Чапский:	<i>Облака и голуби</i>	35
Г. Герлинг-Грудзинский:	<i>Ночные крики</i> (Предисловие Бертрана Расселя)	46
Иосиф Лободовский:	<i>Письмо к Борису Пастернаку</i> (поэма)	56
Абрам Терц:	<i>Суд идет</i> (рассказ) (Предисловие Г.Грудзинского)	62

Содержание

«Культура» №2 (1971)

—	<i>От редакции</i>	3
Ганна Костек:	<i>Разговор по душам</i>	5
—	<i>Мы нужны друг другу</i>	25
Лешек Колаковский:	<i>Тезисы о надежде и безнадежности</i>	37
Ежи Стемповский:	<i>Поляки в романах Достоевского</i>	59
Чеслав Милош:	<i>Фантастика и пришествие Антихриста</i>	77
Г.Герлинг-Грудзинский:	<i>Воскресение</i>	93
Витольд Гомбрович:	<i>Берлинский дневник</i>	109

СТИХИ

Мариан Панковский:	<i>Болеслав Лесмян</i>	139
Болеслав Лесмян:	<i>Песни Василисы Премудрой</i>	141
Виктор Вайнтруб:	<i>Владислав Броневский</i>	144

ПУБЛИЦИСТИКА

Юлиуш Меровский:	<i>Может случиться и так</i>	149
Антони Гутовский:	<i>Логика идеологии и логика экономики</i>	164
—	<i>Студенческие волнения:</i> <i>Март 1968</i>	178

КНИГИ

Милован Джилас:	<i>Над Догматом</i>	189
Адам Кручек:	<i>Падение Советской Империи</i>	195
—	<i>Несколько слов об Анджее Ставаре</i>	200
Анджей Ставар:	<i>О Советской бюрократии</i>	201

БИБЛИОТЕКА «КУЛЬТУРЫ»
КНИГИ РУССКИХ АВТОРОВ, ИЗДАННЫХ ПО-ПОЛЬСКИ

- | | |
|-------------------------|---|
| Аллилуева Светлана: | <i>Двадцать писем к другу</i> |
| Амальрик Аядрей: | <i>Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?</i> |
| Аржак Николай: | <i>Искупление и др. рассказы</i> |
| Геллер Михаил: | <i>Советская литература и мир концентрационных лагерей</i> |
| Иванов И.: | <i>Есть ли жизнь на Марсе?</i> |
| Кривицкий Вальтер Г.: | <i>Я был агентом Сталина</i> |
| Левицкий Борис: | <i>Террор и революция</i> |
| Левицкий Борис: | <i>Национальная политика СССР</i> |
| Пастернак Борис: | <i>Доктор Живаго</i> (три издания) |
| Сахаров Андрей: | <i>Размышления</i> |
| Сахаров Андрей: | <i>О стране и мире</i> |
| Серебрякова Галина: | <i>Смерш</i> |
| Солженицын Александр: | <i>В круге первом</i> (1-2) |
| Солженицын Александр: | <i>Раковый корпус</i> (два издания) |
| Солженицын Александр: | <i>Архипелаг ГУЛаг</i> (1-3) |
| Терц Абрам (Синявский): | <i>Суд идет. — Что такое социалистический реализм?</i> |
| Терц Абрам (Синявский): | <i>Фантастические повести</i> |
| Терц Абрам (Синявский): | <i>Любимов</i> |
| Терц Абрам (Синявский): | <i>Мысли врасплох</i> |
| — | <i>В собственных глазах. Антология советских писателей.</i> |
| — | <i>Суд идет. Стенограмма процесса против А.Синявского и Ю.Даниэля</i> |
| — | <i>Против рабства. Голос свободной России.</i> |

КНИГИ УКРАИНСКИХ АВТОРОВ
И КНИГИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ УКРАИНСКИМ ПРОБЛЕМАМ

- | | |
|----------------------|--|
| Желенский Владыслав: | <i>Убийство министра Перацкого</i> |
| Кот Станислав: | <i>Ежи Немирыч — инициатор Гадзятского договора</i> |
| Кошелівец Иван: | <i>Украина 1956-1968</i> |
| Лаврыненко Юрий: | <i>Рострилане відродження</i> |
| Лободовский Юзеф: | <i>Золотая грамота</i> |
| Лободовский Юзеф: | <i>Песня об Украине</i> (издано на польском и русском языке) |
| Одоевский Владимир: | <i>Засыплет все, задует...</i> |

«ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕТРАДИ»
(трехмесячный журнал, посвященный новейшей истории
Польши и Восточной Европы)

До 1982 г. издано 58 выпусков.

БИБЛИОТЕКА «КУЛЬТУРЫ»
КНИГИ РУССКИХ АВТОРОВ, ИЗДАННЫЕ ПО-РУССКИ

Иванов И.: *Есть ли жизнь на Марсе?*
Терц Абрам: *Фантастические повести*

Włoski korespondent „Kultury”: Gustaw HERLING-GRUDZIŃSKI
Napoli, via Crispi 69. — Telefon: 66 57 28.

Wydawca: INSTITUT LITTERAIRE
91, avenue de Poissy, Le Mesnil-le Roi, 78600 Maisons-Laffitte.

Le directeur de la publication: Jerzy Giedroyc.
Commission Paritaire N° 60789.
Dépôt légal : 4^e trim. 1981.

Imprimé en France

KULTURA

REDAKTOR : JERZY GIEDROYC
Adres Redakcji : 91, avenue de Poissy, Le Mesnil-le-Roi
par 78600 Maisons-Laffitte - Telefon : (3) 962-19-04

PRZEDSTAWICIELSTWA	Egz. poj.	Prenumerata	
		1/2-roczna	roczna
AFRYKA POLUDNIOWA : Dr F. Kaluza, 214 Glovanettl Str., New Muckleneuk, Pretoria, 0002	F. 25,00	F. 135,00	F. 260,00
ARGENTYNA : « Liberia Polaca », Serrano 2076, Buenos Aires, Suc 25	F. 25,00	F. 135,00	F. 260,00
AUSTRALIA : Polish Book Depot VISTULA, Dakling House, Rawson Place, Sydney NSW, 2000, Tel. 212-2013	\$A. 4,50	\$A. 26,00	\$A 48,00
AUSTRIA : Henryk Odlanicki-Poczobut, Wien I, Schönla-terngasse Nr 5/2. Stiege/Türe 14, Tel. 52-40-762	F. 25,00	F. 135,00	F. 260,00
BELGIA : Janina Korab Brzozowska-Csaky, 19, Amédée Lynen, app. 57, 1030 Bruxelles, Nr konta pocztow. 7315-20. Tel. 218-69-23	F.B. 225,00	F.B. 1200,00	F.B. 2350,00
BRAZYLIA : prosimy o przesyłanie czekow do adminis-tracji « Kultury »	\$ US 5,00	\$ US 28,00	\$ US 52,00
DANIA : O. T. Zalewski, Postboks 41, 2880 Bagsvaerd ..	F. 25,00	F. 135,00	F. 260,00
FRANCJA : do nabycia w redakcji « Kultury » i w ksie-garniach polskich w Paryżu	F. 25,00	F. 135,00	F. 260,00
HOLANDIA : Mrs J. Minkiewicz, Wlellingenlaan 6, Vilssln-gen, Tel. (01 184) 14073, Postgiro 1379176	Fl h 12,00	Fl h 60,00	Fl h 110,00
KANADA : Krystyna Krakowska, 770 Cr. Picard, Ville Brossard, P.Q. J4W 1S5. Tel. (514) 465-2362; B. Kra-suski, 8 High Park Blvd., Toronto, Ont. M6R 1M4; Very rev. Donald Malinowski, 23 Coralberry Ave., Winnipeg, Man. R2V 2P2, Tel. 339-5577; Z. Micherdzinski, 285-287 Ottawa St.N., Hamilton, Ont. L8H 3Z8. Tel. 545-2115; J. Korwin-Lopuszczanski, 90 Hillard Avenue, Ottawa K2E 6C2; « Polish Voice Publishing » Co., 1089 Queen St. W. Toronto 145 Ont., Polish Alliance Presse, Ltd. (« Zwłazkowlec », 1636 Bloor St. W., Toronto, Ont., M6P 1A7	\$ Can. 6,00 DM 12,00 F. 25,00	\$ Can. 35,00 DM 60,00 F. 135,00	\$ Can. 60,00 DM 110,00 F. 260,00
NIEMCY : St Mikiciuk, 8 München 45, Gablonzerstr 7/1.	F. 25,00	F. 135,00	F. 260,00
NORWEGIA : Br. Lubinski, Klommenstengt 8, Moss	F. 25,00	F. 135,00	F. 260,00
SZWAJCARIA : Marla Wasung, 6, rue des Lillas, C.P. 74, 1211 Genève 7. Tel. 44-32-51, Nr konta pocztow. 12.14431 ..	F.S. 10,00	F.S. 60,00	F.S. 100,00
SZWECJA : Norbert Zaba, Kalskärsgatan 3/IV, 115 33 Stockholm, Tel. (08) 60-15-70, Postgirokonto Nr 48 82 34-6.	K.S. 25,00	K.S. 135,00	K.S. 260,00
U.S.A. : S. Dobczynski, Alma Shipping Co., 121 St. Marks Pl., New York, N.Y. 10009, Tel. 475-8886. Ada Dziewa-nowska, 3352 No Hackett Avenue, Milwaukee, Wis. 53211; T. Konopacki, 27437 Detroit Rd., Cleveland, Ohio, 44145, Tel. 871-48-47; Irena Kretowicz, 4254 - 34-th St., San Diego, Cal. 92104, Tel. 284-6271; Krystyna Leser, 1725 - 17-th St., N.W., Washington D.C. 20009; M. Kosciuch, 12331 French Rd., Detroit Mich. 48234; POLONIA Bookstore, 2886 Mil-waukee Avenue, Chicago, Il. 60618, Tel. (312) 489-2554; Jan Wojcik, 674, Farmington Avenue, New Britain, Conn. 06053; Ksiegarnia Ludowa, Peoples Book Store, 5347 Chene Street, Detroit, Mich. 48211; Szwede Slavic Books, 2233 El Camino Real, Palo Alto, Cal., 94306, Tel. (415) 327-5590 & 851-0748.	\$ US 5,00	\$ US 28,00	\$ US 52,00
WIELKA BRYTANIA : Orbis Books (London) Ltd., 66 Ken-way Rd., London, S.W.5. ORD. Tel. (01) 370 2210	F. 25,00	F. 135,00	F. 260,00
WLOCHY : Witold Zahorski, Roma, via Gallia 60 Int. 27., Tel. 75-67-241	F. 25,00	F. 135,00	F. 260,00

W krajach niewymienionych prenumerata roczna — F.260; półroczna — F.135.
Przesyłka pojedynczego numeru — F.3,00.

Należności wysyłane pocztą prosimy przekazywać na nasze konto pocztowe:
INSTITUT LITTERAIRE, 91 avenue de Poissy, Le Mesnil-le-Roi,
par 78600 MAISONS-LAFFITTE — C.C.P. PARIS 18-228-56 (z Francji)
lub C.C.P. PARIS 18-228-38 (z zagranicy).

КНИГИ, КАСАЮЩИЕСЯ РОССИИ И РУССКО-ПОЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Вайсберг-Цибульский Александр:	<i>Великая чистка</i>
Гардэр Мишель:	<i>Агония строя в СССР</i>
Герлинг-Грудзинский Густав:	<i>Иной мир</i>
Герлинг-Грудзинский Густав:	<i>Фантомы революции</i>
Джилас Милован:	<i>Разговоры со Сталиным</i>
Корбонский Стэфан:	<i>От имени Кремля</i>
Ледницкий Вацлав:	<i>Глоссы Красинского к русской апологетике</i>
Ледницкий Вацлав:	<i>Русско-польская "антанта кор- даль"</i>
Мацкевич Юзеф:	<i>Контра</i>
Михайлов Михайло:	<i>Русские сюжеты</i>
Одоевский Владимир:	<i>Засыпет все, задует...</i>
Рекульский Антони:	<i>Второй ли Катынь?</i>
Свяневич Станислав:	<i>В тени Катыня</i>
Сукенницкий Виктор:	<i>Белая книга</i>
Сукенницкий Виктор:	<i>Колумбовая ошибка</i>
Чапская Мария:	<i>Поляки в СССР</i>
Чапская Мария:	<i>Измененное время</i>
Чапский Юзеф:	<i>На бесчеловечной земле</i>
Янушкевич Мария:	<i>Казахстан</i>

